

Всѣмъ АСТАФЬЕВ

Всѣмъ АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
пятый

•

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Повесть
в рассказах

КНИГА ТРЕТЬЯ

КРАСНОЯРСК

«ОФСЕТ»

1997

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

А91 Астафьев В. П.

Собрание сочинений: В 15 т. Т. 5. Последний поклон: Повесть в рассказах. Кн. 3. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1997 — 384 с.

В 1980 году В. П. Астафьев возвращается жить на родину, в г. Красноярск. Здесь, недалеко от города, в деревне Овсянка, на берегу Енисея, прошло его детство. Поэтика деревенского быта, высокая нравственность его простого уклада, которую воплощала в себе бабушка Екатерина Петровна, вновь овладевают пером писателя. Рождаются новые главы — «Пеструха», «Стряпухина радость», «Легенда о стеклянной кринке», «Предчувствие ледохода», «Заберега», «Кончина», пишутся сцены народной трагедии — раскулачивание сибирской деревни. В 1989 году «Последний поклон» впервые выходит в Москве в 2-х томах — в трех книгах. Но точку оказалось ставить рано: в последующие два года В. П. Астафьев создает новеллы — «Забубенная головушка» и «Вечерние раздумья». Пятый том третьей книгой завершает это сочинение — «животворящий свет детства» потребовал от писателя более 30 лет творческого труда.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН



Повесть
в рассказах



**КНИГА
ТРЕТЬЯ**

•

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЕДОХОДА

Предчувствие ледохода приходило серединой весны, с уже привычными переменами в природе, а им предшествовало ранновешнее приближение молодого времени года.

Те ранние и давние приметы и перемены в природе подступали исподволь, неторопливо, то утрачивая осязание талой воды, набухших почек, вытаявших во дворе грязных перьев, хлама и шерсти, то гася красные взрывы краснотала на речках, вскипевших наледью, то загоняя в суземье птичек, распевшихся на звонких морозных утренниках, то с грохотом ломая вдребезги и руша с подолов крыш наплывы льда, то наполняя дорожные колеи талой водой, от назыма желтой и от копоги грязной, то гася светлую даль в лесах зачем-то и откуда-то сорвавшимися метелями, по-щенячьи визгливыми, злыми, бестолково таскающими колючий, на зубах хрустящий снег с горы на гору, с реки на берега, с берегов в переулки и по дворам, навевает, набьет его столько, что и ворота не отворишь.

Не раз и не два весна подступит и отступит в леса. Переменчивая, тревожная пора, но наконец-то повсюду утвердится тепло, и весна примется за неостановимую работу, звеня в подгорье, по всем лесам, по всем распадам, буеракам, щелям и щелкам. Шалая вода оmyвает, рушит земную твердь, слепо, с рычанием, мутно бьется в камни, в утесы, в бычки полнеющими на ходу потоками. Жутко лязгают катимые водой огромные глыбы и плиты, сметая и кроша в щепу деревья, вдребезги разнося все на своем пути.

Поздним вечером бледным лунатиком пойдет с гор морозец и зажмет уши весне. Уймется буйный водомет, шумы его. Бестолковые веселые брызги застынут на лету, вялые лужи подернутся кружевцами хрупкого льда, сожмется в кучу грязный снег под забором, линиям зайчишкой упрится в канаве и под мостиком. Серебрушками покатаются подо льдом в разом усмиривших ручьях пузырьки, чуть живая, изнемогшая водичка шевелится в пустотах льда, к утру и вовсе бездыханно останавливается. Только нагромождения колотых камней, лесная ломь, сорванные пластушины дерна, старые колеса, огромные чьи-то кости, всякие разные железы, деревянные, останки саней на всем пути ручья напоминают, что ручей этот давал и еще даст жизни!

День ото дня все неумолчней нарастающий шум в лесах. С лешачьим хохотом, аханьем, оханьем и лязгом катится с гор какая-то огромная машина, лязгая гусеницами, приближается к селу, чтоб смять его и столкнуть в реку, к середине весны и ночью идет — катит с грохотом и гулом. Выйдешь сделать нехитрое дело и вращешь в землю среди двора, либо на всякий случай подпятишься ближе к сенцам и дверь приоткроешь, чтоб в случае опасности хватануть под крышу и на печь. Могучий таежный гул вдалеке что светопреставление, о котором непрестанно талдычит бабушка. Началось оно уже, светопреставление-то. Там, в горах, в тайге ворочает уже камни, катит сверху, наступает, движет темень тайги. Вон за городьбой чего-то зашевелилось, калиткой звякнуло, захрустело. Святители и спасители, как вас и зовут, не знаю, помогите! Шасть в избу на печку — там не достанешь! Но велик страх, поослабили силы, мимо печного бруса непременно ногой промахнешься да с грохотом на пол.

«Ково же это там по ночам лешаки нѣсят? Ково же это там давят и задавить оне не могут?» — подаст голос бабушка.

И уж ни гугу в ответ, скорее под потолок, за печную трубу. Хорошо, что бабушку слышно, вопи по-за избой-то вроде бы все еще шевелится кто-то, ворочается, подрагивает изба с печкой, плывет куда-то, кружится, вот-вот рассыплется. Однако живем пока. Дюжим! Ночь пройдет, утро наступит, из подполья картошку вытаскивать начнут — в сусеках вода появилась. Я буду нагребать овощи в ведра, дед будет подавать ведра бабушке, бабушка при-

нимать и по полу мокрый картофель рассыпать. Веселая пойдет работа!

Ожидание ледохода всегда происходило в пору светлого дня, совпадало с большими святыми праздниками. Первые лохматые подснежники выводками высывались по вытаявшим буграм и увалам; трава, только-только возникающая из ничего, полнилась зеленью; полянки для игр в лапту и в бабки подсыхали, не кололись, ступать на мягкую траву голым ногам было радостно. Хватившие хмельной воды из хмельных ручьев, плясали по крышам домов и амбаров, качались на скворечниках по всем дворам скворцы. Коты, успевшие испластать друг друга, врасстяжку валялись на солнце, просыпаясь только для того, чтобы прицелиться глазом на воробьев, толкующих среди куриц, посмотреть на веселящегося скворца, но сдвинуться с места, выслеживать, иметь птаху не было сил и желания — отгуляли коты, дожили до блаженной теплой поры, пользуются заслуженным отдыхом.

А солнце, доброе, еще не одуревшее от жаркой работы — наш деревенский работник и заботник ярило, ниспосланный небесами для согрева жизни, жило и работало на небесах со все крепнущей радостной силой. Когда-то успело оно сделаться горячим, высоким, помогало весне распеленать землю, будто младенца, заспавшегося в мокрых белых пеленках. Грело солнце не шибко еще жарко, не шибко пробористо, но ополдень, в зените уже ласково слепило и припекало.

Однако ж за зиму и солнце поослабело от безделья, жар и кипень в середку его ушли, будто в пшеничном каравае запеклись и коркой подернулись. Закатится ввечеру солнце в Манский распадок, под соломенный перевал, и никак оттуда взняться не может. И тужится, и краснеет, аж пламенем возьмется, но перевал одолеть не может, и от напряжения, от пламени, внутри клокочущего, вдруг лопнет яркий ободок ярила, и выльется оно в изложницу реки кипящим металлом, затопит лед на Мане, Манскую гриву запалит и, широко, ярко лиясь с гор, захлестнет огненным валом Овсянку, улочки ее и переулки, дома и всякие строения. Все горит бездымно и беззвучно, пламень валит дальше, шире, вон уж и над Слизневским утесом что-то засияло, там и город недалеко. А ну как город загорится, во пожар так пожар будет!

Но с обеих сторон Енисея темнело небо, узился свет, сжимало простор, и пламя само по себе унималось, осты-

вало, однако до самой ночи, до позднего часа где-нибудь в горах, на недоступных перевалах нет-нет еще вспыхивало что-то на краткий миг, искрило, тревожило онемелую тайгу и вышнюю светь.

Как, когда, каким днем, какой неделей солнце оказывалось за Маной и даже за Енисеем — никогда я увидеть и упомнить не мог. Были у ярила нашего, видать, обходные пути в небесных просторах, и хотя ходило оно по строго заданному курсу, по кругу дня, все ж и вольности себе позволяло. Взяло вон и засияло над Бирюсинскими перевалами, посияло, поглазело и опустилось за горы, в горячее гнездо, чтоб за ночь не остудиться.

Утром вставало оно из-за гор сразу жаркое, накаленное до того, что вокруг раскаленного шара поплясывало пламя, шевелилась и тлела рыжая шерстка, которой устелено было дно огненного гнезда.

Однажды так вот встало над утесами солнце, чтобы нести дневную службу, проморгалось и видит: в ноздре реки серой, сохлой шушулиной торчит сооружение, на горах город стоит. Нахмурилось ярило: опять эти людишки чего-то натворили! Опять земную твердь потревожили, лесную благодать изранили и обожгли. Это когда же они уймутся, когда по разуму, природой данному, жить и творить станут? Но вспомнило, видать, солнце, что ему положено только работать. Это люди вон, исчадья Божьи, нагрубят природе, избыют тайгу, рванут горы, превратят светлую реку в грязную лужу и давай спорить: хорошо сделали или плохо? Под шум, гвалт и ор еще какую-нибудь пакость сотворят. Землю, родную планету свою, до инвалидного состояния довели и доказывают друг другу, что все это во благо человеку, все для счастья его.

И солнце грело городок в горах, старые и новые города грело, деревни и поселки, даже грязную челюсть, сунутую в пасть реки с примерзшей к ней белой лужей грело, пташек и таракашек грело, всюду оно попевало и ответный шум, песни, таежный бодрый гул слышало и сияло от удовольствия. Какая хорошая, какая необходимая, какая долгожданная работа!

Сияй, солнышко! Радуй первосветом взор младенца и отразись последнею искрой в угасающем зрачке живого существа, чтоб унес он с собою отблеск света твоего, как надежду на нескончаемость земной жизни.

На Енисее рыжей и заметней сделалась дорога. Занесенные снегом торосы обтаяли, стеклянно сверкают на солнце. Под левым берегом, у подножия скал, загустела дымка, ополдень заплясало марево над вытаявшей сыпью камешников. Речки наши деревенские — Большая и Малая Слизневки, да Фокинская речка — долбили-долбили, мыли-мыли лед и вырвались наружу, катятся, урчат, пену и мусор за шиверками кружат, вербы, черемухи, тальники в потоки роняют. И до самого устья, до Енисея, даже в забереге толкаются речки, путь свой торят к большой воде. Версту, где и две обозначается загогулистый провал на льду в глубь хмурых вод Енисея. И малые, к лету высыхающие потоки и ручьи мохнатой гусеницей ползут по белу полю, и, когда прососут лед и провалятся в Енисей, на льду еще долго по ходу реки, в полуночную сторону отогнутым желтым лепестком светится загоревшаяся и тут же угасшая жизнь скоротечного ручья...

Потоки и проталины, сочащиеся из земли, отделяли берег ото льда, все шире промывая заберегу, с которой и началось усмирение осенней реки. К большому высокому солнцу, круглеющему день ото дня, вешние воды умолкнули, но река, наполненная ими, продолжит начатую работу, издырявленной льдиной отплывая и отплывая от каменных берегов все дальше и дальше. И Енисей по обе стороны отчеркнется от земли, сдвинет хмурые брови талых заберег.

Вот и последняя подвода прошла по льду, гонимая нуждой или беспутным хозяином. Когда конь, сопя широкими ноздрями, вытаращив желтым страхом палитые глаза, брел по забереге, сани подняло, смыло с них клочья сена, какое-то тряпье, не иначе как покупки, сорвало ведро с высокого пята, и, как упало то ведро в воду, прозвучал бабий крик по гибнущей животине. Но мужики, кто в чем, бросились в заберегу, подхватили подводу за оглобли и ходом, лётом вынесли ее на яр. Пока мужики распрягали коня, выливали воду из бахил и сапог, хозяйка, заголившись, охая и визжа от жгучей воды, вылавливала несомое водой имущество.

Уже и Ксенофонт-бобыль, ловивший сачком на длин-

ном шесте в устье рек хариусов и всякую разную рыбу, собирающую там вынесенных из тайги личинок и червяков, искупался в ледяной воде. В устье Большой Слизневки его будто бы уж и совсем под лед затянуло, да нечаянный, Богом посланный, по бабушкиному определению, человек сгодился тут, выгацил забубенную головушку и сак не упустил. Бабушка прикладывала к спине Ксенофонта-бобыля каленые камни, громко поносила больного и пользовала его травками, сулилась изрубить сак, удочки и самое главное — намерилась всю непутевую его жизнь решительно переиначить.

* * *

Прошли по Енисею и последние пешеходы, через берегу их переправляли уже на лодке.

Река осталась сама с собою. Долго жившая подо льдом, надежно державшая прочные зимники, по которым нескончаемо тянулись обозы из Ошарова, Дербина и аж из Минусинска — с убоиной, мороженым молоком, с рыбой, ягодами, с вареньями, овощами, с дровами, река, пустынно отчужденная, отдыхала от зимних дел в неторопливом грустном раздумье. Ей скоро ломаться, ей скоро как бы заново родиться на свет.

Тяжелая и грозная предстоит работа.

А пока тишь на Енисее и безлюдье. Залетят вороны на лед, походят по дороге, пошарятся клювами в раскисшем назье, потопчутся возле зимних прорубей, где вода вечерами была синяя, днем голубая, утрами — с прозеленью. Та зимняя вода далеко и глубоко шевелилась, булькалась, рвалась в струях и чего-то проносила, пуливое око проруби на мгновение прострелит, сверкнет, мелькнет и пронесется что-то пулей. Ледышка, шапка, рыбешка, рука, нога, копыто? Может, кольцо души-девицы? А может, водяной?.. Пронеси и помилуй нас, Владыко Всевышний!

Блеклую, изжелта мертвенную воду сперло, дышит-дышит она вровень с урезом проруби, к вечеру распадется ободок прорубей и польется вода через край во все стороны, майну на месте проруби разъест — ухни лошадь, только хвостом мелькнет.

Вороны попили живой водицы, закидывая клювы вверх, приосели на хвосты, подумали и еще попили. Попробовали громоздиться на еловую изгородь проруби, но вершинки вытяiali, от тяжести мохнатых птиц повалились в мокро.

«Дуры! Дуры! — трещали сороки, вертясь на кольях изгородей. — Помойки по дворам вытаивают, из подвалов и подполий запасы наверх поднимают. Корму кругом, корму!.. Воруи, не робей. А они в назъме роются. Дуры! Дуры! Дуры!..»

Отдохнули вороны, приосанились и начали в им лишь ведомом танце кружиться над Енисеем, забираясь все выше, выше, и, не иначе как высотой захлебнувшись, горланили хрипло и упоенно.

Скоро, совсем скоро мама-ворона сядет на гнездо, выведет хрипатых и прожорливых воронят. Хлопоты о прокорме семьи подступят, придется чистить гнезда и скворечники — разбойное, нечистое дело, да иначе не прожить.

* * *

Истаяли торосы на реке, сделались похожи на болотные кочки. Дышат проруби, дышат забереги, дышат леса по горам, дышат горы и небо, пустынный лед на реке дышит. Начинает вонять туша павшего зимой коня, свеженного на лед. Собаки пробили к падали тропы, будто в муравейнике возились в нутре коня — что осталось от коняги, вытаяло, темнеет. Еще деревянный ящик и старая селедочная бочка, оброненные с сельповской подводы, виднеются, кучка опилок и кем-то брошенные салазки. Солнечное марево поднимает все предметы со льда, и они катаются и пляшут на воздухе. В ранний рассветный час, в час утренней молитвы, в горах раздается колокольный звон, голос его все явственней, ближе, горные выси разговаривают с небом, возвещают беспокойный этот мир о добрых переменах, благословляют землю на мирные творения, на земные дела.

Ребяшня покидает деревенские поляны и дворы, толкается с утра до вечера на берегу, сжигая хлам, щепу. В громко стреляющих костерках пекутся картошки, свеклки, брюквы, все, что Бог послал, что удалось со двора утянуть — овощ, вынутая из подвалов и подполий, сортируется, отбирается на семена, на еду и на посадку.

Напряжение разрешалось всегда неожиданно и жутко. Кто-нибудь из пристальных, всегда все видящих и слышащих парней, разом онемев, тыкал рукой, показывая на заберегу, тыкал и пятился. Ребята тоже начинали отступать от уреза воды под крутизну яра, под прясла огорода,

либо прижимались к дымно пахнущей сидоровской бане с заткнутым горелой тряпкой продухом.

Только что сверкавшая, почти гладкая вода забереги, плавная, покатаая, кружившаяся вместе с мулявками и мусором, с трясогузками, толкавшимися над водой, которые, ставши на хвост, сталкивали в потешной драке друг дружку в гибельную воду, все-все разом замерло, лишь вода в забереге стремительно наполнилась мороком, темнела со дна от напора могучих сил, оттеняя все ярче сверкающую, стремительно отлетающую от земли кромку льда.

Натужно дыша и разъяриваясь, река вроде бы скребет и бьет копытом по дну, готовясь к рывку, к сокрушению всего, что есть на ее пути. Больше ей неведомо терпеть и ждать, пришла пора ломаться, двигаться.

Где-то выше, в бирюсинских и в скитских камнях, река уже идет, грохочет льдом, рушится погибельной водой, приближаясь и приближаясь к нашему селу. Уже не пульсирует, не кружится, уже от одышливой качки трясется, мелко хлещется вода в забереге. Трясогузки в короткий промежуток меж шлепками воды падают вниз, хватают лакомого мормыша, стертого со льда и выброшенного на камни. «Цык! Цык, цык!» — побеждая страх, пляшут трясогузки над водой. Все остальное сковано ожиданием. Даже отважные деревенские парнишки жмутся друг к дружке под стеной бани, постоянные их спутники — собаки торчат в отдалении пеньками и тоже чего-то ждут.

И вот на середине Енисея возник белый гребешок, другой, третий, что-то там, в отдалении, на стрежи, строилось, зашевелилось. Сдавило лед, заполнило пустоты и проталины, некуда силе деваться, наружу рвется. Грубым швом прошло реку наискось. Что-то живое шевельнулось в отдалении. «Заяц! Заяц!» — закричал один из малых левонтьевских парней и тут же получил затрещину. «Да из леду ж заяц...»

И правда что-то забегало, забегало, запрыгало, в нахлесте расстелилось к спасительному берегу, но подстреленно упало, рассыпалось белой трухой. И там, где упало, стгнуло, вдруг возникла белая стрела, понеслась, рассекая лед. «А-а-ах!» — распластнуло реку пополам.

«А-а-ах!» — крик жуткого восторга по берегу.

А на реке уже во всю ширь, из края в край ломало, корежило лед, проваливало глыбы в тартарары тупо и

безумно, с хрустом и лязгом полезли друг на дружку ломающиеся пласты льда. Обозначилась кипящая стрежень реки, донесло пресный дух спертой стоялой воды.

Громоздило, рвало, сокрушало твердь зимы, шла на середине Енисея битва не на жизнь, а на смерть. В панике металось, кружилось, несло, кипело месиво льда, грозная стремнина, потемневшая от ярости, грозовой, сокрушительной тучей двигалась по реке, наполняя треском, аханьем и гулом земные и водные пространства.

Вот и под нашим, под овсянским, берегом чуть дрогнула земля, качнуло лед, и он, против ожидания, покорно, почти без шума стронулся с места, пошел куда надо, соря белой пылью, позванивая ледяной крошкой.

В этот долгожданный момент, не выдержав напряжения, кто-нибудь из проворных парней срывался с места и, сверкая голыми пятками, неся по грязному переулку и, махая руками, истошно кричал: «Анисей тронулся! Анисей тронулся!..»

И из всех уголков, со всех улиц, с верхнего и нижнего концов села доносило ответно: «Анисе-э-э-эй!»

* * *

Старые и малые, способные и неспособные двигаться шли, бежали, мчались, ковыляли на «рематизненных» ногах, даже ползли с помощью колес или костылей на берег Енисея-кормильца и погубителя.

Возле ограды Вахрамеевых уже отваживались с припадочной Василисой. Дочери во время ледохода не давали матери глядеть на буйством охваченную реку, не пускали со двора, но каждую весну повторялось одно и то же: близился ледоход, подступало к порченной женщине возбуждение, беспокойство охватывало ее. Будто заколдованная, рвалась она к реке, пластая на себе кофтенку, хватаясь за голову, за горло, разметывая дочерей, бежала, падала, снова бежала к реке, словно ждало ее там избавление от мук. И всякий раз темная сила сражала, валила ее, страшные конвульсии корежили и били головой о землю бедную женщину.

Бабушка моя, прижав икону Спасителя к животу, шлепала в опорках по переулку, за нею тащился дед, зачем-то прихватив с собой лопату. Крестьясь, шепча молитву во спасение, семенили старухи со всех дворов. «Эка невидаль — ледоход!» — следя за тем, чтоб не пуститься впро-

беги, солидно вышагивали мужики. Чего-то кому-то наказывая, на ходу повязывая платки: «Тошно мне! Перетонут, тошно мне...» — спешили к реке бабы. И ребятишки, ребятишки, ребятишки сыпались, летели, мчались к реке с веселым граем, сельские, драчливые и отважные ребятишки.

Во всю уже ширь, во весь простор, с хрустом выталкивая лед на камешник, шел Енисей. Сломал твердыню, сокрушил зиму, работает батюшка, пашет острием льдин берега, и лезут они, лезут, плугом врезаясь в камень, в землю, ломаются, лопаются, хрипят. Совсем оготело, совсем безумно напирает река на Караульный бык — камень мешает ходу. Заткнуло навес скалы и вымоину, забило ломью каменное брюхо, льдина на льдину, пласт на пласт лезет и лезет белая сила вверх по скале. До середины утеса достало, вот уж к вершине по рыжему гребню подбирается белое, и кажется, еще маленько — и перевалит оно через камень и тогда уж сметет весь известковый поселок, ломает леса в щепу. Но возле испуганно замерших на утесе сосен и лиственниц вдруг срывается белый поток, россыпью рушится вниз и, взрываясь бомбою в реке, разбрасывает осколки и здоровенные льдины аж до середины реки, белая шрапнель бьется о камни, высекая белый дым, через минуту-другую докатывается гул взрыва до нашего берега.

«Ур-р-р-ра-а!» — прыгают и бросают шапки вверх ребятишки.

«Всемилоостивейший Боже! Пресвятая Богородица, Владычица Небесная, спаси и помилуй нас, избави от всех действий злых», — поет бабушка, и старухи, не поспевая за нею, торопятся, сглатывая слова молитвы и истово припадая к иконе, поясно кланяются реке.

— Ты утони, утони, курвенский рот! Дак я те утону! — грозит кто-то из заботливых отцов, увидев, что сорванец его норовит влезть на льдину, чтобы на ней прокатиться по дикой реке.

Неохотно расходится деревенский люд по дворам. Поскольку многие хозяйки впопыхах оставили ворота полыми, скотина вышла на волю, разбрелась по селу, и найди ее теперь, нашу вольную, таежную скотину.

Тем хозяевам, огороды которых выходят на реку, приходится разгораживать прясла, уносить сухие жерди подальше

от реки в глубь двора. Смекалистым сидоровским мужикам, поставившим бани поближе к реке, чтоб воду недалеко таскать, да и хохлу Демченке тоже надо укреплять свои строения, вязать их к кольям и столбам.

Хлопот на селе невпроворот. Раз Енисей пошел, значит, весна наступила! Майский праздник на носу, по еще с пасхального празднества голова болеть не перестала, и вся работа, все хозяйство запущено с этой гулянкой.

* * *

Лед уже не наш, верховский, с исподу голубой, переломанный в горах, по краям смолотый, шел мимо села, и нет-нет да и проносило на нем сани с обрезанными гужами — застал ледоход на реке человека с подводой, и он, спасая коня, рубанул по гужам; кружило и мяло чью-то лодку, ставило на корму, роняло, било и наконец сломало. Кучи мусора несло, кучи назьма и проруби, проруби, будто огородики в лунках ископыти, с городьбой из елочек. Всамделишную живую лису на льдине пронесло. Лиса поплясывала, переступала мелко, словно на горячем, а заяц-русак, тоже живой, настоящий, плыл на льдине и спал, развесив уши. После изнурительной весенней гульбы, беспощадных драк он и не понял, куда и зачем его несет из родных лесостепей. Охотники уверяли, что заяц, в отличие от других зверушек, редко гибнет в ледоходе, таким он махом обладает, так научился презирать стихии. На льдине ему даже безопасней, чем в лесу. Сломается одна льдина, он на другую перемахнет. Ну а уж если совсем не на чем плыть сделается, он на берег ускачет. Одной весной заяц-бродяга в бобровский огород утряхал, залез в жалицу и давай дальше спать. Его там собаки унюхали. Едва ноги унес косоглазый гулеван.

Бабушка, когда начнешь ей речные случаи рассказывать, отмахивается: «Во-о, хлопуша! Н-ну и хлопу-уша! А ты цыганский табор на леде не видел? Сказывают, с салашами, конями и цыганятами безбилетно оне на север плыли, да еще и плясали под гитару!...»

* * *

Идет Енисей, трудится, серединой его уже пар тащит, продухи появляются, вдруг на темной воде закружит, закружит белое блюдо льдины и, ровно после снятого со

сковороды блина, синенько дымится полая вода, винтит-ся вихорьками.

Утром по селу веет холодом, зябкая сырость стелется от реки. Горы льда напихало на берег, где и огороды достало, изломало жерди, сдвинуло колья и столбы. У сидоровской бани с наречной стороны исцарапало стену, выдавило окно и чуть даже сдвинуло «с пупка» баню, но не утащило.

Хорошая весна, длинная, спокойная. Лед сопел до рыхлости. А то ведь случается первая подвижка где-нибудь в середине апреля. В теплых южных краях, в монгольской и тувинской землях, в присаянских степях начнутся распары, потечет вешняя вода, взломает Енисей, а у нас еще и конь на траве не валялся, по зимнику ездят и ходят, заберег и проталин нету. Но вот начинает тревожить и ломать реку дурной водой, то по верху льда погонит ее, то забьет ее крошевом льда до самого дна. Сдвинется, вспучит Енисей, заторов наделает, сломает дорогу, стащит ее версты на две вниз, будто обкусанные горбушки хлеба, останутся обломки дороги под берегами, так и сяк торосится зубастый лед по всему полю реки.

Ходить опасно, да жизнь-то продолжается, события всякие происходят, острая надобность сообщаться с городом, с известковым заводом, с подсобным хозяйством и со всяким населением не отпадала. Лезет народишко через ледяную ломь с досками, с шестами, кто просто так скачет со льдины на льдину, торят люди свежую тропу, иной раз и дорогу новую проложат, потому как все снова застынет, укрепится. Тонул, конечно, народ, случалось, помногу.

В тридцать четвертом году, сказывал Кольча-младший, в середине зимы вызвали правление колхоза имени товарища Щетинкина в Красноярск. Правленцы думали, на совещание или на митинг какой позвали. Может, ссуду семенную или денежную получать. Семена-то в голодный тридцать третий год приели. Приоделись правленцы в чистое, папку с бумагами с собой захватили. В городе тогдашние обожатели тайн, секретов искали шпионов и врагов народа и во множестве находили.

Всех семерых правленцев из Овсянки тоже заперли в тюрьму и продержали до конца апреля, ничего им не объясняя и ни о чем не спрашивая. Чудо, не иначе, спасло овсянских мужиков. Должно быть, кто-то в чем-то признался раньше их, и правленцев, обовшивленных, тощих,

напуганных, отпустили с миром по домам уже без конторской папки.

Прибежали правленцы к Караульному быку, а Енисей-то весь издырявлен, изорван подвижками, дорога и лед на нем разрушены. Дышит во всю ширину «окнами» река, с силами собирается и, словно свадебный жеребец колокольцами, позванивает льдом перед тем, как рвануть вдаль. Топтались, топтались мужики возле Караульного быка, но все им казалось, что из тесно забитой тюрьмы кто-то гонится за ними, насаждает. Домой охота. Связали опояски правленцы, взяли доски, жерди, шесты и пошли.

Весь овсянский народ высыпал на берег и, затаив дыхание, следил за тем переходом через реку отчаянных гробовозов. Шепотом, чтоб не спугнуть Енисей, крестились старые люди, творили молитвы. Единый короткий вопль раскалывал берег, когда кто-нибудь из мужиков проваливался в промоину, и тут же, увидев, что друзья по несчастью вытаскивают из воды, спасают связчика, зажимали крик в груди.

Они были уже под родным, желанным берегом, когда Енисей, сделавший передышку, пропустив страждущих, напомнив людям, что в природе милосердие еще не извелось, ахнул, охнул, напер и разом, стремительно пошел во всю ширину.

Побросав доски, жерди и шесты, уже по двигающемуся, ломающемуся льду мужики бежали домой, одолевая последние сажени в толчее воды и льда. Изнемогших, обессиленных, односельчане подхватывали их на руки, оттащивали к яру и, не спрашивая, пьешь ты или не пьешь, хочешь — не хочешь, лили водку в заросшие щетиной рты. Впрочем, непьющим был только новый председатель колхоза Колтуновский, более всех накупавшийся среди льдин, потому как не из наших он мест и сноровки переходить гибельную реку не имел. И то ли от ужаса, им пережитого, то ли от сознания, что колхоз собрать и спасти уже невозможно, стал Колтуновский с той поры попивать, и пропили-прокрутили-таки голубчики, овсянские труженики, колхоз имени товарища Щетинкина.

Бабушка моя всю жизнь, и не без успеха, боролась с безбожниками. Она их припирала к стенке убедительным фактом: «А в тридцать четвертом годе кто мужиков от гибели на Анисее спас? То-то, милай, говори, да не заговаривайся, пей, да не запивайся!..»

Дядя мой, Кольча-младший, ни за что ни про что пол-

зимы просидевший в тюрьме, долго пел песню: «Сломайте решетку, дайте мне волю, я научу вас слаботу любить...», но с годами позабыл слова и перешел на свою давнюю: «Однажды в комнате уютной, где мы сидели с ней вдвоем. Ты цаловала в алы губки и называла милай мой». Эта песня была ближе его сердцу и получалась лучше, чем про «слаботу».

Идет Енисей уже буднично, привычно несет редеющий сонный лед. Нигде, ни в каком месте к реке не подойти, не подъехать. Он отгорожен с двух берегов брустверами льда. Надо бы мужикам брать пшени, кайла, лопаты и пробивать из грязного переулкa ход во льду, но, повторяю, той весной Пасха почти состыковывалась с майскими праздниками, гробовозы гуляли, как перед концом света. Добро, кто навозил заранее воды, налил бочки и кадки, но кто прогулял, проленился? В ручьях и речках, все еще дурыю полных, вода мутная, глиняная — она лишь для бани, для стирки, для скота годится, но самовар ставить, стряпать, варить?..

Пошла мушковская тетка Марья с коромыслом на берег, с ней еще две-три бабенки увязались. Цепляясь коромыслом за льдину, лезла тетка Марья через гору льда, ползла по щелям и зачерпнула было водицы, да поскользнулась, в реку ухнула, ведро утопила и сама чуть не утопла.

С воем и причитаниями шла она по проулку. Во дворе оставшееся ведро об слань бацнула, да так, чтоб звон был слышен во всех соседних дворах. Сдирая с себя мокрую одежду, стуча зубами от холода и пережитого страха, баба митинговала:

— Это он нарошно, нарошно, паразит, штабы я утонула, штабы детей осиротить, воля ему тогда, слабота — пей-запивайся! О-ох, гад! О-ох, зверина! Говорила мне мама... тятенька, благодарствие ему, по жопе отстегал: «Не гонись за шпаной! Не гонись за шпаной!..» Послушала я мамоньку? Остепенил меня тятенька? Не-эт, ревела да шла! Теперь вот радуйся! Где-ко ты, паразит? Иди счас же на реку, иначе я те не знай чё сделаю!..

— Сде-элашь! Она сделает!.. — откликнулся «сам» и откуда-то из-за углов или с чердака сбрасывал заржавелую пшению, совковую лопату, топор. — Она сделает! Трoих вон сделала, и все придурки. Да перетоните вы к...

К букве «к» у нас и по сию пору приставляются такие

просторечия, что ученые люди берут под сомнение само их существование в общественном сознании, в словари не включают, но они приставляются и приставляются, да так, что окна в избах дребезжат.

— Струмент не видишь? — рявкнет тятя и следует со двора, руки в карманах, сигарка в зубах.

— Опохмелиться не сошлось, — вослед ему качает головой «сама». — На ребенке зло вымещат. Ребенка и робить заставит, сам чисто комиссар, руки в галифе!.. Не-эт, надо чё-то думать, товаришшы. Либо расходиться, либо в петлю. Другова ничего не остается...

Нынешняя баба-женщина не пылила бы, не бранилась, взяла бы лом, топор и пошла бы лед долбить. Но в те годы равноправие утвердилось еще не полностью и бабы не делали мужицкую работу, мужики — бабью.

По переулку, к реке, к торосам, сморкаясь, кашляя, матерясь, спускаются мужики, следом за ними, взвалив «струмент» на плечи, спешат подростки. Севши на бережок, мужики курят табак, обмениваются впечатлениями, поругивают баб и соображают об дальнейшем ходе жизни: где, чего, сколько, почем?

Парнишки тем временем делают веселую, звонкую работу, орудуя тяжелыми пешнями, продалбливают подход к реке, и нет-нет да и донесется до них воспитательный окрик родителя:

— Ты мне, курвенский рот, пешню утопи, я те утоплю! Вместе с мамой твоей дорогой...

Но вот и ход во льду наподобие тоннеля пробит, понесли хозяйки воду на коромыслах. До коренной воды Енисей не шибко мутен, вода в нем даже и полезна от натаявшего льда и снега.

Опасливо косясь на нависшие над головой, капелью исходящие льдины, ребятишки все чаще подбираются к воде, чтоб хоть заглянуть, что там и как? Прибывает ли вода и как прибывает? Скоро ли она поднимет и унесет лед с берегов, тогда пусть вода темна от мути, пусть в берегах, все равно можно разматывать удочки. Мелкой рыбы — этой ребячьей забавы прежде в Енисее было много, глазастая, что ли, рыба была, но ерша, пескаря, окуня, сороги, ельца ну и, конечно, пищуженца таскали из мутной реки не только кошку накормить. Ночами парнишки исправно добывали налима — аромат от налимьей

ухи по всем низовским избам плавал — основной рыбак, пролетарский добытчик жил здесь, в нижнем конце села Овсянка.

Но пока никакой поживы на реке, разве кто из парнишек, у коих в хозяйстве водится длинный багор, нарастив багрище бечевкой, запускает его, будто гарпун, волокет на дрова все деревянное. Но и дровяного барахла несет мало. Мана еще не пошла, да и наловишь чего — таскать надо на яры, иначе коренной водой все снесет, смое с берега.

Греет солнце, дымится и рассыпается лед звонкими, прозрачными сосульками — очень соблазнительное и опасное ребячье это лакомство. Левонтьевские орлы, мушковская шпана голопупом высыпали на реку, хрумкают сосульки, будто морковки, даже девчонки теткы Авдотьи хрумкают. Я уж совсем дохлый, что ли? Тоже хрумкаю лед. Сладко. Зубы ломит, брюхо жжет, в кишках колет. «Ништя-а-ак!» — кричу на всю реку. Но к вечеру не только кричать — даже шептать не получается.

Бабушка с допросом:

— Леду нажрался?

— Сахсем немного.

— Чего сахсем? — наклоняется ко мне бабушка и, чтоб лучше слышать, сдвигает платок с уха.

— Са-ахсем м-мале-енько. — Бабушка не понимает, глядит на меня какое-то время остолбенело, затем осторожно прикладывает руку тыльной стороной к моему лбу и со стоном вскрикивает:

— Да тошно мне, тошнехонько! Он опять лед жрал! Са-ахсем маленько! Вот тебе сахсем маленько! Вот тебе сахсем маленько! — Бабушка лупит меня куда попало и в ту же пору готовит компресс с горячей солью иль золой, греет молоко, высказываясь, что все-таки я сведу ее в могилу и сам туда же отправлюсь. И снова, в который уж раз ее осеняет: это левонтьевские орлы подбили меня сосать лед, они да мушковские каторжанцы чему угодно научат. — Имя чё? — гремит бабушка. — У их глотки лужёпья, брюхи на точиле верченые, нутренность вся к худой пище приучена! А этот соколик! Он же на вегер глянет, и у ево нутро вянет. Он же порченный, мамой неженай, дедом балованай, он же слова не понимает! — Хлобысь со всего маху болезного. Я добавляю голоса. Хлобысь еще, но уж помягче, посдержанней. Я к голосу стон прибавляю и умирающе толкую бабушке, что я хворый и бить меня

не по-божески. Бабушка еще разок мне влепила, за пререканье.

— Де-э-э-эда-а! Де-э-э-эда-а-а!

— Нету твоего деда, нету. Утащили его куда-то лешаки. Забыю я тебя, забуду и сама сдохну. Горло-то компресом грет? — Я киваю головой. — Хорошо грет? — И опять руку на мой лоб, и в панику. — Горит! Весь горит! Ты чё, аспид, думаешь? Ты чё, варнак, позволяешь? Мати Божья! Царица Небесная! Заступница ты наша, Всемиловитейшая, помоги этому комунисту! Он боле не будет. Не будешь?

— Сахсем.

— Чё сахсем?

— Сахсем не буду, — шепчу я горячим, слипшимся горлом.

— Громче говори! Сахсем, сахсем!.. Да крестись и хоть шепотом, повторяй за мной: «...неразумие, нерадение и вся скверна, лукавая и хульная, помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен».

Не нравится мне все это, особенно насчет страстей, но я повторяю и повторяю следом за бабушкой молитву. Охота мне поскорее выздороветь, и об одном я только прошу бабушку, чтоб не ляпнула где-нибудь она, как я творил молитву — меня ж ребята засмеют и в школу не запишут.

— И пушай не записывают! — машет рукой бабушка. — Ты и так у нас эвон какой грамотной да разумной. То кринку потеряешь, то леду нажрешься. А от Бога морду не вороти! Он токо и зашшитник тебе. Бабушка да Он, боле тебя, супостата такова, никто не поддержит на этом свете.

* * *

Ну вот, три дня из дому не выпускали, и за это время мир совсем переменился. Прошли первые дожди, промыло траву, прах весь зимний и плесень с земли снесло. Ярче все сделалось, праздничней. На реке тоже большие перемены. Коренная вода поднимается, рушит горы льда, смывает их с берегов. С усталым исходным шорохом сыплются, звенят, сползают в воду никому не нужные, старчески усталые льдины, плывут, разваливаясь на ходу.

Первые отчаюги-рыбаки лезут с удочками и животни-

ками-закидушками в прораны льда. Первое стадо выгнали за село, на жидкую еще и низкую траву — освежиться, выветрить с кожи отмершую шерсть. Распределились скворцы по новым квартирам, дружно налетают на шакалящих по скворечникам ворон. Долго и высоко гонят сокола стайей подальше от села, за реку, в скалы, деревенские дружные птички. Утихают малые, недолговечные ручейки, но шибче ярятся, несутся с гор наши речки-работницы — там, в тайге, в белогорье самое половодье. Вода в речках все еще срыжа, но преющими снегами высветляет их, вживляет светлые струи в крутую воду, и на снеговницу, на бодрящий ее холод идет упрямая рыба — хариус, ленок. Ксенофонт-бобыль, подлечившись, встав на ноги, ушел по Большой Слизневке с удочкой. Думали, пропал, но он явился в клещах, исцарапанный, возле костров обожженный, только глаза одни из бороды сверкают. Рыбу из ведра на пол наших сенок высыпал.

— Ну, Катерина, весна-а-а-а! Ну, воды! Ну, птицы! А цвету, цвету! Горы кипят!

— Перед погибелью, не иначе.

— Да ну тебя! Все клюкушествуешь, как Витька говорит.

— Ты хоть его в тайгу не смани. Он и так тут чуть не сдох.

— Закалятца!

— И я с им закаляюсь. Ишшо пойдеш бродяжить?

— А как же? Ради чего и жить?

— Стародубу мне нарви. В Слизневке стародуб лохматый, церковой пахнет.

— Ладно. А ты мне хлеба испеки.

— Да завела уж квашонку. Куда тебя, окаянного, деваши?

Ксенофонт-бобыль покашливает, посмеивается и кричит со двора:

— Эй, анчихрист! Как поправисся, в тайгу возьму. — Это он бабушку поддразнивает, мал я еще в тайгу-то идти, да к тому же весеннюю, простудную. Но как подрасту...

Сердце мое, башка моя сладко грезят о будущих походах, соками, брожением весны возбужден и затуманен мой малый разум.

Еще не поставлены сплавные боны на Енисее, еще тащит и тащит редкое ледяное лоскутье по реке, но от

Караульного быка, с левой стороны реки, уже кто-то громко кличет лодку. Кличет и кличет, не отступается. Надо, стало быть, людям на нашу сторону как-то переплыть, в село надо. Может, горе какое человека гонит, может, на праздник поспеть кому-то охота, может, с Севера кто приехал, может, на Север собирается с первым пароходом и попрощаться с родными-близкими притопап.

Лодку с грохотом катят с яра, запыхавшиеся парнишки рядом бегут, бросают под днище лодки поката. Поплыла лодка, вертясь меж льдинами и замученно ныряющими топляками. Новые веселки-лопашны равномерно падают-поднимаются, падают-поднимаются. Все меньше, меньше становится лодка, только веселки, что желтые цветки над темным полем, качаются. За серединой реки лед плывет вроде бы сплошняком, но лодку все же не затирает, не опрокидывает.

Я сижу возле воткнутого в берег удилища, терпеливо жду, когда, наконец, закроет. Леску отогнуло, снесло течением на пониз. Никто пока что не клюет! На удилище уселась легонькая серенькая трясогузка, брызнула белым из-под хвоста в воду, деловито почистила клювом перья и давай шустро бегать по удилищу, долбить его. Согнать пташку, что ли? Да пусть себе бегаёт, пусть удилище качает, кажется, клюет.

С прибрежных огородов потянуло белым дымом — жгут картофельную ботву, сушат землю заботливые селяне, скоро уж пахать будут. Предчувствие ледохода разрешилось, река прошла, на земле начинается нелегкая пашенная работа, значит, пора ребячьих игр и забав в лесу и на полянах тоже кончается, уже старших парнишек скоро посадят на коня, заставят боронить, кого даже и пахать. За жердями в лес скоро поедут мужики, мушковские — на Ману, рыбачить собираются. Дядя Саня — охотник ушел в тайгу — солонцы подновлять, чтобы промыслить марала, добыть чудодейственные лекарственные маральи панты. Да-а, вот бы поскорее бы вырасти да с мужиками бы на охоту да на рыбалку бы.

Стоп! Что-то вроде бы ощутимо подергало удочку и повело леску вверх по течению. Показалось. Помстилось. Но все равно решительно выхватываю удочку из воды — пищуженец на крючке! Ладно, для начала и пищуженец — добыча. Он, глядишь, другую рыбу подманит — есть такое поверье.

Над головою, в просторном небе, гусиный переклик, свист утиных крыльев — идут перелетные птицы на Север, вослед за ледоходом, идут из Китая, из Японии, еще из каких-то далеких, неведомых пока мне стран и земель.

С весной, с теплом, с солнцем вас, люди, птицы, собаки, кошки, бабочки, козявки, разные мушки-попрыгушки и всякие прочие живые существа или, как иной раз бабушка, озорую, дразнила, когда у меня выпали молочные зубы, — шушшештва.

ЗАБЕРЕГА

Заберега, заберега,
Ты пусти меня на берега,
Я налимов наловлю,
Ухой милу накормлю.
Ухой милу накормлю,
Еще крепче полюблю.
Коли крепко полюблю,
Ей дровишек нарублю.
Как дровишек нарублю,
Жарко печку натоплю.
Жарко печку натоплю,
И ее при-голу-блю.
У печи будем сидеть,
Друг на друженьку глядеть.
Друг на друженьку глядеть
И вот эту песню петь:
Заберега, заберега,
Ты пусти меня на берега...

Дорога от станции Енисей до Усть-Манского мыса неблизкая, и песня, которую я пел, словно нитку из засоренной кудели вил, спотыкаясь на узелках и острых занозах, получилась у меня тоже длинная. Память сохранила из той песни только то, чего я сейчас вспомнил, но и эта нескладуха отросла от слов: «У печи будем сидеть, друг на друженьку глядеть...» Я и по сию пору, сидя у чела русской печи, полыхающей углями, пою для себя про милую, про всякую быль и небыль, и у меня легко на сердце,

иной раз ору во весь голос, коли оказываюсь в лесу, мне и до сих пор не хочется никому доверять сложенную мной в годы юности песню. Посторонние люди, чего доброго, скажут: по стихосложению, мол, песня примитивна и дурак я набитый, раз такую ахинсю помню и берегу в себе. Но, как говаривала моя незабвенная бабушка Катерина Петровна, «всякому своя сопля слаще».

Первое время после гибели мамы пошел я нарасхват по родне. Время пристало голодное, но родичи жалели и кормили меня сытней даже, чем своих детей. Конечно, никак мне было не миновать бездетных супругов Зыряновых, работавших в ту пору в доме отдыха под Гремячей горой, и на другой год после гибели мамы, по весне, бабушка снарядила меня к ним.

Я и прежде бывал на дачах, да мимоходом все, мимоходом. А тут осел в красивом праздном месте, боязливо и стеснительно привыкая к городской публике, гуляющей отпуск в доме отдыха «Енисей» и его окрестностях, сплошь застроенных уединенными дачами и детскими учреждениями.

Дядя Миша Зырянов плотничал и столярничал при доме отдыха, который располагался в домах и домишках, отобранных у богатеев и эксплуататоров трудового народа. Еще возводился длиннющий двухэтажный барак, важно именуемый корпусом, чтоб кучей в него свалить отдыхающих — тогда все они будут на глазах, одна у них будет столовая, красный уголок, библиотека, бильярд, и народ будет уже не просто зря переводить в одиночку отпуск, а охвачен будет культурно-массовым отдыхом, впоследствии мудро названным оздоровительно-восстановительным мероприятием.

Зыряновы жили в старинном деревянном флигельке, изнутри оклеенном обоями и в три цвета крашенном снаружи. Ко флигельку примыкала верандочка с сенями, и ту верандочку дядя Миша приспособил под мастерскую: соорудил вдоль стены верстак, поставил шкафчик с инструментами и тумбочку, в которой хранились точильные бруски, гвозди в нарядных коробках, столярный клей в облепленных мухами баночках, заклепки, шурупы, шарниры, старые замочки, дверные крючки, скобы и прочий железный и медный хлам, казавшийся мне таким бесценным имуществом, что и дотронуться до него было боязно.

А инструменты! Фуганки, рубанки, стамески, маленькие топорики и большой топор с топоричем, напоминающим сытую, гладкую, своенравно выгнутую шею жеребенка! — на все на это можно было часами смотреть, тихо дыша. А тут еще стружки кругом, пахучие, шелестящие, живые. Они, цеплялись за обувь, за гачи штапов, балуясь, бежали следом, шурша и потрескивая. Их можно было навивать на руку, прижимать к щекам, к носу, их можно было нюхать и даже хотелось пожевать. Я и жевал, и серу колупал с листовенничных горбылей. Под верстаком скапливались опилки, обрезки, палочки и стружки таких разнообразных фасонов, такой сказочной формы, что, убирая отходы в корзину, чтобы унести их в печь, я надолго затихал под верстаком, угадывая, на что все это похоже, уносился, пышно говоря, мыслями вдаль. Не дождавшись топлива, тетя Маня всовывала голову в дверь мастерской:

— Ты где-ка там? Чё дрова не несешь?

Дядя Миша прирабатывал столярным ремеслом: делал рамки, полки, тумбочки, табуретки; иногда он давал мне старый, с облезлым лаком на колодке рубанок, клал бросовую доску на верстак и пробовал учить «рукоделу». Я суетливо тыкал рубанком в доску, думая, как сейчас завьется и потечет в щель рубанка радостная, шелковистая стружка, похожая на косу одной девочки, о которой я знаю, да никому не скажу! Но вместо стружки ножичек рубанка отковыривал щепки, а там щель и вовсе забивало, инструмент начинал ходить по доске вхолостую, как по стеклу. Дядя Миша колотил по торцу рубанка молотком, вынимал клин, ножичек, продувал отверстие, снова собирал инструмент и, показывая, как надо им орудовать, гнал из доски сперва короткую, серую от пыли стружку, но скоро узкий рот рубанка начинал швыркать, словно схлебывая с блюдца горячий чай, затем, сыто, играючи, без натуги пластал дерево, с веселым озорством выбрасывая колечки на стол и на пол. Прыгая, балуясь, как бы заигрывая с дядей Мишей, стружки солнечными зайчиками заскакивали на него, сережками висли на усах, на ушах и даже на дужки очков цеплялись. А мне доска казалась негодной в дело, бросовой, нарочно, для конфузии моей уделенной.

— Ну, понял теперь, как надо?

— По-о-нял! — бодрился я и со всем старанием и си-

лой ковырял доску рубанком, уродовал, мял дерево. На носу и под рубахой у меня делалось мокро от пота.

Глядя на мои трудовые натуги, дядя Миша сокрушенно качал головой:

— Похору-ука-ай! Токо песенки петь да брехать...

Мастерового человека, тем более столяра, из меня не получится, заключал дядя Миша.

— И вообще... — крутил он растопыренными пальцами возле уха, за которое был засунут огрызок карандаша.

Ну что ж! Не всем столярами и плотниками быть, хотя ремесло, конечно, дело денежное и надежное. Я играл на спортплощадке в городки крашеными битами, качался на качелях, бросал крашеные кольца на какие-то тоже пестро крашенные штыри, пробовал крутиться на турнике, как один молодой мускулистый парень в голубой майке, но так хрястнулся оземь, что меня водой отпаивали, после чего от «активного отдыха» меня отворотило, и я стал «гулять» — так называлось здесь бесполезное времяпрепровождение. У нас в Овсянке слово «гулять» имело совсем другой, глубокий и далеко идущий смысл: гулять — это значит вино пить, песни петь, плясать, морды бить и вообще вольничать и веселиться. «Кака это гулянка, — говорили гробовозы, — даже драки не было!» Стало быть, я «гулял» — слонялся по лесу, меж дач и заборов, сидел на берегу Енисея, смотрел, слушал, черпал новую городскую культуру, запоминая незнакомые слова, песни и всякую похабщину, которой богата оказалась дачная страна.

Тетя Маня сшила мне новую рубаху с отложным воротником и трусики из черного сатина. Я никогда не носил трусики и первое время стеснялся в них появляться на люди. Но по берегу Енисея много ходило парней в трусах и даже без рубах, женщины совсем мало загороженные ходили. И я осмелел. «Будь на солнце больше — это полезно», — наставляла меня тетя Маня, и я жарился на не знойном, но уже припекающем солнце.

Помаленьку проходила моя пугливость от похорон, я перестал вскакивать и кричать ночами, налаживался аппетит и сон.

Однажды я уснул под талинами, в тенечке и проснулся оттого, что по другую сторону кустов кто-то возился, пыхтел и дрожащим голосом клялся: «Всю жизнь... любить всю жизнь... Законно...» — «Чё врать-то? Будет врать-то! — дала свой голос в ответ женщина. — Кака любовь в доме отдыха? Счас, сей миг вознагради роковой страстью!..

Воз-наг-ра-ди... — И догорающий шепот: — Воз-наг-ра-ди...»

Мне сделалось так жутко, что я змеем по камешнику пополз от кустов, спрятался за домотдыховские дощатые лодки и, отдышавшись в укрытии, хватил во все лопатки домой.

— Ты где был-то? Кто за тобой гнался? — подозрительно посмотрела на меня тетя Маня.

— Китайцы! — соврал я.

— Да зачем ты имя сдался? У них своих голопузых китаят полны избенки...

Не сразу, не вдруг, но я устал от праздной дачной жизни, начал прятаться по углам и хныкать... Как подсохло в лесу, зацвело и зазеленело вокруг — музыка заиграла, грянул оркестр в сосновом бору, запели трубы аж до самых гор. Сердчишко мое сжалось, и, чего-то страшась, обмирая заранее, я прокрался к танцплощадке, загороженной ромбическими решетками, крашенными в те же три цвета — красный, зеленый и желтый, — что и флигель Зыряновых. Совсем рядом на деревянном круге танцплощадки, словно в замороженном сне, кружились парочки — он и она. И хотя были они рядом, рукой можно достать, и музыка играла что-то вроде бы слышанное, кружение за нарядной решеткой, раскачивание двух друг к другу приникших существ, шарканье ног, завихрение юбок — во всем этом было что-то стыдно-притягательное. Почти все ребяташки с окрестных дач стекались к танцплощадке, с приглушенным дыханием следили за тем, что происходило на танцевальном круге. Но даже самые смелые боялись приблизиться к воротам площадки, смотрели опасливо из-за деревьев. Не сдержав искушения, иные отчаяно подкрадывались к решеткам, приникали на минуту к дыркам и тут же опрометью бросались в лес.

Лишь веселый фокстрот и все, что пободрей и пошарловливей, сближало нас с теми, что были на танцплощадке. Пугающе огромные блескучие трубы оркестрантов сверкали в глуби танцевального сооружения. В затени, там, в недосыгаемости, вроде как бы парящие в облаке звуков музыканты, лиц которых не видно из-за поставленных на распорки картонок, были и вовсе уж таинственными, пугающе прекрасными, неземными существами. Иstorгающие из труб звуки, казались они нам всевластны-

ми волшебниками, делающими с людьми все, что им только захочется.

Чем более сгущался вечер, чем плотнее смыкался лес и далее отступали горы, теряющие свои очертания и как бы воедино смыкающиеся своими горбами и вершинами, тем протяжней, жалобней становилась музыка, сильнее стискивало от нее дыхание и делалось совсем уж жалко все и всех. И когда первый раз я увидел, как вспыхнули огни и танцплощадку накрест захлестнуло разноцветными игрушечными лампочками, сближения со всем этим звучащим, вертящимся, светящимся чудом не произошло. Меня сотрясло и тут же пронзило чувство усталого изнеможения от недостигаемости и незащитности перед властью красоты. Поздним вечером, почти ночной порой, начали угасать разноцветные гирлянды, и когда при свете тусклых, почти слепых после яркого, игривого свечения фонарей лампочек глухо, устало, выдохнули трубы — что-то про вечное наше с кем-то расставание, — я, обливаясь слезами, побежал к флигельку, натыкаясь на деревья, запутываясь в кустах и падая. Тетя Маня вскочила с постели, на ходу надевая халат, трясла меня:

— Ты чё? Ты чё? Кто тебя обидел?

— Маму... Маму... — пытался выговорить я.

Тетя Маня поняла, напоила меня водой, умыла, перекрестила и долго сидела возле моей постели молча и неподвижно.

Назавтра она наказала мне, чтоб больше я к танцплощадке не ходил и допоздна не шлялся. Но вечером заполнило музыкой весь берег, поселок, леса и горы вокруг, и снова похолодало в моей груди, сжалось там сердце, снова сделалось жалко маму, бабушку с дедушкой, Васю-поляка — всех-всех жалко. «Вот это и есть роковые страсти», — решил я и подумал, что надо подаваться домой, к бабушке и дедушке, — тут пропадешь.

Зырянов хотел отстегать меня ремнем, но тетя Маня не дала, стращая мужа, что заест их обоих дорогая мама, изгрызет до костей — любимого внука лупцевать она может доверять только сама себе.

Тетя Маня хоть и ругалась, говорила, что я и на самом деле порченный, но бабушку с проходящими по дачам овсянскими заказала.

Бабушка не заставила себя долго ждать. Явилась она рано поутру, молча перекрестилась на единственную иконку, тускло мерцающую окладом в углу, и сказала, что так она и знала...

— Чего знала-то? Чего знала? — взъелась тетя Маня.

— А что заморите робенка.

— Х-хосподи! Изварлыжили, избаловали его!.. Не ребенок, а партизан Шшетинкин. Ничего. Поживет. Погостит. К порядку хоть какому-то приучится...

Бабушка ничего не слышала, ничему не внимала.

— Виденье вчерась было, — отрешенным голосом заявила наконец. — Голубка клювиком в стеклышко тюк-тюк да крылушком эдак вот махат-махат, страдалица... Токо что словам не говорит горьку весточку... «Пора мне собираться, — говорю я самому. — С Витькой с нашим, парень, чё-то неладно: либо хворат, либо те его голодом заморили...» — Тут бабушка еще раз помолилась на икону с книжку величиной, попутно сказав: — И на Бога-то имя тратиться жалко, в грех из-за скупердяйства войдут, но копейкой не поступятся, и икону такую приобрели, что ее без очков-то и не видно в этой фатере, простым-то глазом до Бога не дойти, да навроде и пыль с иконы не стерта, не до Бога людям — день и ночь за копейкой гоняются...

Рядом с иконой красовался безбожный плакат с валяющимся в грязи, утопающим в вине красноносым попом. Зырянов поддразнивал и злил бабушку такими вот картинками.

Почти стукнувшись лбом о порог, бабушка, с достоинством песя все тот же скорбный и постный лик, прошла немножко в глубь жилища, не раздеваясь, села на табуретку и длинно вздохнула:

— Ох-хо-хо-о!.. Гневим Господа, гневим и не каемся. Но доберется и до нас он, доберется... погодите... Мне-то что, моя жизнь уж прожита, а вот вам...

— Да икона-то, икона-то, — смеялась тетя Маня. — Ты ей благословляла нас с Миней.

— Благословила бы я вас, — проворчала бабушка, — поленом. Рассказывайте-ка лучше, как живете? — Бабушка вроде бы спрашивала у всего «опчества», но глядела на меня и концом платка промокала глаза, заранее проникнувшись ко мне жалостью.

— Чё рассказывать-то? Чё рассказывать? Говорю, избаловали огольца, изварлыжили, вот он и кобенится.

— Ага, мы избаловали! А вы дак пожалели, приласка-

ли, слезоньки сиротские обсушили? — Бабушка начинала наступать.

Оказывая помощь неутомимому бойцу в этом справедливом наступлении, я заширкал носом и думал, уж не взять ли голосом, да тетя Маня, собирая на стол, звякнула посудиною и сама перешла в ответное наступление:

— Чё у порога-то уселась? Тоже сирота несчастная! Иди вон к столу, налажено.

— Нет уж, благодарствуем! У чужой иконы не намолишься, с чужого стола не накормишься.

— Какой он тебе чужой?

— А чей же. Чей же? — сверкнула бабушка глазами. — Собирайся, мнучек. Пойдем отсудова. Сиротску нашу корочку глотать... бедно, да не корено...

— Да кто тебя корит-то? Кто?

Бабушка не стала далее слушать. Пропустила меня вперед, и я уж хотел стрелкнуть с крыльца к Енисею, на тропу, как она суровым голосом приказала:

— Поклонись людям! Скажи спасибо за хлеб-соль.

— Спасибо, тетя Маня, за хлеб-соль, — начал торопливо бормотать я и кланяться.

— Нет, ты ниже кланяйся, ниже. Хлеб оговоренный чижолай, к земле гнет...

— Вот артисты-то! Вот паясники-то! Х-хосподи! — хлопнула себя по бедрам тетя Маня.

— Спасибо, родна дочь, спасибо! — дрогнула голосом бабушка. — Вот уважила! Вот каким Божьим словом попотчевала маму родимую!.. — И, взявши меня за руку, в другую руку узелок, громко причитая, заверяла встречный народ, что ноги ее больше не будет у злыдней и скупердяев, заморивших парнишку-сироту до того, что у него пуп к спине прирос и ноженьки его больные сызнова ослабели. Не подай ей сигнал пташка Божья да не приди она еще неделю, так пришлось бы его, болезного, рядом с родной мамонькой в земелюшку закопать — вот какие поне люди пошли: родну мать, племянника-сиротиночку не обогреют, а уж чтобы убогого накормить-напоить, милостыньку вынести, об том и речь нечего вести.

Я почувствовал, что скоро разжалоблюсь, забежал далеко вперед бабушки, сломил прутик и представил себя жеребчиком — игогокая, прыгал до зарослей Собакинской речки, там, как охотничий песик, сделал стойку, насторожил ухо, выглядывая бабушку. Вот и она спустилась к речке, развязывая платок и утирая им пот со лба.

— Голову сломя несет окаянного! — ругалась она. — Како тако счастье тебя дома-то ждет? Каки таки разносо-лы? Сами с квасу на хлеб перебиваемся...

Бабушка разобрала узелок. В нем оказались две суш-ки, половина калача, горстка вареных картох и белое-бе-лое яичко. Бабушка бережно обтерла фартуком с яичка картофельные и хлебные крошки, хряпнула им по моему лбу так, что хруст раздался во всей голове и скорлупа разлетелась.

— Ешь.

— Напополам, баба? — сказал я так, чтоб не понять было, предложил я ей есть яичко вместе или испросил разрешения смолотить его одному.

— Ешь! — решительно повторила бабушка, и я боднул ее в плечо. Она погладила меня по голове, мимоходом брюхо щекотнула, по спине рукою прошлась, выше локтя мускул потискала. — Да павроде не заморенный. Чем кор-мили-то?

— Столовским. Когда сам ходил, когда приносили в котелке и в чашке — кашу, суп и кисель. В столовке хоро-шо. Колефтиф!

— Ко-олефтиф! Казенна еда, не освященная вода... Колефтиф лба не перекрестит. Железом пишша пропах-ла. Днем в столовой, вечером чё?

Чувствуя, что бабушке хочется еще почестить Зыря-новых, однако матерьялу недостает, я, отвернувшись, как бы через силу выдавил:

— Ну, чё, чё? Молока когда принесут...

— Казенно?

— Како же еще?

— Снято, конешно?

— Не знаю.

— Снято, снято. Вон их сколько, прихлебал-то! Всех надо сливками питать. А ишшо чё?

— Когда картошек еще с хлебом.

— И все? Ни печенюшки, ни пряника, ни сушечки?.. Дак и то посуды: у их и богатства-то — грыжа. Одна. На двоих...

Надо бы дальше поддакивать бабушке, но я и так уж заврался, и без того неловкость — покупала ведь тетя Маня и пряники, и сушки, даже конфет-подушечек, и даже сла-дость какую-то непонятную, клейкую у китайцев под Гре-мичей горой выменяла на столярную продукцию, рубаху

и трусы вон сшила. Где же им средств набраться? Денежки тоже не с поголка сыплются.

— Баба, что такое роковая страсть? — круто повернул я разговор в другую сторону.

— Страсть? — переспросила бабушка. — Это когда страшно.

— А роковая?

— Роковая? — Бабушка задумалась, насупив брови. — Не ведаю, батюшко, не знаю. Нездешно слово. Городско. Вот уж во школу пойдешь, все нонешные слова постигнешь... Постой-ка! А где ты эти слова откопал? Кто тебя научил?

— Знаю где, да не скажу! Я еще и частушку выучил!

— Так уж и выучил?

— Выучил!

— Ты тут, я погляжу, большу грамоту прошел! Ну-ка, ну-ка скажи!

— Вот слушай: «Девочки, капут, капут! Нас по-новому дерут...»

Бабушка занесла руку для крестного знамения, но тут же сорвалась выламывать прут.

Я улепетнул за Собакинскую речку и оттуда строчил частушки одна ядреней другой. Бабушка гналась за мной с прутом: «Анчихрист!» — кричала, но догнать меня не могла.

И так, гоняясь друг за дружкой, мы незаметно добрались до Караульной речки, за нею спустились к Караульному быку, в два голоса покричали лодку. Нам откликнулись. И пока мы сидели в заустенье, возле все еще холодом, с зимы, веющего камня, бабушка смиренно просила:

— Ты уж, батюшко, по деревне-то не тащшы домотдыховскую срамишшу, у нас ее и своей хватает. Не пой, батюшко, не пой и не рассказывай. Не будешь?

— Не буду, баба.

— И дедушке про Зыряновых ничего не говори... как мы перешыгытались. Дело родственное. Поругаемся, помиримся... Дедушко хворай и всякое горе, всякую напраслину в себе носит. Я вот проорусь, мне и легче, а ему чижельче.

— Ладно, не скажу.

— Пристал?

— Спать хочу.

— Ну, привались ко мне, горюшко, подремли, покуль лодка придет.

Я привалился к теплому боку бабушки. Она подгрребла меня рукой к себе ближе, вроде бы всего укрыла чем-то легким, мягким, и не слышал я, как несли меня в лодку и как дед принял из лодки, унес по яру домой укладывать спать. Мерещится, будто я слышал его голос:

— Спи с Богом! Спи со Христом! — И вроде бы совсем глухо, в бороду: — Тут тебе способней...

Покрутив вокруг города и нашего села с плотницким топором, даже съездив к себе на родину, в Хакасию, в богатое село Таштып, и не прижившись нигде, дядя Миша с тетей Маней возвратились на Енисей и году в тридцать втором или третьем стали на бакенский пост возле манского шивера, против устья реки Маны. Сейчас по левому берегу Енисея того места достигло и даже перехлестнуло его дачное строительство. Но в ту пору на тасжном мысу, сосняком темнеющем зимой и летом, серебристой искрой светился беленский щит и неподалеку от него, словно подбоченья, стояла на яру белая бакенская будка. Одна-разъединственная живая душа на таежном берегу, она тем не менее не смотрелась сиротливо и потерянно, чем-то влекла к себе, может, и к тому, что было за нею: в густые брусничные сосняки, среди которых случались чистые и нарядные поляны с ровной, всегда зеленой травкой, по оподолью наряженные земляникой, клубникой, костяникой и прочей ягодой да кустарником акации и таволги. Выше и ниже бакенского поста, подступая к Енисею, стоят горы над водой, а то и забредают в глубокие провалы обвальными утесами и рыжими каменными стенами-отвесами. Но это возле Караульной речки внизу и от речки Минжуль вверх, меж ними, начиная от Овсянского острова, что против моей родной деревни, — земли с буйной растительностью и разнотравьем самоцветом, который и строгие, ровные сосняки порой не в силах были усмирить. Деловые, лишенные жалостливых чувств дачники, правда, усмирили здесь и горы и доли, перекопали и порубили все, что можно перекопать и изрубить, загородили плотными заборами все, что можно загородить и застроить.

Но по тем временам считалось, и не напрасно, что Зыряновым для жилья и службы досталось привольное,

изобильное место. Однако участок реки был трудный, сплошь тут бакены, перевалки, и дядя Миша, страдающий грыжей, нажил бы и еще одну грыжу, обслуживая свои сигнальные точки, толкаясь к ним на шесте да гребая лопашнами против течения, веснами здесь вовсе неодолимого, да шестом-то орудовала и на лопашнах сидела всегда тетя Маня.

Питанье у Зыряновых было хорошее: они держали корову, нетель, поросенка, кур и даже коня одно время завели. Всем хозяйством правила, содержала будку в опрятности, кормила мужа «с лопаты» — стало быть, каждый день доставала из печи деревянной лопатой постряпушки — неутомимая, в мать радением своим удавшаяся, тетя Маня.

Из четырех дочерей, роженных бабушкой, тетя Маня была самая приглядная, пышнотелая, белолицая, с реденькими колопушками на нежнокожем и даже чуть барственным лице. Волосы ее, всегда коротко стриженные, были тепло-рыжего цвета, что у молодой белочки, глаза серые, впроголубь. Нрава она было не тихого, но покладистого, ко мне и ко всем нашим ласкова. И не жадна. Это скупердый Зырянов постепенно заломал ее характер, научил копить деньги и добро, не особо привечать нашу большую, в ту пору приветную друг к дружке родню.

Деньгу можно было нажить только неустанным трудом да торговлишкой. И сколь я помню тетю Маню, всегда она с большущим мешком за плечами тащилась в город — летом с огородиной, рыбой, ягодами, грибами, зимой с кружками мороженого молока, со стягном мяса, пластушиной сала, со сметаной, творогом в туюсках. Попутные подводы и лодки попадались не всегда, и, возвращаясь из города, тетя Маня частенько ночевала у отца с матерью в Овсянке. Дотащиться до Усть-Маны и переплыть реку у нее уже не хватало сил.

Бабушка от кого-то узнавала, может, чувствовала, что вот-вот явится тетя Маня, караулила ее у ворот или, что-то делая в избе, липла к окну; завидев дочь в переулке с мешком за плечами, в город и из города полнущим — все нужно в хозяйстве, начиная со спичек и кончая граблями, лопатами, сахаром, солью, — всплескивала руками.

— Тащится ведь! Тащится святая душа на костылях! — Бабушка бросалась из избы встречать гостью, возле во-

рот стягивала с нее мешок с прилипшими к одежде, впившимися в плечи лямками. — Угро-обишься ты, угробишься, дочь моя дорогая! Чё, вам больше всех надо? Чё это вы все хватаете, хапаете?

— Ой, мама, уймись, не до тебя.

Тетя Маня стаскивала с головы потемнелую с испода беличью шапку-ушанку, которую надевала в большие морозы, развязывала пуховую шаль, накрест повязанную па груди, и плюхалась на скамью. Привалившись спиной, словно вросши в простенок, сидела гостья, прикрыв глаза, хватая ртом воздух. Красивые мягкие волосы ее были спуганы, лежалы, мокро липли к ушам, к шее. Тем временем бабушка тащила из знаменитого сундука своего сухое: кофту, шаль, что-нибудь исподнее — и, конечно, при этом обличала Зырянова, вспоминала, кто и сколько сватал тетю Маню. Выходило, что сватали ее наперебой, и не только наши, деревенские, но и верховские, заезжие из Даурска, Ошарова, Сисима и аж из Минусинска. А сколько раз в кошеве приезжал из города сам Волков! Фотограф! Приезжал честь по чести, с колокольцами, со сватами, с дружками, с вином сладким и с речами ладными, с присказками складными, а она, раскрасавица наша, чё? Да ничё! Даже на письмо его не ответила. А уж письмо-то было, письмо-то! Как в старинной книжке писанное — сказывалось все в нем, будто в песне, любоф, любоф да еще эта, как ее, холера-то? Чувства. За божницей долго письмо хранилось, и как навертывался грамотный человек, она просила его читать. И наревется, бывало, слушая то письмо, да эти враженья, внученьки-то дорогие, добрались до письма, изрёзали, видать, ножницами, либо сам искурил. Чё ему чувства? Ему токо бы табак жечь да бока пролеживать. Ей, раскрасавице нашей, что тятё родимому, — тоже все чувства нипочем. Она с таштыпским вертухом криушает по свету, он столярным ящичком побрякивает, она волохает что конь, а все ни дому, ни причалу, в казенной будке живут — это при столяре-плотнике! Тьфу на вас, на беспутных летунов! И ведь не дура девка была, но как-то вот опутал таштыпский ушкуйник ее, улестил. Не иначе слово знат. Зна-ат! Оне, азияты, все такие! Оплетут, ошопчут... Верховские обозники сказывали: захотят, супостаты, свадьбу спортить — выдернут у жеребца из хвоста три волоса, побормочут на их, поплюют, на три стороны бросят — и все! Коня ни с места!

Пляшут, маются, хотят тронуться, но в какую сторону — не знают. У-ух, клятые!..

Так бабушка наговаривала, бранилась и в то же время переодевала тетю Маню в сухое, развешивала мокрое возле шестка, на черенки ухватов и на припечке раскидывала.

— Какой он тебе азиат? — вяло возражала тетя Маня. — У него и отец и мать — русские переселенцы.

— Русской? — подбоченивалась бабушка. — Русской? Да глаз у ево узкай! Со шшеки зайди-ка! А скупой в ково? А бессердешнай? Заездил тебя! Заездил...

— Ой, мама! Да ну тебя! Я уж и со шшеки и с заду заходила — везде красавец. Принеси-ка лучше мешок. Я Витьке гостинец достану.

Бабушка поднимала мешок и еще раз ужасалась:

— Коню только и по силам котомка! Да и то — Ястреб после того, как его в колхозе ухайдакали, на колени сядет под эдакой ношей... А гостинец, матушка ты моя, дорогая тетушка, и погодила бы вручать. Уж больно зубаст твой племянничек и неслух. Чуть чего — в топоры с бабушкой! А варначишша! А посказитель! Врать начнет — не переслушаешь! В лес на полдни сходит — неделю врет. Уцепится за юбку — и, хочешь не хочешь, слушай его, иначе рассердится. А в сердцах он — дедушка родимай! Де-э-эдушко! Де-э-эдушко! Глазом влепит — что камнем придавит...

Бабушка где с хохотом, где со слезами и возмущением повествовала гостье о моих похождениях и проделках, не прекращая при этом своих дел: собирала на стол, поругивала самовар, деда — за худую лучину, за угарный уголь и вообще за все прорухи, попутно сообщая деревенские новости и всякого рода события, в первую голову касающиеся дел в колхозе имени товарища Щетинкина. И снова про меня — неисчерпаемая тема!

— А то петь возьмется! Ухо у него завсегда заустоурено! Он у вас когда в доме отдыха был, всего назапоминал, и срамотишшы и переживательного... Я так вот за голову схвачусь и тоже реченькой ульюсь...

— Что тятю не порешила?!

— Не смейся, голубушка, не смейся! Друга на моем месте, может, и не снесла бы такова чижолова человека, может, и отчаялась бы да с утесу вниз головой, чтоб уж разом отмучиться. Но ты послушай, чё дальше-то, послушай! Аспид-то этот, кровопиец-то, как разжалобит меня, тут же в насмешки загорланит: «Девочки-беляночки, где-

ка ваши ямочки?» Я ему допрос: «Ты про какие такие ямочки?» А он мне: «Сама же говорила: «Какую ямочку дедушко выкопал в тенечке, какую ямочку! Молоко на воле не скисает!..» Ты понимаешь, какой он политикой овладел! Я ему про одну ямочку спрос веду, он мне ответ совсем про другую. Чисто выюн вывернется! Да еще и осердится: «А все те неладно! Дед молчит — неладно. Я пою — неладно! Как дальше жить?..»

Тетя Маня, чуть отдохнувшая, с лицом, пылающим от пажженности на морозе, улыбалась, слушая бабушку.

— Иди, иди сюда, — манила она меня и, когда я приближался, накоротке прижимала к себе, махала в сторону бабушки рукой — пуцай, мол, шумит, дело привычное, — высыпала мне в ладонку горстку конфеточек — разноцветных горошков или белый мятный пряник давала. — Дедушка-то где? — спрашивала. — Вот, отдашь ему махорки пачку да бумажки курительной...

— Ага, ага, — появлялась бабушка с самоваром, фыркающим в дыры паром, с красно сверкающими в решетке углями. — Он уж и так закурился, бухат-кашлят дни и ночи, добрым людям спать не дает...

Меня всегда поражала редкостная особенность бабушки: браниться, новости рассказывать и в то же время греметь посудой, накрывать на стол, подносить, уносить, дело править и все при этом слышать, пусть даже если люди и шепотом разговаривают в другой половине избы.

За самоваром шел уже степенный разговор о том о сем. Тетя Маня пила душистый чай с сахарком и рано ложилась спать. Вставала и уходила она со своей котомкой до свету, оставив на столе кусок сахара бабушке либо пачку фруктового, когда и семейного, чая и обязательно рублевку-другую. Пряча в сундук гостинец, завязывая денежку в узелок, бабушка, поворотившись к иконам, крестилась:

— Храни, Господи, рабу твою Марейо. Да не сотворится худо, не надорвется в ей становая жила.

Людям, какие у нас случались, особо родственникам, и в первую голову дочерям и сыновьям, бабушка при любом удобном случае говаривала:

— Уж на Марейо охулки не положу. Мимо материнцова дома не пройдет без гостинца. От себя оторвет — уважит, а ведь и то надо в ум взять: учет-то какой у нее? Михайло-то Илларионыч опростается и оглянется: нельзя ли в квас положить?..

Когда тетя Маня с дядей Мишей переселились на бакены, все наши перебивали у них в гостях. И я бывал и в гостях, и на хлебах, но память почти ничего не сохранила, кроме того, что у тети Мани была вкусная и обильная еда, что дядя Миша, к моему великому удовольствию, по-прежнему столярничал и от него пахло стружками, играл на гармошке с колокольцами, пел «Когда б имел златые горы», читал газету «Речник Енисея» и заставлял меня чистить стайки, вычерпывать мутную воду из лодки, заправлять фитили в вонючие бакенские лампы. Еще помню, что хаживал за грибами и рыжики прямо за огородом было так много, что тетя Маня рыжики больше пятака сама не брала и мне брать не велела. Земля и леса за рекой были так чисты, рыжики столь молоды, свежи, угольно накалены с исподу, что тетя Маня никогда их не мыла в воде, так же как и ее мама, которую она безмерно любила, — подражая ей, следовала ее опыту и совету в хозяйственных делах, лишь протирала чистой тряпичей. И какие это были грибы! По три года стояли они в кадках в погребе, оставаясь хрусткими, не утратив цвета и вкуса.

Осенью сорок первого года, когда еще не были выстроены бараки нашего ФЗО и учащиеся жили кто где и кто как, я почти до середины ноября обретался у дяди Васи-сороки, старался поменьше бывать «на квартире», шлялся дотемна где придется и однажды нежданно-негаданно встретил тетю Маню на злобинском базаре.

Прежде, когда ей случалось быть в городе с «товаром» — тетя Маня торговала на качинском базаре, откуда было недалеко до дяди Кольчи-старшего, до тети Тали, — то, припозднившись, она иногда у них и почевала. Но транспортная оказия, видать, кинула ее на другую сторону Енисея, на злобинский базар, а меня занесло туда купить на мелочь бедных военных лепешек из картофеля. Заметив тетю Маню, я отчего-то застыдился, хотел проشمгнуть мимо нее, затесался было в толпу, но она, давняя торговка, хорошо чуяла и видела базар, выцелила меня глазом еще издали и заподозрила в чем-то. Ну, не промышляю ли я на базаре вместе со шпаной, не занимаюсь ли карманной тягой.

Тетя Маня окликнула меня, и я нехотя к ней приблизился, понурясь, пряча руку с лепешками за спиной. Тетю Маню я не видел лет пять, может, и больше. В Овсянку

Зыряновы теперь заходили редко. Неподалеку от Овсянского острова возникло подсобное хозяйство какого-то большого предприятия, и Зыряновы пользовались его транспортом, брали коня, сбрую, да и конновозчика в придачу им давали. За харчи, за всякого рода подачки тот ломил в уже довольно обширном хозяйстве бакенщика.

Тете Мане было уже под сорок. Беличьи тонкие волосы ее прострочило совсем уж тохонькими, нервно выющимися паутинками. Она приосела на крестец, чуть потучнела, укоротилась в шее; фигурой походила скорее на мужика — тяжелая, неустанная работа делала свое дело. Лицо и крупные жилистые руки тети Мани были темные от загара, уже постоянного, речного, и, когда она улыбалась, морщины горелой хвоей слипались у глаз, на лбу и у рта, но когда переставала улыбаться, в желобках морщин просматривалась дальняя, молочная бель лица.

Тетя Маня через плахи прилавка обняла меня и поцеловала, отчего я смутился и начал озиаться на народ. Она оглядела меня пристально с ног до головы, бабушкиным голосом сказала, какой я большой, и две плоские слезинки как-то сами собой выдавились из ее тускнеющих глаз, повисли в дрябло набухших подглазьях, подрожали и сами же собой незаметно высохли — я догадался, что тетя Маня в эти минуты подумала о маме. Потом она, коротко вздохнув, начала расспрашивать меня о моем житье-бытье. Я скупно отвечал, все еще держась отчужденно, сыспотиха готовясь к дежурному упреку за то, что, вернувшись из Заполярья, не наведаясь к ним, не погостил у них, и, когда этот упрек последовал, скороговоркой сообщил, что долго получал паспорт, маленько подрабатывал с дядей Левонтием на хлеб, и что вот, слава Богу, поступил в припоздало открывшееся ФЗО, скоро мне там выдадут спецовку, обещали даже форму выдать, и что всем я доволен. И чуть не проговорился, что доволен еще и тем, что избавил от забот тетку Августу, у которой жил какое-то время после возвращения из Игарки, у нее и своих забот полон рот; попутно избавил бабушку от причитаний о «сиротинке горемычной».

Сославшись на то, что в училище у нас строго, я попрощался с тетей Маней и пошел было, но она вернула меня, вселела подставить карман. Черпнув из мешка аккуратненьким, по ободку обрезанным граненым стаканом, поинтересовалась, не дырявый ли у меня карман, и высыпала в него каленых кедровых орешков. Она и второй

стакан вознамерилась было отвалить, но я поспешил поблагодарить ее, сказал, что мне больше не надо, и она поставила стакашек перед собой на прилавок. Перехватив мой взгляд, чуть смутилась, зашарила по карманам, вынула чем-то давно мне знакомую, затасканную по рабочим карманам рублевку.

— Нет-нет, не надо! — отпихивался я руками от прилавка и от рублевки.

Тут, слава Богу, возник покупатель. Высыпая ему в карман орехи, тетя Маня тянулась короткой шеей через плечо покупателя.

— Не чужие ведь... Приходи... Поможешь... — донеслось до меня.

Тетя Маня понимала, что просто так я не соберусь к ним, боясь их сладкого корма, но «помочь», стало быть, заработать хлеб, — совсем другое дело, можно преодолеть себя. Да и бабушка, когда поздней осенью, по холодам, был я в Овсянке и рассказал про встречу с тетей Маней, сказала:

— Сходи. И правду не чужие. Хоть досыта поешь... Марей-то выпряглась, суперечит Михаилу, зубатится с им: «Надо было взять парнишку, вырастить, Божье дело справиться... Так нет, нас копейка-злодейка заела...»

О том, что я у Зыряновых долго не нажил бы, бабушка умолчала, а о том, что родитель мой, дорогой папуля, «из принципу» не отдал бы меня «в люди», помалкивал я.

Время ушло-укатилось. Детство мое осталось в далеком Заполярье. Дитя, по выражению деда Павла, «не рожено, не прошено, папой с мамой брошено», тоже куда-то девалось, точнее — отдалилось от меня.

Чужой себе и всем, подросток или юноша вступал во взрослую трудовую жизнь военной поры. Внешне все еще зубоскал и посказитель, внутри — насторожившийся, в себя упрятавшийся бывший беспризорник и мечтательный романтик, возникший от пестрого чтения пестрых книг, и грубый, ныркий фэзэошник, добывающий ловкостью, потом и смекалкой пропитание, все время ждущий подвоха, суровой нотации, а то и кары от взрослых людей.

И диво ли — я ведь кровный сын своего народа. Всю историю держат и держат русский люд в постоянной вине, в напряжении, и хлеб, своим хребтом добытый, ест он

как чужой, из милости ему поданный. Я к тому же ел хлеб самый горький, сиротский, едят его всегда с оглядкой: так ли ешь? не много ли? со своего ли края ложкой черпашь? Беспризорничество — вот свобода и свободный хлеб, и к чему во все века устремлены ребятишки, бегут от сытого домашнего стола, из сиротских приютов, от богатых благодетелей и ласковых вельмож. Но беспризорничество и вечный укор благодетелям — ведь не сам по себе возник сирота, они же, благодетели, и осиротили его. Осиротили и давай окружать вниманием, лаской, но так и не могут избыть своей всевечной вины перед изгоем — сиротой. Никого так жестоко не бьют, не проклинают, как беспризорника, эту колючую соринку в глазу «невинного» человеческого общества. В приют, в тюрьму, в исправительную колонию, под розги, под ножи, под тяжело отлитые свинцовые пули соринку ту, чтоб не портился благочинный пейзаж, не застила она светлую зарю будущей безгрешной жизни.

Заперли бродяжку в казенном доме, тут-то уж все равны, все со своей долей-недолей, все в рубашках и штанах одинаковых, да рубашки те, штаны те и хлеб тот — казенные, и благодетели, их раздающие, тоже люди казенные, ни ума, ни сердца не хватает им проникнуться состраданием к ребенку, зато самоупоения собственным благородством, самолюбования добротой своей так много, что благодетельствованный беспризорник начинает люто сопротивляться сподручными ему средствами сей тягостной доброте. Из чистых постелей, из теплых комнат, от умных слов и книжек, от ласковых дяденек и тетенок, долго учившихся в школах и институтах любви к обездоленному ребенку, нарезает он на пристани, вокзалы, спит под мостами, в кочегарках, в ямах, в бочках, ездит под вагонами в «собачниках» иль к железной раме ремешком привязавшись, головой к гремящему колесу, дерется беспощадно с городскими приличными мальчиками, сводит в могилы умных учителей и наставников-моралистов, которые шли трудиться в детдом, веруя в ответную благодарную, даже восторженную любовь сирот, но нередко получая в ответ ненависть, пож под ребро или кирпич в разумную голову.

Юность — все же очень хороший возраст. Беспечный. Добрался до нее — живи, радуйся дню сегодняшнему, и пока заказано тебе думать о дне завтрашнем, — не думай,

не надсаживайся, а что там у тебя в середине, какой груз, какая надсада — никому не видно, никому не слышно...

Бело и тихо кругом. Парят полыньи и прораны по Енисею, снежок еще тонок и лед на заберегах звонок, ничто еще не угнетено морозами, не сковано до хрупкой ломкости. Леса по горам темны, в шубе их нагрето — стоят, не ворохнутся, боясь вытряхнуть последнее тепло, — и добрые, тихие воспоминания о прошлом лете незримо и неслышно реют над ними.

Ни войны тебе, ни тревоги. Тишина. Чистый снег. Таежный простор. Топаю я по левому, гористому берегу Енисея к Зыряновым на Манский мыс и ничего не боюсь. Река стала, успокоилась, но еще дымятся полыньи и дышат окна, по льду не проложена еще зимняя дорога в город. Однако тропка из Овсянки на известковый завод уже протоптана — это оторви-головы, гробовозы, наладили через реку первопуток, ходят с шестами под мышкой, щупают меж торосов и где прыгают через щели и дыры, где боязливо семяют, где бегом рвут, где и ползком. Житье возле реки, да еще если она в скалах, рискованное.

Я посидел возле Караульного быка, под навесом которого дымилась драным лоскутом полынья, черная в глуби и с неуверенной голубой рябью поверху. Сосульки с камней свисают — билась-колотилась об эти камни река, не желая покориться, брызгалась, ломала хрупкий лед, выплескивалась на отвесы камней и слой на слой стелила воду, и вода хрустела битым стеклом, стеклышко по стеклышку, звеньишко по звеньишку со звоном катилась вниз, обратно в реку, и все теснее становилось реке, гуще и покорней делалась в ней вода, умиралось ее буйство, замирало течение, загоняло его под лед, спекало, запечатывало. Какая долгая, какая упорная и вечная борьба!

Тоскливо покружился надо мной и над лохматой пустынной рекой сокол, пронзительно вскрикнул и исчез в скалах. Почему он не улетел? Что его здесь задержало? И что тянет меня неудержимо спуститься с обрыва на ровную заберегу с уже пробитой во льду мелкой прорубью, не отмеченной еще пихтовыми лапами, пойти по нервно пегляющей тропке через реку? Меня, на казенном харче взрослого, и этот неверный лед выдержит. Меж припаем забереги и узластым швом прикипелой к ней шуги кинуты два осиновых кола с созревшей черемуховой перевязью. По ним к заречным девкам на подсобное хозяйство и на известковый завод переходили, побеждая страх, овсянские

кавалеры, и среди них наш Кеша — он уж не отстанет! Не сегодня завтра овсянские жители будут бить пешнями и топорами зимнюю дорогу в Собакино и дальше в город. Пойдут между острых, еще не обточенных ветрами торосов деревенские кони, медленно пойдут, опасливо косясь сосредоточенным глазом на уже стеклянно сверкающие окна, обходя их семенящими ногами. Попав на заберегу, чуть покрытую еще и не снегом даже, а мелким белым порошком изморози, фыркнули кони с облегчением и зацокают подковами в приятном, вольном беге.

Я переборол соблазн, прошел родную деревню, покорно уходящую в зиму. Миновав горной тропой Караульный бык, спустился на ровную, по трещинам ветвисто расписанную заберегу и, то катясь, то споро топая, оставляя свой первый след на равнине, шуровал себе на Манский мыс, и плелась в моей голове легкая дума о том о сем, и глупая, нелепая песня про заберегу радовала мое сердце, морозец бодростью разливался по всему телу. Ни о чем я не думал, никого не сторожил, потому что кругом чисто, светло, надежный лед под ногами и все родное, с малолетства известное глазу. Я иду к Зыряновым, к тете Мане и дяде Мише, «помогать». Если они меня не приветят — поверну назад, вон моя деревня, вон мой дом родной, ни точка-тропинка к ней петляет меж гулких торосов, глыбы льда, тяжело вздыбленные на середине реки, на стрежовом теченье, сверкают студеными громадами. Но коли потребуется, поборю страх и пройду меж них, пусть даже ночью, пройду.

С сеновала по лестнице скатились две собаки — рыжая опрятная сучонка и черный, весь засаженный сенной трухой кобель. Сучонка тявкала и одновременно выкусывала что-то из шерсти, кобель пер навстречу, клубя белую пыль, и за хвостом его оборванными проводами тащилась мятая солома.

— Ты сперва глаза продери, задницу почисти, потом уж жри людей! — сказал я кобелю.

Он озадаченно смолк, лишь перекатывал рык по чреву своему. Сучонка все тявкала и пошевеливала хвостом: дескать, это я так, для хозяев больше стараюсь, но тебе рада и кусаться не буду. Я дал обнюхать собакам свои ботинки, и они поволоклись за мной в ограду, кобель попробовал было поиграть с подружкой, но она показала

ему зубы и вежливо проводила меня к однооконной хибарке, сколоченной из плавника, горбылей и всякого-разного деревянного старья.

«Мастерская», — догадался я. Пристроенная к стайке, она бойко выбрасывала в узкую трубочку черный смоляной дым. В мастерской ширкал рубанок. В окошко я увидел склоненную над верстаком фигуру, споро снующую руками. Человек, облаченный в длинный фартук, словно бы месил сдобное тесто. Я открыл дверь и, вдохнув запах стружек, по возможности беспечно сказал:

— Здорово ночевали!

— Здорово, здорово, добрый молодец! — поприветствовал меня дядя Миша и, обтерев руку о нагрудник фартука, дакнул мои пальцы, я почувствовал окаменелые мозольки столяра. — Экой столб вымахал! — оглядывая меня снизу вверх и сверху вниз, сказал дядя Миша. — Когда и успел? — Услышав за стенкой движение, он постучал в дерево и крикнул: — Маня, к нам гость пожаловал!

— А-а! — откликнулась тетя Маня. — Вихтор, что ли? — И, не дожидаясь ответа, пошла в избушку, перекосившись одним плечом от полного ведра.

Я посидел на порожке мастерской и с удивлением обнаружил, что дядя Миша сооружает гроб. Я поежился и скорее взялся за приборку, вспоминая, как эту радостную работу охотно исполнял когда-то в домотдыховской мастерской. Какое удовольствие сметать в кучу чистые стружки, собирать гладкие обрезки, щепки, кубики в корзину и вдыхать, вдыхать пьянящий запах, скипидарно щекочущий ноздри, слышать, как руки липнут к смоле, каплями выступившей из дерева, словно бы в последний раз оплакивающего свою гибель: хоть в гробу, хоть в шкафу иль в табуретке погибнуть — дереву все больно.

— Не забыл? — улыбнулся дядя Миша в разглаженные, опилками и стружками засоренные усы. — А я вот домовину делаю. Да не себе. Себе еще успею. Летом, сам знаешь, работы прорва, по дереву соскучился, этот товар, — похлопал он по почти уж сшитому гробу, — всегда на мне был. Кресты, домовины — мой досуг, ремесло мое. Много народу вокруг под ними покоится. И твоя мамка, и Илья Евграфович, и Митрей... Э-эх, хоть этим памятен буду. Чего долго не приходил-то? Ну не оправдывайся, не оправдывайся. Захотел — пришел бы, значит, не хотел. А

счас самый раз. Завтра заездки смотреть будем. Неделю стоят.

Слушая говорок дяди Миши, видя, как он колдует над верстаком, поколачивает, постругивает, подпиливает, я вспомнил, как бабушка по-за глаза хвалила Зырянова: «Михайла — добытчик! Мимо дома копейку не пронесет!.. — И с деревенской прямоотой лепила ему в глаза: — Вертухай ты, вертухай. Чё ты по свету вертишься? Чего и ково ишшешь? Копейка завсегда у тебя под ногами лежит, нагнись и возьми! Не-эт, тебе копейки мало, тебе штоб рубель стружками кружился. Червяк тебя точит! Точит ведь, точит! И грыжа тебя донимат, кровяной напор в тебе нестойкай оттого, что рыло не крестишь, в любое время, в любой день, даже в пасхальный сочельник скоромное лопаешь, и не думаешь о том, что за этот грех земля тебя не примет...» — «На небо вознесусь. Там мягче!» — ухмылялся дядя Миша, делая вид, что все ему нипочем, был он и остается главным среди людей. Но иногда — понимал, видать, что не главное он бабушки, — запоясывался, хлопал рукавицей об рукавицу: «Ну и родню мне черт послал!..» — бахал дверью и подолгу у нас не появлялся. «На руку — золото человек, сердцем — чужой и чижолой. Вся наша родова — вертопрахи, если и пошумит, то как лист в лесу, ну, окромя самото, конечно, об том што говорить? Я токо и могу его вынести. Друга бы давно уж с утесу вниз головой — штоб уж сразу. А этот не нашей веры, поди-ка? Ох, Марей, Марей! Я ли ей не говорила, я ль ее не упреждала...».

Не закончив гроб, дядя Миша отправился затоплять баню. Прытко бегая вниз и вверх по мерзлому яру, я натаскал воды в баню и, пока она топилась, успел почистить в стайках, отвалил кучи от окон, в которые выбрасывается навоз.

— Зима еще не началась, — бабушкиным голосом проворчал, — вы уж дерьмом заросли!

Тетя Маня засмеялась, поняв, откуда ветер дунул, словоохотливо объяснила, что с подсобного хозяйства подобрали мужиков на войну, сами же хворы, не справляются с хозяйством, и как дорога установится — ликвидируют скот, продадут мясо, оставят только корову, ну, может, еще поросенка.

Распаренные, чистые после бани, вечеровали мы за столом. Дядя Миша с тетей Маней распочали и за мое здоровье да за здоровье Катерины Петровны и всей нашей родни, в первую голову за тех, кто бедует на войне, быстро и дружно опорожнили бутылочку.

— Ну вы даете!

— А чё нам, морякам! День работам, ночь гулям! — пьяненько махнула рукой тетя Маня. — Горбom заработано! А ну-ко, Миня! — приказала она дяде Мише, и тот, засунув руку под кровать, выудил оттуда гармошку, дунул на нее — с гармошки клубом полетела пыль.

— Да-а-авненько, да-а-авненько я не брал гармозень в руки, — прилаживая ремень на плечо, покачал головой дядя Миша и пощупал пуговицы музыки. Молодецки разгладил усы, широко открыв рот, дядя Миша набрал воздуха и, как с обрыва скатившись, грянул: — Когда б имел златые горы и реки, полные вина-а-а-а...

Мы с тетей Маней подхватили, и пошла содрогаться бакенская избушка от громкого и слаженного рева. Дядя Миша, сидя на кровати в просторном нижнем белье, валился с гармошкой то вправо, то влево или начинал тряско подпрыгивать, подергиваться, тогда рубаха и подштанники как бы отделялись от него — они оставались на месте, сам же человечешко санным, сухопарым кузнечиком норовил выпрыгнуть из них. Однако не сумел. Но разошелся в веселье и во всем белом пошел по избушке вприсядку. Подштанники ломались у него под коленями, рубаха распятым качалась по стенам, и только руки, высунутые из рукавов, и голова из ворота да усы, мелькающие на чем-то красном, свидетельствовали, что тут действует — и лихо действует — живой, всамделишный человек. Тетя Маня пыталась порхать над ним, но больше порхал платочек над ее головой да визг пронзал пространства, били по жидким половицам, топали тяжелые, больные ноги с раздутыми водянистыми венами, свитыми в клубки под коленями и на обвислых икрах. Но порода брала свое, и тетя Маня через сбитое дыхание, под нестройный топот все же выдавала:

— И-и-ы-ых, хороши наши платки, каемочки поуже бы, хорошо мил прижимат, не хуже бы потуже бы!.. Жми-дави, деревня бли-и-изка-а-а...

— Не ходите, девки, яром, не давайте кочегарам... — дорогой муженек ей в ответ.

Тетя Маня плясала, плясала и, с маху упав на кровать,

без звука уже открывала рот, тыкала пальцем на ящичек, висящий в простенке под зеркалом. Я метнулся к ящичку, достал из него флакончик, плеснув в стакан стародубкой-адонисом пахнущее зелье, глотнув которого, тетка моя полежала навывтяжку, потом села, собрала гребенкой волосы на затылке и сказала:

— Вот дураки-то! Ты, Вихтор, не обращай на нас внимания. Мы зимой без людей дичам. И тебя нечистый дух подхватил! — ткнула она кулаком дядю Мишу в лоб. — Туда же, впрыскай. Ночесъ запропадаш...

Мы вышли с дядей Мишей во двор, полили угол избушки, одновременно глядя на небо. Половина луны уже отковалась, блестела сквозь серый небесный морок, звезды на горных хребтах прорастали, хлопал и взвизгивал трещинами на реке лед. Далеко-далеко, в тайге, в горах, прокричал кто-то диким, гаснущим голосом. Птица? Зверь? И снова все замерло в предчувствии долгой ночи, надвигающихся морозов, бесконечной и, как окажется, страшной от бесконечности зимы сорок второго года. Ветка и Хнырь лежали у порога, уткнувшись носами в шерсть, прикрыв себя хвостами.

— Ну, все! Быть морозу! Завтра помоги Бог морды поднять из воды! — бодренько воскликнул дядя Миша и передернулся всем телом так, что кости в нем вроде бы забренчали, телогрейка, наброшенная на спину, спала с одного плеча, и, стуча галошами, он поскорее стриганул в избушку.

Я трепал пальцами Ветку по загривку, сверху заиндевелому, но в глубь до того пушистому, ласковому, что не хотелось из него и пальцы вынимать. Хнырь поднялся, потянулся, зевнул, с таким сладким подвывом, что дядя Миша, оглянувшись, заругался:

— Эк дерет пасть, окаянный! Ты недолго тут с имя. Оне рады-прерады к человеку прилипнуть.

Ветка, было уронившая хвост, как только стукнула дверь избушки, снова его закренделила, просительно пикнула: извини, дескать, хозяина за грубое обращение, не понимает он души нашей. Хнырь повалился в снегу и, не отряхнувшись, грубо, по-мужицки навалился мне на грудь, преданно ляпнул в лицо горячим языком. Я сгреб его в бедра, завалил, придавил. Ветка, стоная от восторга, налетела сверху, с боков хватала меня за одежду, Хныря за шерсть. Хнырь не умел сдерживать чувств, хватко хапал

зубами за что попало, рычал, бурлил горлом, понарошку сердясь на нас.

— Ну, будет, будет, дурни! — успокаивал я собак. И они послушно унялись, присели по обе стороны от меня. Я погладил их остывающие головы, они пытались уцепить языком мои ладони. — Надурелись, наигрались! Ах вы дурни, дурни!

А сам все смотрел, все слушал, внимая редкостной в нынешней моей городской жизни притаенности природы, все более светлеющей, торжественной ночи, в которую так любят воровать сельские девушки, гадать, что ждет их впереди и какой жених явится из волшебного ночного свету — хорошо бы кучерявый, в вышитой рубашке, подпоясанный крашеной опояской. Звезды и месяц, как бы примерившись к месту на небе, посветив земле и людям, правившим хозяйские дела, отдалились в вышину, сделались отчужденными в своей неземной красоте. На них никогда не падоедает смотреть, боязливо дивиться их строгому свету, благоговеть перед нетленным величием гостей ли, хозяев вышних, чувствовать серьезность ихней жизни, непреодолимость небесной тайны и ужиматься в себе от малости своей под этим остывающим небом, все шире заковывающим себя в жестяные, а ближе к месяцу — серебряные латы.

Нет, нет, еще не хрусткой зимой, не лютыми морозами веет с неба. Оно лишь полнится предчувствием зимы и морозов. Белка уже выкупела и этой ночью бежит по снежку, летает с ветки на ветку, то ли играя в тайной тишине ночи, то ли кормясь. Вот выпугнула из теплой ели рябчика, и он метнулся в одну сторону, белка в другую, цокнула, жогнула отрывисто и успокоилась. Рябчик фуркнул крыльями, нырнул в обогретую ель, перебираясь пальчиками по сучку, залез в гущу хвои, прижался к живому стволу дерева, утянул шею в сдобренные пухом перья, утрелся, устроился и дремло смежил глаза, коротая долгую ночь в сторожке сне.

Белка снова пошла махать с дерева на дерево, легкая, веселая, устали не знающая, и снова нарвалась на лесного обитателя. Жутко загромыхав крыльями, из осинников метнулся жировавший там в сумерках на последнем, редком листе, беспечно придремнувший глухарь. Черным снарядом пробивал он голые кроны деревьев, и они взрывались красными искрами остатного листа. Глухарь укрывшись в расщелине гор и долго ворочался в глубинах захлам-

ленного горельника, устраиваясь в надежной засидке; белка же до того перепугалась, что упала с дерева и стриганула из лесу в поле, на одиноко темнеющее дерево.

И глухарем ли сшибленный, током ли струи из горного распада, все более остро пронзающего ночь, тайгу и пространство до самого Енисея, подхватило и занесло во двор выветренный листок. Он черенком воткнулся в рыхлый снег и засветился живым, чуть теплящимся огоньком лампадки в этой настороженной зимней ночи, полной затаенной жизни, пегасящей тревоги, до боли щемящего чувства надвигающейся беды или беспредельного страдания, от которого нет ни защиты, ни спасения.

Да, ведь война идет, война. И где-то на этой земле, чисто прибранной на зиму, за этими угрюмо темнеющими горами, под этим вот отчужденным небом лежат в снегу, ждут утра и боя живые люди, фронтовые бойцы. Как им, должно быть, студено, одиноко и страшно в эту ночь.

Мы поднялись с дядей Мишей поздно. Дрыхли бы еще, но Хнырь обнаружил белку за огородом на голой лиственнице, на том одиноком дереве, которое по какому-то никому не ведомому приговору остается возле человеческого жилья от отступившего леса, и об него пробуют топоры, всякое железо и камни, привязывают к нему скотину, подпилят его зачем-то, а то и подпалят снизу, навесят на пижонные ветви литовки, скобы, вышедшие из дела, вобьют ржавые гвозди в ствол, прислонят старую железную ось либо грабли, да и позабудут навсегда о них. Но дерево, напрягшись силами и соками, наморщив грубой корой свой темный лоб, упрямо живет и даже украдкой цветет, приветит и пригреет в обнажившихся корнях полянку земляники, веточку костяники бережет до самых морозов, укрывает опадающей хвоей тоже отбившиеся от стаи робкие и разноцветные сыроежки.

Эта лиственка была еще кое-где в пушке рыженькой хвои, цветом схожей с тети Машиными волосами, и в гуще веток, в скопище мелких шишек, сжавшись в комочек, прятала себя белка. Под деревом сидючи, вроде как по обязанности гавкал Хнырь, и лай его постепенно пробился к нам сквозь сон.

— Окаянный! — зевнул и заругался дядя Миша, не вылезая, однако, из-под одеяла.

Я бросил полушубок, под которым спал на полу, и выглянул в окно.

— Хлопну белку!

— Да ну ее. — Дядя Миша сел в постели и потянулся. — Молодой кобелишка, зевастый, никакого потом покою не даст. С вечера будет загонять белку на дерево.

— Он часа уже два бухает, — подала голос из-за занавески от печи тетя Маня. — А вы, мужики, здоровы же спать! О-е-е-е-о! С такими воинами защитишь державу... Защитишь...

Я занырнул обратно под полушубок — понежиться. Дядя Миша, глядя на меня, тоже вальнул на постеленку и притаился в пей. Полежал, подремал и давай рассказывать, как белковал однажды зимой. Выскочил налегке в горы обстрелять «свой угодня», добыл десяток белок, хотел уж домой ладиться, да собаки соболя стронули с засидки и погнали, и погнали по распадку. В горельник загнали. А там, в трущобной шараге, не только соболек, рота дезертиров скроется — не сыщешь.

Увлечись, в азарт вошли и собаки, и охотник, ну и затемняли. А ночевать в здешней тайге, в накаленном стужею камне? Это только в книжках интересно да в рассказях Ивана Ильича Потылицына. На самом же деле... Хорошо, дров много и топор с собой смекнул захватить, а то взопрелому человеку и пропасть — раз плюнуть.

Всю ночь возле огня вертелся в обнимку с собаками — они охотника греют, он их. Утром снова в погоню. Соболишку надо бы в чистую тайгу выгнать, но он ушлый, не идет из логов. Еще денек побегали, белок начали есть и шипицу с кустов. Лишь на третий день загнали в дуплистую валежину соболя, охотник забил деревянными пробками с той и с другой стороны дупло — собаки соболя слышат, гнилое дерево зубами рвут, аж щепки крошатся. Охотнику помочь бы им, отверстие прорубить, но он ни рукой, ни ногой — уходился, ухряпался.

Ветка с Хнырем все же прогрызли дерево, и оттуда, из дупла, черным дымком выбросило соболя, собаки цап его и давай пластать. Охотник, где силы взялись, пал меж собак, отбирает зверька — изорвут шкурку. Ветка окриком очуралась, отскочила. Хнырь до того озверел, что цапнул охотника за руку да и прокусил ее до кости.

Идут домой, плетутся — охотник впереди едва лыжи передвигает, собаки сзади, опустив хвосты и головы. «Что же ты, сукин сын, себе позволяешь? — ругается охотник. — Столяра без руки оставить — все одно что жениха без пужного предмета, ремесло потеряешь, хлеба на старости лет лишишься...»

Дома новая напасть — нету хозяйки! Убежала дорогая Маня в деревню и в поселок народ созывать: муж в тайге потерялся. С народом при помощи горючки разобрались, что и как. Но рука долго болела. Хнырь на глаза не показывался, не ел, не пил, ребра наружу у него вылезли, пока свою ошибку не осознал. С тех пор не кусается, но и дядю Мишу в тайгу не шибко манит.

А белки, соболька и колонка развелось много. К огороду козы подходят. Осенью маралы за баней трубят.

— Когда люди друг дружку быют — им не до зверя лесного... По морозу приходи, постреляем, — пригласил дядя Миша. — Я один-то не шибко ходок в тайгу, кашляю так, что зверье разбегается.

Тетя Маня уже управилась по хозяйству, пекла блины — они с жирно утихающим шипением растекались на сковороде. По избушке вкусно расползался смрад сытного коровьего масла, подгорелого жидкого теста. Отсветы от жарко полыхающих в печи углей шевелились за занавеской и красно выплавляли фигуру стряпухи.

— Проспали все царство небесное! — добродушно поносила нас от печи тетя Маня. — Вот дак рыбаки! — И сама себе подпела: — Рыбаки ловили рыбу, а поймали раа-ака-а-а.

Тетя Маня и опохмелиться успела, догадался я. Не сделалась бы от уединенности эта парочка пьяницами — пьяниц в нашей деревне да и в родне нашей и без них хватает.

— Как ты, Миня, храпел, чтоб тебя лешаки взяли!

— А ты? — взъерошился дядя Миша и передразнил ее на манер поросенка, морща нос: — Хур-хур, хур-рры-ы-ы-ы...

— Полно врать-то! Вихтор, скажи, кто храпел? Как на суду.

Я выскочил из-под полушубка, натянул штаны и, махнув на стряпуху рукой, пошел умываться. Чем-то все-таки тетя Маня и дядя Миша подходили друг дружке, и Бог — или черт, по заверению бабушки, — свел их не зря.

Щегинку колев и обрубыши еловых веток было заметно еще издали. Почти половина манского шивера была перехвачена заездом. Три морды пробно, сказал дядя Миша, стояли в окнах искусно сотворенного заплота. Ловушка, ныне считающаяся браконьерской, возникла, ви-

дать, еще на заре человечества. Как только человек обзавелся умом, тут же и мысль ему первая в голову пришла: загородить реку. Так он с тех пор и загораживает реки, землю, себя. Ловушка-заплот, ныне по всему свету распространенная в том или ином виде, тоже в древности придумана была — видел ее подобия почти во всех музеях. Сплетается из прутьев корзина, продолговатая, с квадратным или круглым входом и заткнутым или завязанным выходом. В нашей местности она зовется мордой. Ловушка покороче, попузатей уже именуется корчажкой. Подобие морды — корчажки — верша, плетенная из ниток и с крыльями. Ныне мордашки делаются из самого доступного материала — легкой алюминиевой проволоки.

В сибирском заезде — основной снасти для добычи рыбы на горных реках зимою — вместо крыльев ставился заборчик из ветвей и кольев. Рыбе обойти бы заборчик слева или справа, толкнуться, наконец, сквозь ветви. Так нет, она обязательно ищет дырку и лезет в нее, дырка же ведет в тюрьму из прутьев — сиди там, бейся в тесноте и в темноте, пока не околеешь или рыбак тебя не вытащит на лед.

«Тихая» эта рыбалка вредна тем, что заломы, по-сибирски заездки, ставятся, как правило, в период хода рыбы, то есть икромета, и рыба, влекомая инстинктом вверх по течению, миновать их никак не может. Прimitивно и жестоко. Но и весь промысел человека, добыча им пропитания и одежды, от веку стоит на крови и муках неразумных животных, птиц и рыб. И одна из причин жестокосердия человеческого проистекает отсюда — от убийства, от сдирания шкур и поедания «братьев меньших».

Ну, это я сейчас, на старости лет, так «плавно» рассуждаю, желая оправдаться задним числом за смертные мучения и кровь тех, кого за свою жизнь убил и съел, расшаркиваюсь перед теми, кто питается «святым духом», хотя лично, «в натуре», таковых ни в Стране Советов, ни в буржуйском стане не встречал.

После крепкого сна в теплой бакенской избушке и жирных блинов я лихо лупил пешней лед, раздалбливая уже толсто обмерзшие окна. Азарт добытчика и молодецкая удаль не давали мне остановиться, передохнуть. Дядя Миша, как всегда, ладно и складно ахал:

— Хак! Хак! Бей по льду! Бей по льду! Добывай себе

еду. — И притопывал ногой, точно взводный на плацу, который сам не марширует, но от строевого зуда ногами сучит.

Я сперва его ругал за то, что не закрыл окошки, не присыпал их снегом или хотя бы шакшой — ледяным крошевом, — меньше бы промерзло. Но скоро запыхался, и на слова, да еще ругательные, духу у меня не хватало. Я сбросил на лед телогрейку, шапку. Раздолбив все три лунки и вычистив из них лопатой шакшу, я упал на брюхо, начал пить громко, как конь, екая селезенкой.

— Пропадешь ведь, — с грустной безнадежностью и завистью молвил дядя Миша.

— Ништя-а-ак! В Заполярье с дедом рыбачил, в сорокаградусный мороз из проруби пил — и, как видишь, жив-здоров Иван Петров!

— Да-да, герой с агромадной дырой. Пора такая придет, что сквозняку бояться станешь, сырую воду пить остерегешься...

Ох, дядя Миша, дядя Миша, типун бы тебе на язык! Накаркал! Пришла ведь, подступила пора, будь она неладна, — и сквозняков боюсь, и сырую воду нельзя, не говоря уж про водку, табак и всякие-разные доступные и необходимые для души и тела развлечения. И старость подкралась, чтоб ей тоже пусто было! Так вот и скребется в тесовы ворота, особенно в худую погоду, кости щупает, члены томит, сердце колет, дыхалку щекотит, сон гонит и думами о неизбежной смерти угнетает.

Но из того времени, из той далекой военной зимы верста времени была для меня так длинна, так неизмерима, что хоть на цыпочки привстань — конца не видно.

— Слушай, дядя Миша! Когда я пил, на дне морду видел — водоросли, что ли, из нее торчат?

— Ха! Водоросли! — кашлянул дядя Миша. — Поселенцы набились. Тебя же не в шутку коздуном кличут! — и бойконько подсеменял к прорубке. Хмыкая, покашливая, постоял возле окна и, словно перед дракой, сбросил с себя плащ, подтянул опояску — полушубчишко на впадом его брюхе собрался оборками, фигура совсем мальчишеской сделалась, — схватился за деревянный стяг, прикрепленный к морде. — Х-ха! — отбросил из себя воздух дядя Миша, с усов его сыпанулась белая пыль. — Имай! — багровея лицом, прохрипел он, выворотив морду со дна реки.

Я упал на брюхо, запустил руку в обжигающе студе-

ную воду, ухватился за обруч. Вдвоем мы выволокли осклизлую, тяжелую морду на лед и сели возле распертого, словно бы обрюхатевшего изделия из талиновых прутьев. Если бы мы умели креститься, осенили бы себя крестным знамением — из чела морды, точно кактусы-агавы, пучком торчали пестрые палимы хвосты! Сквозь расщеперенные, местами сломавшиеся, измочаленные прутья текла вода, вместе с нею волокно светло-желтые шарики, похожие на крупное пшено или на заморскую крупу саго. Я предположил, что прутья облепило дресвой или хрустким речным песком, но внутри морды грузно ворочалось, и я не сразу, но догадался, что там, в тесноте, слипшиеся плотно, переплетенные меж собой рыбины все еще трутся друг о дружку в пьяной одуре и страсти, не понимая, где они сейчас находятся и что с ними происходит.

Дядя Миша развязал выход на хвосте морды, и рыбины сонно поплыли из нее по льду, обляпанные слизью молок и месивом икры. У иных на облинялых боках была протерта, изорвана крепкая рубчатая кожа, плавники и хвосты смяты, иссосаны, широченные рты разъяты в немом и сладостном стоне.

Верх по Енисею, за манским шивером, вплоть до реки Минжуль прежними, ныне уже далекими зимами в ямах залежала рыба: стерлядь, редко осетр, черный хариус, ленок. На одной совсем уж гибельно-непроглядной яме, утеплив себя толстым слоем слизи, стаями коротал зиму крупный окунь, выходя к вечеру в перекаты подкрепиться козявкой-мормышем, а если погода способствует — размять колючки, артелью погоняв мелкую рыбешку: пусть не забываются, разбойник рядом, он не уснул насовсем и аппетит в нем не иссяк. Однако главным едоком-громилой был здесь не окунь и даже не таймень, пасущий до поздней осени стайки ельца, сороги и пескаря, годного для пищи. Зимним женихом и хозяином выступал тут в глухую пору поселенец — налим. Вел он себя в глуби вод как завмагазином или всевластный начальник городских продовольственных складов, выбирая на еду что послаще, пожирней, помягче, оставляя на весну, на летнюю гибельно-вялую пору, когда ослабнет в нем мускул, уймется страсть и удаль, то, что убегает нешустро и дается зубу без труда.

Сейчас на минжульских и манских ямах, шевелимых волной прибоя, сделанного сбросом воды и сора с близкой гидроэлектростанции, вода круглый год студена, от-

крыга, и залегает в ямы разве что дачник, спьяну перепутавший поверхность воды с землею, либо бесстрашный турист, желающий освежиться после изнурительных переходов по горам, лазанья по пещерам, чужим дачам и пустым подворьям, утормивший от лесных пожаров, им же для интересу запаленных.

Собаки, увязавшиеся за нами, лежали в отдалении, подремывали. Но когда поползли, поплыли из ловушек палимы, поднялись, с интересом уставились на рыбин. Ветка вежливо тронула лапой одного дохлого налима, нюхнула его, брезгливо отфыркнувшись, вытерла белую лапу о снег.

— Не глянется тебе поселенец, не глянется? — разбрасывая пинками налимов, отделяя мертвых от живых, пропел дядя Миша.

Рыбины, что были еще живы и шевелились, все ползли и ползли в мучительном устремлении куда-то. За ними по льду расплывались белые кисельные молоки и парная икра, тут же застывающая комочками.

— Лупи их дрыном, — приказывал дядя Миша, — не давай икру терять! — И, почесав голову под шапкой тоже склизкой, облепленной икрою рукой, пустился в размышления: — Да ведь ход-то рыбы по срокам через педелью-две! Ох, зима люгущая будет! Оттого поселенец и торопится ослобониться от груза. Или, может, — повернулся ко мне дядя Миша, подозрительно шевеля усами, — ты и вправду колдун?

— Колдун, колдун! Гробовозы врать не станут, и бабушка Катерина Петровна не последнего ряда ворожея.

В двух ближе к берегу поставленных мордах налима попало немного. Да и мелкий набился в ловушки поселенчишко. Зато в крайней морде оказалось с десятка окуней-красавцев.

— А-ат заварганим уху знатную! — заткнув верхонки за опояску, потер руки дядя Миша. — А чё, колдун, придется за санками идти, на себе улов не унести.

Я побежал за санками, поставил на них плетеный короб, в котором тетя Маня возила к проруби полоскать стираное белье, и, прежде чем лихо скатиться по взвозу на лед, постучал в окно и развел руками, показывая тетке, каких рыбин мы изловили. Она засмеялась, махнула рукой: полно, мол, брехать-то! Но когда мы привезли ко-

роб мерзлой рыбы, она вышла на улицу и, поглядев в сторону Овсянки, молвила:

— Мама креститься бы начала на Вихтора, сказала бы — Бог отвалил этакую удачу. Надо будет ей послать налимешек. — Помолчала и со вздохом добавила: — И Гутьке.

Утром я отправился к себе в ФЗО, хотя тетя Маня и дядя Миша оставляли меня еще погостить. Вот-вот должны были заселять последний барак нашего училища и надо было отвоевать себе место возле печки.

Тетя Маня снарядила котомку с лямками, два мерзлых круга молока туда сунула, булку хлеба, сухарей мешочек, искрошившихся от давности, котелок орехов, туесок соленых груздей. Дядя Миша бросил в мешок трех мерзлых белоглазых налимешек, са-амых маленьких, заморенных, веретешками зовущихся.

— Чё ты, как нищему, подаешь! — заругалась тетя Маня и водворила в котомку двух пестрых, величиной с поленья налимеш, к ним луковичек торсть, соли, даже ломаных лавровых листков добавила. — Варите уху на нососелье!

Дядя Миша, отвернувшись, покашливал, переживая этакое расточительство. Я пообещал как-нибудь навестить Зыряновых. Они сказали: «С Богом!» Я спустился на реку, норовя идти по своим давешним следам, все оглядывался и махал одиноким супругам рукою. Они стояли на холме возле сигнальной пестрой мачты и махали мне ответно. И снова преодолевал подтачивающую сердце тревогу, печаль за них, Зыряновых, за свое ли будущее (угораздило вот начинать самостоятельную жизнь военной порой). «Заберега, заберега! Ты пусти меня на берега...» — пытался я запеть, да не пелось что-то. Котомка тяжелая, решил я. Попробовал насвистывать мотивчик самодельной песни, но на морозе не больно-то насвистишься — зубы ломит. И потопал я молчком по снежной белеющей забереге до санной, только что проложенной от подсобного хозяйства дороги, в даль, застеленную морозным серым дымом, сквозь завесь которого темным, тяжким бредом смутно проступали немые скалы.

Город был еще далеко. Он даже не угадывался в этом пустынном, сжатом со всех сторон, и сверху тоже, непроницаемо мгlistом, все толще и шире промерзающем мире. Из камня Караульного быка, из небесной выси ко мне

снова прорезался стон или молящий вскрик сокола, и снова стиснулось в моей груди сердце, заныло приближенно, и снова я молвил про себя: «Зачем ты не улетел, соколог, в теплые края? Что тебя, свободную птицу, здесь, в студеном краю, задержало? Погибнешь ведь...»

Места в общежитии возле печки мне не досталось. Все комнаты были уже заселены, и я попал в сборную восьмую комнату, где свободной оказалась койка крайняя, на самом проходе, у дверей. В восьмую комнату заселилось трое эвакуированных парней, два детдомовца, один отпрыск выселенцев. Остальные вовсе неизвестно чьи и откуда, по повадкам да замашкам — так один-то как бы и в тюрьме уж счастья испытал.

Нам предрекали поножовщину, воровство, хулиганство и всякое разгильдяйство — что еще ждать от шпаны-то? Но комната номер восемь оказалась самой стойкой, самой дружной в нелегкой и непростой жизни того времени. Ни картежной игры, ни краж, ни пьянства обитатели восьмой комнаты не знали. Бывший зэк попробовал было навести свои порядки, но его зажали в углу коридора и так хорошо «побеседовали» с ним, что он два дня лежал, укрывшись с головой одеялом. Собратья по жилью приносили и молча клали на тумбочку его хлебную пайку. Выздоровев, парень сразу сделался хорошим и более, как ныне принято говорить у блатных, права нам качать не пытался.

Спайка в восьмой комнате началась с ухи, которую я сварил в общежитском бачке, предназначенном для питьевой воды. На аромат варева, плывущий по всему общежитию, стеклась вся группа составителей поездов, и каждому будущему труженику желдортранспорта досталось по куску свежей рыбы и по поварешке ухи.

К дяде Мише и к тете Мане не суждено мне было больше попасть. С водворением в общежитие начался и прижим военного положения, строгие занятия в классах чередовались с тяжелой практикой на станциях города и в пригороде. Весной — распределение, осенью уже армия, затем и фронт.

Тетя Маня умерла в конце пятидесятых годов от водянки. Болела она тяжело и долго. С Усть-Маны приходила зимой и приплывала летом баба неопределенного возраста и вида — помогать Зыряновым по хозяйству и на

бакенах. Неразговорчивая баба. Ликом смахивающая на таборную цыганку, с урочливым глазом, она материлась во дворе и лупила вилами по хребту корову. Люди сказывали, что на бабе той, как на мужике, растут волосья, на грудях у нее непристойные наколки. Дядя Миша начал спать с работницей, еще когда тетя Маня была живая. Избушка тесная, утлая, в ней даже перегородки нет, все слышно, все видно. Тетя Маня плакала, молила Бога, чтобы он ее скорее прибрал.

На похоронах дядя Миша валялся на свежей могиле, бился головой о бугорок, зарывался в землю лицом, припадочно закатывался, повторяя: «Маня-Манечка!.. Маня-Манечка!..» Родные наши тоже все были в голос и отпаивали Зырянова водой.

С той чужой, враждебной всему свету бабой дядя Миша снова ездил в родной Таштып и снова там не прижился. Вернувшись уже больным, совсем погасшим, долго строил он дом в Усть-Манском поселке. С прежними родственниками виделся редко, постепенно и вовсе утратил с ними связь. За могилой тети Мани, расположенной в родовой ограде Потылицыных, ухаживали ее сестры, дядья, племянники.

И наши потылицынские родичи о дяде Мише поминали все реже и реже. Лишь фотокарточки по стенам деревенских изб напоминали о том, что жили-были супруги Зыряновы и вот куда-то девались. Тетя Маня хоть покоится среди родных, под голубым, умело сделанным дядей Мишей крестом с верхом, крытым наподобие шалаша. Но где могила самого Зырянова — никто не знает. Баба, с которой он сошелся, опутала, обобрала дядю Мишу до нитки. Сперва она исхитрилась переписать на себя новый дом на Усть-Мане. Когда у дяди Миши обострилась туберкулезная болезнь, она дневала и ночевала в больнице, проявляя непрестанную заботу о больном муже до тех пор, пока он не переписал на нее денежный вклад в сберкассе. И сумма-то была не так уж велика, деньги, добытые торгом на базаре. В потной, тяжелой котомке, прилипающей к спине, выносила, выторговала их тетя Маня па старость лет своих и мужа, но алчная баба овладела ими и сразу перестала ходить к дяде Мише в больницу. Потом через людей передала записку, в которой извещала Зырянова, что не примет его с чахоткой в дом.

Однажды ночью дядя Миша выбросился в больничное окно. Был он такой изболевый и худой, что никто и не

услышал падения тела на мерзлую землю. Утром дочка больничной сторожихи, отправившаяся в школу, запнулась за остекленело звякнувший на морозе труп. «Зачем ты, дяденька, лежишь тут пьяный, на морозе?»

Из больничного морга увезли дядю Мишу в казенном гробу, на казенной подводе, в мелко выкопанную казенную могилу. А ведь был у дяди Миши свой гроб, из кедра струганный, на точеных ножках, с посеребренными ручками с боков, с накладными, немудрящими инкрустациями по крышке. Легонькое, изящное сооружение, дно которого устелено было стружками из того же хорошо, на вольном духу сушенного кедра, чтоб столяру было покойно спать и долго его телу не гнить.

Новый хозяин дяди Мишиного дома и собутыльник его последней хваткой жены, шарясь по подворью, обнаружил домовину в мастерской, спрятанную под верстаком, заваленную столярными заготовками и обрезками да стружками. Он примерил гроб на себя — сооружение оказалось мало, и тогда находчивый человек умно распорядился дуром доставшейся ему вещью: загнал гроб за червонец и тут же, не сходя с места, деньги пропил.

ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОЙНА

Группу и профессию в ФЗО я не выбирал — они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что крупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов», — не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили, потому что и так все было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могутных парней и не допустили в нее девчонок, мы заключили, что работа нас ждет нешуточная, и кто-то высказал догадку: не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание.

И хотя предсказание это оказалось поспешным и не сбылось, мы все же склонны были считать и считали себя людьми в желдоручилище особенными и постепенно привыкли к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девчонки из других групп, не протестовали бы, когда нам перепадали поблажки в виде внеочередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные.

Давно уж я отзимогорил на Базаихе у дяди Васи, и самого дядю успел проводить на фронт, обжился в восьмой комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на

практике познал, что работа и на самом деле ждет нас не просто нештучная, но и опасная. Словом, и жизнь и учеба для меня, да и для всех ребят, сделались привычными буднями, как вдруг незадолго до Нового года получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее, — и очень встревожился.

За время учебы ни разу не получал из деревни писем, никуда не отлучался, и когда показал письмо мастеру группы Виктору Ивановичу Плохих, который, напротив своей фамилии, был человеком хорошим, не без оснований назначенный дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал — учились мы скороспешно, железнодорожный транспорт был оголен военками в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали, словом, держали строго, по-военному.

Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверках и подменяться во время практики и, сколь мне помнится, Виктора Ивановича Плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, но больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятерки, и горе было тупицам, с которыми занимались мы сами, вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и посейчас, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить пэтээ — правила технической эксплуатации, железнодорожной сигнализации, грузоподъемность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости.

В длиннополом пальто, отяжелевшем двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать, но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали и не такие крепости, как хлеборезка Вассева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» — но пайку за вечер и за утро все же отпластнула.

Я выдрал листки из тетрадки по теории пэтээ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятуя, что греет хлеб, а не шуба.

Фэзэошные ботинки издавали на морозе технический

звук. Они всхлипывали, постанывали, взвизгивали, словно давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувка для сибирской зимы — не обувка, но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или доха общего пользования, у нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль что металлический шлак, но все же это не фэзэошная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, да я постепенно обживал его, обнюхивался. Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно: табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего — вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина.

Пальто прибыло в школу фэзэо из города Канска, на Юре Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первеющую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом, Юра, вынул добро из сундука, надел на себя, свою одежонку загнал на базаре и поехал куда глаза глядят.

Поезд остановился на станции Енисей.

Юра пошел посмекать насчет еды, и, пока уминал соленую черемшу, поезд ушел, а Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытое фэзэо N 1. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в желучилище, принят был туда без промедления, к обеду оформлен на довольствие, к вечеру определен на койку, а через сутки — вознесен в начальство.

Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время, и не только выжить, но и обучиться профессии, поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия.

Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали,

и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках.

О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг — хоть отбавляй: в зиме, в улице, в машинах, хрипло гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем.

Я миновал Базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз, на лед, и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов, мерзло и гулко звякавших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Ботинки мои чэтэээ запели громче, еще техничней на тропе, твердо утоптанной, остекленелой от мороза. На базайской стороне зимника не было, все зимние дороги кончались за Лалетинским опытным садом. Там, в саду, все еще жила и работала тетя Люба с Катенькой. А дяди Васи, не Сороки, а того, что дяди мне с потылицынской стороны, уже в живых нет. Его убили на войне. Я как-то был у тети Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок — ранеток. Катенька училась во втором классе, и, когда пришла домой, я ей напомнил песенку, какую она пела, приехавши с дядей Васей и с тетей Любой к бабушке в гости:

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать
Невысоко, недалеко...

Катенька устало поглядела на меня, а тетя Люба — угодливая душа, попыталась за нее улыбнуться: помним-де, помним...

Больше я к ним не заходил.

Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по чужим, по своим, но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя ломовой копь, но и ела она по работе — вдосталь — крепкой и здоровой крестьянской пищи. А ей дали карточку на двести пятьдесят граммов хлеба. Она недоедала, замерла: как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. Кольча-младший тоже бакенщиком пошел,

его пост верст пять выше Зырянова, у речки Минжуй. Бабушка кочевала из одной избы бакенщика в другую, потому что здесь только и могли ее покормить, остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком.

Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда.

Что делается вокруг? Зима. Голодуха. На базарах драки. Втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят, вводят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их признавали. Еще и нынче нашего брата, обутого в фэзэшные ботинки и телогрейки, чалдоны с гонором корят: «Хлипкие какие парни пошли! Вот мы ране...»

Что же все-таки случилось у Августы? Что?

«Вжик-вжик-вжик!» — наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, рыло вздернуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега — похоже на широкий налимий рот. Резвые ботинки! Жалко — размером маловаты. Обувь завезена в фэзэо из расчета на юношеское поколение, и крайний размер мой — сорок третий. По такой зиме надо бы размера два в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кошму, потом портянку потолще намотать, суконную бы, да газету сверху...

Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест, из енисейского скалистого коридора. Каленый ветер. Каменный. Такой пробирает до души.

Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и, пока развязывал тесемки, на мою стриженую голову ровно бы железное ведро опрокинулось, аж стиснуло голову. Шапка надета, тесемки завязаны. Коротковаты уши у фэзэшной шапки, сэкономили на ушах. Ну да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто — и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось сундук был такой же, как у бабушки, где хранились конфетки-лампасейки, весь в жестяных лентах, с генералами и переводными картинками внутри и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею иному в зависть такой сундук.

Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается восемнадцать верст до нашего села, посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студено, ох как студено вечером на зимней реке.

На мостах, проступивших из мерклой стыни темными фермами, спутанными в крупноячеистую сеть, за быками, вмерзшими в лед, и за насыпью в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные, тяжело отдавались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень.

Гнетущее беспокойство было в этой туманной студеной глуши, маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возмевший конец смены, был сил, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным паростом гнойно-желтая наледь со снегом и льдом.

У моста говорило радио, если точнее сказать, оно шебаршило утомленно и невнятно. Я всегда любил слушать радио с шорохами, тресками, завываньями. Мне чудилось что-то загадочное и казалось: вот-вот сквозь барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский, голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного, а когда слушал неразборчивое радио, весь напрягался, чтобы не пропустить тот миг, тот неведомый голос, который назначен будет мне.

Я пошел быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух; от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рывающими гудками они все распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарняки, коверкая расписания и железнодорожные графики — все условности мирного времени.

Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукою воротник пальто у подбородка. Ботики мои уже не наговаривали, а голосили, и хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупорива-

ло морозом дыхание, идти все же было легче, чем на открытом месте.

Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье и очутился за перевалом возле полого берега, где прежде размещалась многолюдная китайская слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал: «Не вернуться ли?»

* * *

Мне оставалось идти верст пятнадцать. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул с торосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прятал над самой дорогою, скручивал в веретье и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза — было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветром да понесет?..

Ботиночки-то, чэтэзэшэчки-то, вон они, постукивают чугунно, побрякивают, попробуй выдохнись...

На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избышки из фанеры, из досок и разных горбылин. Вокруг избышек полно было маленьких огородов. Обитатели игрушечного города переселились сюда из Расеи, а китайцы остались после гражданской войны. Расеей у нас звалось все, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом — конец земли. Обитатели слободы называли нас кацапами, а китайцы кланялись и улыбались всем мимо идущим, приостанавливаясь в труде, опираясь на игрушечную вроде бы, но очень тяжелую мотыгу. Китайцы приезжали в наше село за назьмом. Деревенские мальчишки бегали за подводами и дразнились: «Ходя, соли надо». Китайцы, улыбаясь, кивали головой, и один только старый китаец с завязанной синею тряпкой головой и усами-перышками сердился и выхватывал вилы из назьма, брал их наперевес и шел на нас в атаку. Мы рассыпались по дворам и кричали из-за заплотов обидное. Китаец тряс головой и жаловался: «Какая нихаросая людя».

Китайцы и переселенцы подружились и породнились меж собой, и овсянские многие семьи перезнакомились с ними. За короткое время жители слободы каменный берег превратили в плодородную землю, и по праздникам несло из слободы: «Ой ты, Галю...», «Эй, кумэ, нэ журысь», — играли гармошки, звучали какие-то тонкострун-

ные китайские инструменты. Китайцы редко гуляли, больше работали и никогда не напивались допьяна, не дрались, чем озадачивали чалдонов, которые все делали с маху и в работе вели себя, как в драке.

И получалось вот еще что: чалдоны заглядывали на реденькие, неуверенные всходы на своих огромных огородах, гадая, чего тут вырастет, трава или свекла, а у китайцев на грядках уже что-то цвело и краснело, в середине лета, а то и в конце весны они уже весело гомонили на базаре, с улыбкой одаривая покупателей, с поклоном, сложив ладошку к ладошке, сперва зеленым луком и редиской, затем ранними огурчиками и помидорами, которые у них краснели на кустах.

«Слово знают!» — порешили чалдоны и пытались выведать «секреты», да где там, разве узнаешь чего у азиата. Он шурится, лыбится и талдычит, что секрет не один, а три их: труд, труд, труд. Многому научили сибиряков китайцы и самоходы из слободы, в особенности семеноводству и обработке земли. Научили зерно и горох молотить ручными жерновами, крахмал добывать из картофельных очистков и всякую овощь с толком использовать, даже мерзлую. И китайцы, и самоходы не избалованы были землей, тайгой и дорожили каждой картошечкой, крошечкой и семечком.

И хотя чалдоны, в первую голову бабушка моя, базла-нили: «Да штабы овощь с дерьмом исти?! Пушшай его сами китайцы и хохлы лопают...» Но голодные и военные годы приучили и их вежливо с землей обращаться, пользоваться удобрениями. Со временем здешний берег перешел под летние, затем и круглогодичные дома отдыха, нагородилось тут и заперлось за плотные заборы красноярское избранное общество, и совхоз после многолетней маеты, как и поселок, получил наконец точное название «Удачный».

Разумеется, китайцев отсюда устранили, чтоб не смущали они ничей взор и сами не смущались. Китайцев переселили ближе к Бугачу, за город, но они и там возделали землю, построили домики и зажили, как и прежде, но все же с годами шибко растворились они в сибирском люде, перекумились, переженились, сделались редки и малозаметны.

А прибрежная слобода соединилась с поселком Удачным, и население ее занято в основном обслуживанием его обитателей.

Неподалеку от бывшей слободы, на косогоре, сорили по ветру заросли всякой пустырной растительности и невзаправдашно ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых. Меня посетила мысль: свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побреживали собаки — тоже небось охрана? В этой школе учился пележкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан — Алешка.

Хорошо ему там, чучелу-чумичелу, привычно среди своей братвы, а зайдешь — и начнется: кто да что? Да почему? Надо объяснять на пальцах: родня, мол, тут моя, братан Алешка, что, мол, росли мы вместе, что иду я к его матери. Письмо покажу в крайности.

Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас? Плохо ей. Но ничего, вот фэзэо закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Бабушка шуметь на меня не станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит...

С думами я не заметил, как миновал место — слободу и школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Идешь краем берега, дачными тропами, узнаешь домики, которые были тут еще при Зыряновых, глядишь на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих. Вечерами в рощах, как и прежде, играла музыка, от которой, как и прежде, сладко сосало сердце и чего-то хотелось: уйти куда-нибудь с кем-нибудь или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни, как и прежде, водили девушек по лесу, прижимая их спиной к деревьям.

Любопытно устроена человеческая жизнь! Всего мне семнадцать лет, восемнадцать весною стукнет, но так уже много всего было — и хорошего, и плохого.

Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни.

Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали фэзэошники, эвакуированные и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленное клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край, дно глиняных мисок

вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железно-дорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило хлебово копеек восемьдесят порция — цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей.

Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор — для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали — трескались.

Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью.

Операция была тонко продумана.

Мы выбрали из группы путеобходчиков парня горючего, с туповатой и нахальной мордой. Якобы не зная броду, затесался он в воду — вместо вокзала — на кухню стационарного буфета, и, пока там «заговаривал зубы», мы продели железный лом в проушины бака и уперли его домой.

Сначала галушки хлебала наша группа и проныра-путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матрааса доску, отломили от нее ошцепину и шевелили ею хлебово. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, их, будто вертких головастиков, с улюлюканьем поддевали ложками.

Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили, но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали — из глубины бака возникала галушка: «Лови ее! Чеплай! Не давай умырнуть! Пап-па-а-ала-а-а-а! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!..» — орали мы.

Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнесть на чердак посудину и закатить ее подальше, в темень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой — солоно на дне, и все сделал, как было велено.

Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того как поступили в учи-

лице, и у нас получалось хоть и не так слаженно, зато дружно. Я так разошелся, что исполнил соло: «О, маленькая Мэри, кумир ты мой! Тебя я обожаю, побудь со мной!..»

Девки начали переписывать песню про Мэри — так она им поглянулась, и попросили продиктовать что-нибудь такое же изысканное, про любовь. Я напряг память. «Это было давно, лет пятнадцать назад. Вез я девушку трактом почтовым. Вся в шелках, соболях, чернобурых лисах и накрыта платочком шелковым...»

Ребята завистливо притихли, а я становился все смелей и смелей и поражал девчат своей памятью, диктуя без раздыха: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...», «Я брожу опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что ж не выйдешь ко мне, как прежде?..»

В тот вечер я, может, покорила бы, если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы, смотрела на меня, рот открывши, в берете, в новой телогрейке, с косами — красивенькая. Я уж и диктовать-то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло бы, одному Богу известно, как вдруг, оттолкнув дивеального, с громом ввалился в наше общежитие зав. станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу! — кричал он. — Засужу! Всегда в первую очередь отпускал! А вы?!»

Дурак он, тот станционный буфетчик! В людях совсем не разбирается. Разве горлом фэззошника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор — вот какие люди. Генералы почти! — и те с нами вежливо: «Вас назначили», — говорят. «Вы обязаны...», «Вас просят», «Вы на дежурстве» и так далее.

— Минуточку, гражданин! — поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников и солидно помолчал. — Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время? — Юра сделал паузу, еще более солидную. — И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое рабочее пополнение?

Ах, как я жалею, что не было у нас фотоаппарата. Хотелось бы мне сохранить на память карточку того буфетчика! Моментальную.

Он еще хранил спесь и надменность, то самое выражение, которое носили в войну на улице работники разных пищеблоков, но разгон иссяк, душа его и мысль сбились с заданного настроя, и он забормотал что-то насчет

бака, который совсем недавно выудили цыгане за большие по тем временам деньги, насчет норм, перерасходов и ответственности.

В дебаты вступила вся наша дружная составительская группа, гость наш — путевой обходчик, затем и девки. Буфетчик был сокрушен и раздавлен. Дело дошло до того, что тот же дневальный, которого зав сорвал руками с поста, пхнул его прикладом в зад.

Вот так-то, дорогуша. Ты грудью на массы? Но если массы спаяны — они сила! А если их к тому же возглавляет такой человек, как Юра Мельпиков, — сила двойная! Он умрет за коллектив и за каждого члена коллектива тоже. Вон он мне пальто дал, пайки выхлопотал. Иду я, а карманы так приятно оттягивает! И могу я пайки слопать, но могу и повременить.

Дальнейшая работа по устранению конфликта велась уже не через зава, а через раздатчицу буфета, Кланю Сыромятникову — землячку Юры Мельникова и близкую знакомую моего ходового дяди Васи.

Бак, вылуженный цыганами за большие деньги, был возвращен в пищеблок с условием, что отныне и до окончания века галушки любому фэззошнику будут выдаваться вне очереди, без предъявления желдорбилета. И всякий другой продукт, изредка попадающий в буфет, как-то: соленая черемша, грузди соленые, квашеная капуста, вареная свекла — тоже отпускаются фэззошникам на льготных условиях.

Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета, зав на всякий случай здоровался со всяким лицом, хоть чем-то смахивающим на учащегося трудовых резервов.

Дорога отвернула в сторону от крупно и густо запорошенной косы. Берег с мерзло потрескивающим лесом и домами отнесло в серую, густую наволочь. Перестали взвизгивать ботинки.

Запасы.

В спину ударило ветром. У щиколоток, возле растрескавшихся ботинок ноги взяло в железные кандалы. Домов не видно. Огни школы глухонемых загасли. Ни искорки, ни звездочки, ни подводы, ни пугника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено. Холодно. Тесно в торосях. Одиноко в ночи. Надо нажимать. Надо идти. Теперь только идти и идти. Раз уж не свернул на огонек в Гремячей, постеснялся беспокоить людей в школе глухонемых, где, конечно

же, из-за фэззошника установили бы на ночь дежурство. Такая уж слава у нашего брата: фэззошник и арестант почти на одной доске. «Ладно-ть, живы будем — не помрем! — заметив впереди темнеющий остров, подбодрил я себя. — Давай об чем-нибудь сердечном думать. Ну хоть бы о кондукторше с косами».

Как познакомиться с нею? Может, записку написать? Как ее зовут? Не спросил. Вот недотепа! Мне почему-то кажется, зовут ее Катей. Всех девушек с косами, по которым бусят волосинки, выбиваясь из ряда, у которых надо лбом завитые колечки, повернутые друг к дружке хвостиками, пухленькие, удивленно приоткрытые губы, глаза стеснительные, то и дело запахивающиеся ресницами, — всех таких девушек зовут Катями и Сонями. Такие девушки очень трогательны сердцем, правом кроткие, чувствительны к песням и стишкам. Этой Кате-Соне надо послать письмо с эпиграфом, да с таким, чтоб сердце от него дрогнуло и обомлело: «Мне грустно и легко, — написать. — Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою!.. А. С. Пушкин».

Мне грустно и легко...

Нет, не грустно и не легко, после шестнадцати отчего-то мне очень одиноко сделалось, так одиноко, как не было даже в игарской парикмахерской, и все мне хочется куда-то уехать, убежать. Зачем я такой уродился? Вон ребята как живут. В картишки перекидываются, на танцы в красный уголок бегают, девчонок потискивают в коридорах, иной раз вывертывают в общежитии пробки или по другому портят электричество, чтоб тискать их в темноте. А я этого не умею. Имя у девушки и то постеснялся спросить. Размазня!

Вот и остров. На нем нет доброго леса. На нем несколько старых, неуклюжих и каких-то неприкаянно-одиноких тополей, вершины редких тальников, свистящих на ветру, да сигнальный щит, у которого доски приколочены вразбежку. И хорошо, что вразбежку. Раз негде укрыться, стало быть, надо шагать.

Шагать, шагать и шагать.

Приверху острова выдуло до гальки. Со льда, горбато выгнувшегося на обмыске, счистило снег. Лед провальню темнел, и дорога исчезла на нем. Сначала еще заметны полосы от полозьев, выбоины подков, царапины, трещины, но все исчезло, размылось в белом: и полозновица, и выбоины, и царапины.

Я разбежался. Чэтэзэ мои закрикали и покати́ли меня по мраморно-гладкому черному льду. Я еще разбежался, еще катнулся. Ветром меня заносило, развертывало, а я упорствовал. «Кати-и! Все равно, как голый лед кончится, пойду по дороге».

По дороге! Но где же дорога?

Торосы. Торосы. Снег. Сугробы. Снова торосы. Дороги нет. Я одолел один занос, другой. Рваным лоскутом темнело озерцо голого льда. За ним тонким слоем снег. Еще озерцо, поуже, поменьше. Полоска снега. Россыпь темных пятен, будто перья отеребленного глухаря, но перья крутит, заносит, поднимает куда-то. И реже пятна голого льда. Значит, я ухожу от приверхи острова. Значит, я иду ладно и вот-вот выйду на дорогу.

Единственный мой ориентир — торосы. Козырьки льдин наклонны по течению, подобно трамплинами. Идти встречу им трудно. О зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И оттого, что замерзли ноги, руки, весь я заколел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину — и сердце схватывает, в глазах просверки и сразу темень. Самого себя не видеть.

Катанки бы. Хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь — катанки! Утром их вынут из русской печи. Насунешь — и ноги попадут в сухую да такую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. Чэтэзэ! Зачем?

Зачем я не остановился в школе глухонемых? Мы бы так хорошо потолковали с Алешкой, и он сказал бы мне, что стряслось дома. Редко мы видимся ныне с Алешкой. Война всех сделала запытыми. Но если встретимся, Алешка обнимет меня и давит так, что я дня три не могу владеть шеей. Он и сегодня свернул бы мне шею от радости. Ну и пусть. Может, мне и не надо в село? Может, блажь Августе в голову ударила? Ребятишки. Нужда. Выдохлась — пожаловаться охота. Кому пожаловаться-то?

А может?..

Нет, об этом я не буду, не хочу думать, не стану!

Дороги нет. Пропала дорога. Бесы-лешаки из-под ног ее вынули. Никогда мне в голову не приходило, что можно потерять торную санную дорогу. Не в лесу, не в тайге — на реке потерять!

Уметь надо!

Какой повальный ветер к ночи. Всего меня продувает.

Одежонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звезда. Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, но здесь не шибко. Велико ты мне, и поддувает всюду. Колом стоишь, деревянное сделалось.

Хорошо, что ребята дали пару теплого белья. Миша Татаренко, парень из тех самых самоходов, что жили когда-то в слободке, которую я только что миновал и потерял, отвалил бабью меховую душегрейку. А вот штаны тонки. Варежки коротки. Шапка мала. Ботинки — чэ-тэ-э — веселы, да тесноваты. Все на мне залубецело, ровно в мочальные ленты я обернут.

И дорогу я потерял. Нет дороги.

Ветер. Снег. Холод. Сибирская погодка. Нашенская.

Катанки бы и доху, да шубные рукавицы, да шапку меховую против такой погоды...

Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто?..

В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про все. Дивились ребята моему таланту. Из-за стишков я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему.

Война пришла и все перемешала,

Всю жизнь она поставила дыбом!

Да, трудно нам, и отступаем мы сначала.

Но все равно вколотим фрицев в гроб штыком!

Эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты желдоручилища и подписался — Непобедимый.

Непобедимый! Вот околею здесь, так буду непобедимый! Скотина! Дубина! Идиотина! Тьфу ты, опять стишки!

Начались сугробы. Забрался я в огромные, кучами вздыбленные, язвенно лопнувшие торосы — такие бывают на высунувшихся из воды камнях. Куда я ни ступлю, всюду здесь льдины стоят торчмя, острые, гладкие, меж них рыхлый снег. Я зацепился полой пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твердое. Пощупал — камень, маковка камня, зализанная водою. Вокруг него позванивали на ветру льдинки. Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий, но под ним, в онемелой глубине жила река. За камнем, в водяном заветрии, стояли таймени и ждали весны и тепла. И тот таймень, что бродень с меня когда-то стянул, быгть может, тут же стоит и посмеивается, тварина: опять ты, малый, впросак попал!

Был бы я рыбой, про войну ничего бы не знал. Стоял бы сейчас в сонной глубине, а по весне рванул бы в верха — икру метать!

Добраться бы мне сейчас до дач, пусть нетопленых, холодных, да все же в лесу стоящих, со стенами, с крышей. Оторвать доски с окон и в печь их...

Надо искать берег, дачи. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше, но уже щипнуло запястье руки и большой палец ноги, давно еще обмороженный. Я знаю, как такое бывает. Вдруг стеклянной резью пластанет по живому, в глубь тела войдет тонкая игла, и это место перестанет «слышать». Другая игла, уже быстрее, вопьется рядом с нею, и еще частица твоего тела отделится от тебя.

И тут же потянет в сон.

Знаю. Все знаю, а встать не могу. Даже шевелиться не хочется...

Да что такое особенное случилось? Потерял дорогу? Ну и... Подумаешь, дорога! Я на родной реке! На той реке, по которой плавал, ходил, ездил на моторке, на лодке, на лошади, ходил на своих двоих. Мне здесь с самого детства все знакомо. Каждый выступ берега. Каждый остров. Каждая скала. Шалунин бык. Собакинский остров. Совхоз Собакинский...

Вот интересная тоже штука: совхоз только на моей памяти переименовывали не одинова. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар», «Пионерский» и еще по-разному, но как был окрещен чалдонами Собакино в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакипским и оставался до тех пор, пока к имени «Удачного» не пришел с победою и славой, мало кому ведомыми. Чтобы чалдона с места своротить, шибко много всего падо. Ты сму: «Стрижено», а он тебе: «Брито». И все тут.

Собакино ты, Собакино! Где же ты есть, Собакино? Мне бы хоть берег найти, не ходить по кругу чтобы, тогда б уж я добрался до тебя, Собакино. А там люди живут. Кони есть. Собаки, конечно, есть. Хотя бы они забрежали. Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин...

Это мне все нипочем! Это я, упрямый чалдон, фэзэ-ошник-уркаган, рванул к тетке в гости. Наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый! Герой! Иван-царевич! Дерьмо собачье! Видно, и впрямь, что тупо сковано — не наточишь, что глупо рождено — не

научишь. Видел же, видел... когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет: с городского края в лохмах серых оно, с той стороны, где село родное, над перевалами разошлись тяжелые пластушины, голубенькое обнажили. Далеко-далеко, глубоко-глубоко, голубенькое-голубенькое. Как взгляд одной девчонки, с которой я учился в третьем классе и о которой никогда ничего и никому не скажу. Знал — печего хорошего ждать. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами: «Н. Я.», потом о Кате-кондукторше мысль пошла, и все я на свете позабыл. Чувствительный какой!

Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь о торосы, падаю. В рукавицы начерпался снег. В ботинки тоже. Вытряхивать некогда. Останавливаться нельзя. Мне конец. Скоро конец.

— Э-э-э-эй! — крикнул я прерывающимся голосом. — Э-эй, кто-нибудь!..

Безнадежно это. Однако ж на то я и чалдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину. Остановился. Вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь.

Никакого чуда нет. Чудо в тепле, за печкой живет. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, ее ворчанье и шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь!

Я не хочу умирать.

Мне семнадцать лет. Только еще семнадцать. Я еще не окончил фэзэо, еще никакой пользы людям не сделал, той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди, отрывая от себя последний кусок хлеба. Я и полюбил-то всего еще одну девчонку, в третьем классе, и не успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами «Н. Я.», что значит Нина Якимова, даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтобы не износился.

И кондукторше Кате записку не успел написать.

Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.

Лицо мое мокро. Губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по-бабушкиному, в голос:

— Бабушка! Бабушка, миленькая! Где ты? Пропадаю!.. Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час, — зову самого дорогого человека.

Но он не слышит меня.

Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды, но сейчас не придет. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя бабушка.

От слез состылились ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к торосу, утянул голову в каракулевый воротник, меж кучерявинок которого набился и затвердел снег.

Я сдался.

* * *

Но нюх и слух мой были еще живы, и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого, каменноугольного воротника, прислушался. Порыв ветра хлестанул в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Недовольное такое твяканье сварливой шавки, скорее всего дачной. Дачные люди почему-то добрых собак не держат.

Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся.

Ничего не слышно.

И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, который поднял меня из сугроба, и ту надежду, которая занялась в душе. Я уверял себя, что лай был, брехала шавка дачная, близко, рядом. Я хитрил сам с собой, обманывал самого себя и, страшное дело, верил в обман, может быть, оттого, что больше мне верить не во что было.

В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее, и не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну.

Берег!

Наткнулся на крутой, подмытый берег. Мне стоит только подняться на него и...

Я сделал шаг, другой и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за ка-

кие-то выступы, ноги и руки било о твердое, в голове деревянно брякало от ударов и озарялось вспышками.

Ну вот прилетел куда-то, сверзился. Лежу в какой-то дыре. Ветра здесь нет, он шел вверх, надо мной.

Оттуда, сверху, порошился снег, хрустел на зубах. Я повернул голову туда-сюда, слева и справа, впереди и сзади было темно, какие-то стены всюду.

Что, я в могилу провалился? Замуровало меня?

Открытие это нисколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что оттого лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдыхал, приходил в себя, а сверху все шуршал крупною и сыпался, сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями.

Порция! Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около желдоручилища: мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке, греет хлеб, а не шуба. Та-ак. И мышь в свою норку тащит корку. Та-ак. Нету хлеба ни куска — в нашем тереме тоска. Та-ак. Каков ни урод, но хлеб тащит в рот...

Да у меня же в кармане хлеб! Порции! Две пайки! Вечерняя и утренняя! По двести пятьдесят граммов в каждой. Целых полкило! Батюшки светы, пропал бы и хлеб не съел!

Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка. Вот он, хлебушко! Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович попросил отрезать горбушку — всегда кажется, горбушка больше серединки. Мастер знает — путь не близок, знает, что тетке кормить меня нечем. Мастер все знает. Мастер у нас — голова!

Я ем. Рву горбушку зубами. Жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, как жизнь, было отдавшаяся от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурей, снегом и железом.

В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами. «Это было давно и неправда!» — так сказали бы фэззошники-уркаганы. Такая жизнь, если она и была, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, тяжким, трудовым хлебом, который надо добывать с боя. Мы и не знаем, где и как они растут, розы-то. Мы видели их

только в кино и на открытках. Пусть они там и растут, в кино да на открытках. Пусть там и растут.

Дороже всего на свете хлеб. Хлеб! Тот, у кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. Его насаживают на крючок. И клюет на него рыба. Таймень клюет, может, даже пищуженец, совсем бесполезная, срамная рыба.

— Врешь, не возьмешь! — кричал я, оживленный хлебом. У меня получилось «еш-ш-ш!». Однако ж не зря съел я хлеб. Кровь шибче пошла по жилам, голова стала соображать лучше, как говорится: которая курица ест, та и несется, а которая несется, у той и гребень красный. Надо зажечь листки от пэтээ, в которые был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться.

Листки от пэтээ горят хорошо, по грева от них мало. Я выдергиваю листочки из второго кармана, и пайка, еще одна, остаётся в кармане нагая. Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеиваю немислимое дело — закурить.

В брючном кармане, в бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами «Н. Я.», есть табак. «Смерть Гитлеру!» — табак называется. Его привезли ребята из Канска и дали мне в дорогу. Табак черен, будто деготь. Это не табак, это бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от цигарки...

Кручу цигарку. Кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Должен!

И я закурил. От спички закурил. Спички тоже привезены из Канска. Коробка у меня нет. Спички — десяток штук — насыпом в кармане, и картонка, облитая смесью, об которую зажигаются спички. У меня еще есть в запасе кресало. Но с кресалом сейчас не сладить.

Я курю. Кашляю и курю. Боюсь одного, чтобы не погасла цигарка. Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. Всем твердят, и все согласны — курево вредно, губительно. И все же курят.

Почему? Ответа я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. А пока я всего лишь фээзошник-недомерок. И табак оказывает мне сплошную пользу.

Пока я крутил цигарку, переводил спичку за спичкой, пока прокашливался от первой затяжки, пробравшей меня

до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, осмыслил свое положение.

Провалился я меж двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не персломал: ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабеля эти мне известные? Лес в штабеля я возил вместе с дядей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так с музыкой, ладом погибать! На войне, в бою, с народом вместе. Чтоб врагам жутко было.

И я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов в капусту!

— Ур-р-ра-а-а-а! — ударил во что-то кулаком и от боли очнулся. Заснул! И во сне кино начал видеть военное. А никакого кина нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях.

В конце лета я выехал из Игарки и подал документы во вновь открытое железнодорожное училище фэзэо, пока им дали ход, пока начались занятия, надо было чем-то кормиться, добывать паек. И дядя Левонтий, обношенный, поугрюмевший, заметно сдавший, взял меня выкатывать лес на бадуги. От военной пайки послабел дядя Левонтий, потому и не удержал плоты возле Караульного быка, не учалил их к месту. Его прошвырнуло течением вместе с плотами на несколько верст ниже известкового завода, и пришлось бревна выкатывать у Собакинской речки.

Ну, не бывает худа без добра! Не случись этого, что бы со мной было теперь? Везучий я человек, везучий!.. Не колдун, конечно, но все же...

Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский — вот он! Дома — вот они! Дело за небольшим — выбраться.

И выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжелое, силежки во мне осталось мало. Я срывался и падал, сшибая о бревна локти, колени, разбил подбородок, разорвал под мышкой пальто. В дыру сразу же проник холод, начал остро когтить грудь.

Вплавь я сумел выбиться наверх. Сначала шел меж штабелей по снегу, потом брел, когда сделалось по горло и почувствовал, что нахожусь у самого среза осыпавшегося яра, — поплыл по снегу, отталкивался ногами, гребся руками, перекачивался мешком, работал локтями, спиной, шеей, головой — всем, что еще во мне было живое.

И когда можно было встать и пойти, я все еще не верил себе, все еще барахтался в снегу, пока руки в заледенелых варежках не застучали о твердую полозницу. Я поскреб полозницу, заполз в желоб дороги, раскопал темные катышки конских шевяков, понюхал рукавицу. Она пахла назьмом, конским живым назьмом. Кони прошли по дороге совсем недавно!..

Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот, за ним, или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонек светился. Низко, у самой земли, рыльце окна сонно покоилось в проеме снежного сугроба — ровно бы продышал огонек себе дырку в снегу.

Ошеломленный видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма, какое-то время стоял я под ветром и боялся верить себе.

Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще порябил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас.

Поблазнило мене: и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо било запахом пазьма, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною, все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошко у земли.

«Ах ты какой! Ах ты какой!» — Обругать огонь покрутому я боялся. Разом сделался бравый ругатель-фэззошник суеверен и страшился, что от нехорошего слова, от неосторожной мысли все может взять и исчезнуть.

Я перебирался по бревнам, в рыхлых заметах подле завалинки, не решаясь отпустить от избушки. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутиivosti, я бы сказал: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» — и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, я ни говорить, ни думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к бревнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытие. Это так славно: сесть в заветрии, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут.

Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я пере-

стал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул.

Но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое: субботнюю баню с легким угаром, после которого будто и не дышишь, будто хлебашь воздух, ключевую, зуб ломящую воду, печку русскую с тихим, верным теплом; вороватый шорох тараканов в связках луковиц и в лучине; кисловато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренок из кути; звяк подошны и шорох молока в волосяном ситечке; голос бабушки, привставшей на припечек: «Пей, пей парное — скорее поправишься...»

Запах дыма! Привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой и досадует на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма. Нет. Где дым — там огонь! Где огонь — там люди. Где люди — там жизнь!..

Вот она — дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине, да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптаный в лед голик, я царапаюсь в дверь, как лес лапою, а в щели двери несет душной теплотой — вроде бы хомутами пахнет.

— Кого там лешак принес?

Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.

— Да кто там?

— Дяденька, помогите ради Христа! — сказал я, как думалось мне, громко, на самом деле промышчал какую-то невнятину.

Со мной произошло то, что происходило со многими чалдонами прежде и теперь — в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли Его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге да о матери, а больше ни о чем.

Но нет у меня матери, и бабушка далеко.

За дверью кряхтенье, скрип нар, нудный голос:

— А-а-ть твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоились, токо-токо ангелы над башкой закружились, и вот лешаки какого-то полуношника несут... И чё ходят?..

Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встает и обувает-

ся, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогреет, ототрет, последнее отдаст. Однако ж ответит при этом душеньку, налезет всласть.

Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, сколько хочешь, но открывай! Скорее открывай!

* * *

Чугунная плита об одну дырку — в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлестывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески-бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой.

Но нет мне хода к печке.

Я сижу на дровах, ноги мои в лохани с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянувшись к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне:

— Нельзя! Нельзя-а-а!

Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколотому шилом, избитому гвоздями.

Отдыхивается. Уработался.

Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и, когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал суконной рукавицей отмершую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны...

Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком, в сознании моем они не задерживались.

— Задал ты мне работы! — заметил шорник и ободряюще поглядел на меня.

Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки, видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая шорника, затем снова запел от жжения и боли.

— Да что будешь-то? — не оставлял меня в покое

шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил — можно к печке. Но он повысил голос. — Не лезы! Не ле-езы! Дурная голова! Такая резь начнется — штаны замочишь! Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе? Бабушка!

Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом — ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки, с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника силен и раздражителен. И вообще человек он сердитый, видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, — народ пьющий, прибауточный, веселый. Те, о которых моя бабушка говорила: «В поле ветер, в заду ум!» «Знать-то он из цыган!» — почему-то решил я, но отгадывать шорника, заниматься им дальше мне в общем-то невозможно. Не до него совсем мне.

Лицо распухло, ошпарено будто или осами искусано. Ноги рвет, руки рвет. Я все так же однотонно, пощечиями скулю. Стомленный шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая из слов фразы, сообщает:

— Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завертывала.

Я перестал скулить.

Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитой.

— Из городу плелась, от старшего Кольчи. У него скоко-то на хлебах жила.

«Да он же заговаривает мне зубы! Отвлекает меня!» — сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от старых окурков.

— Вы, случаем, не курящие?

— Курящие! Да еще как курящие! — тоскливо вздохнул шорник. — С вечера конюха починались и сожрали весь табак. Теперь хоть задавися. — Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул: — И кто курить придумал? Без хлеба выдюжу, без табаку нет, ать его копалку!

Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отбла-

годарить человека, который, догадываюсь я, гресет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с черным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, ровно обыскивал меня. Затем поспешил к столу, на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком.

Он так и не сыскал ногою опорок.

Подобрав стынувшую от пола ногу по-птичьи под себя, он скрутил сигарку, с мычанием приткнулся к лампе, почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим, беззвучным кашлем. Его кололо изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой.

Промельком сверкнуло — дедушка на бревне, сигарка, светящаяся в вечерней первотеми, колуном раскалывающий тишину кашель...

Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком, но тут он разразился хриплым звуком — стон пополам с матюками — и, когда маленько откашлялся, отплевался, выгтер подолом рубахи слезы, оглядывая экономно скрученную сигарку, восторженно крутанул головой:

— От эт-то да-а-а! От эт-то табачо-ок!

— «Смерть Гитлеру!» называется.

— Смерть, значит? Гитлеру, значит? Уконтромят его скоро. Вечор коноха-бабы сказывали: сообщение по радио было, пожгли будто германца видимо-невидимо под Москвой огненной оружей. Германец-то замирение просит, наши не дают. Капут, говорят! До окончательной победы... Э-э, ты чего ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки, катанки, — засуетился хозяин, оживленный до крайности, будто хватил не табаку, а стакашек водки. — Допрежь ноги-то оботри. Во онуча, ей и оботри. Рушников у меня нету...

Наконец-то я у печки! Но усидеть долго не могу — лицо рвет, выворачивает, словно рукавицу, хотя шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял: заживет, мол, до свадьбы.

На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овес шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овес пальцем, исполосованным дратвою, и теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких склад-

ках я рассмотрел подробней. Короткая шея обернута старым женским полушалком и по-бабьи повязана под грудью. Мочки ушей и в самом деле проколоты.

— Шелуши, шелуши! — ткнул пальцем в овес шорник. — Скоро картошки поспеют, чай сварится. Погреешь нутро-то. Самогону бы, да где его возьмешь? Такое время наступило... Ох-хо-хо-о-о! — Во вздохе мне снова почудилось что-то бабье.

Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетней и хлопотливей, может быть, оттого, что начал я внимательней следить за ним, и он застеснялся меня, как всегда стесняются нормальных людей горбуны, калеки и всякие эти, как их?

Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог — так распухли пальцы.

— Ать твою копалку! — ругался шорник. — Худо пальцы-то владеют? Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас... — Он сгрел овес в консервную банку из-под окурков и поставил ее передо мною. Я цеплял языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушил его, будто семечки.

— Вкусно как!

Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жженую корочку, подождал маленько и налил мне чаю в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть — горячо. Шорник дул в свою банку, шурился и сочувственно следил за мной.

— У меня есть кусок хлеба в кармане, — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре.

— Картошек поешь покуль, хлеб побереги — не к мамке на блины идешь.

— Да я... Я вам хотел предложить.

Хозяин скользнул по мне глазами и с серьезной грубоватостью успокоил:

— Обо мне не хлопочи. При конях.

От чая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу.

— Платок же у те, — показал на мой карман шорник. Туда он всунул платочек с буквами «Н. Я.», в который была завернута бумажка с табаком. Мне подумалось — это неуклюжий намек.

— Курите, пожалуйста, если хотите.

— А ты? Сам-то как же?

— Я так. Несерьезно.

— А-а, тогда другое дело! Совсем тогда другое дело! — охотно поверил в мое вранье шорник. — От табачка не откажусь. А ты не привыкай! Не балуйся. Это такое зелье клятое. Не привыкай, парень! Движения его снова сделались суевливыми, и он снова сронил опорок с ноги и пашаривал его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился, точно дите в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашляя и ругаясь.

В плите прогорело. Лампешка на окне зачадила пуще. В углу, за хомутами, начали бегать мыши. Наступил поздний, наверно, уже предутренний час.

Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти им место, уложить поудобней, чтобы не ломило их. Но болели ноги, и в коленях хрустело, щелкало так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве. Нынче ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезней, отпихивает она все хвори к старым летам. Все скажется после: и фэзэошные ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купанье в заберегах, и игарская парикмахерская, и эта гибельная ночь на зимней реке.

— Ох, ноженьки вы мои, ноженьки! — бормотал шорник. — Чтоб вы уж отболели, отвалились. Туды ли, суды ли... «Смерть Гитлеру!» Придумают жа! Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси. Мало ли? Война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездют туда-сюда. Понесет лешак такого же ероя, а огонек вот он. Моргат...

Голос шорника мягчал, растягивался, будто куделя на прялке, перешел в мык, и мык слился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами, и все сучил и сучил шорник ногами, отыскивая им подходящее место. Сипело в догорающей лампе. Огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше, лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок да сонно шуршало за стеною по бревнам.

«Да-а, стронула!», — нагладевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя.

Все торопятся, все бегут, иной раз уж и сами не зна-

ют, куда и зачем. Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно — голодный-то тридцать третий год давно прошел, забылся, — получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды.

Война еще научит чалдонов, вернее чалдонок, всему: стряпать — муки горсть, картошек ведро; собирать колоски; перекапывать поля с мерзлой картошкой; есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на себе вязанки; высокие заплоты, где и ворота — свалить на дрова, открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать, работать — скопом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку.

Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле, всех в борьбу, как в водоворот, ко всякому своим обликом.

Время от времени еще вздымался с реки порыв ветра, и тогда сжимался огонек в лампе, вдавливало в трубу дым, он начинал пухнуть, в печке делалось ему тесно, и в щели, меж кирпичей, в подтопок тянуло удушливой чернотой, которую тут же свертывало, всасывало обратно в трубу, и дым, словно колдун-черномор, качнув бородою, улетал вверх, раздувало и несло следом искры, взрывалось по всей печи пламя.

Дверь обмерзла в щелях и в пазах. На грязном полу, заваленном лоскутьями кожи, мякиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса, и на пороге, в притворе толсто обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы и какое-то время сидел, слушая гуденье в трубе и пощелк разгорающейся печки.

Меня трясло.

Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость, тем временем снова засветились щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее запахло смолою, потными хомутами, седелками, шлеями, развешающимися вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол. На столе

нехитрые приспособления, шорницкий инструмент: банка с гвоздями и шпильками, шилья, наколюшки, самодельная игла, на косячке окна жгутом свита проваренная дратва с вкрученными в нее медными проволочками. Выше, над надбровником окошка, совсем уж ни к селу, ни к городу — плакат закопченный. Изображен молодой человек со значком на груди. Бодро выплагивал он на лыжах вдоль опушки красивого березника. Внизу плаката били по глазам красные буквы: «Будь готов к труду и обороне!»

«Будь готов! — пожалуй, был бы уж готов, если б...»

Я еще раз обвел взглядом шорницкую, прислушался к сонным стонам шорника и вяло заключил: «Да, конечно, пожимал бы теперь лапу небесному привратнику...»

И тут же увидел привратника, с лицом постным и строгим, смахивающим на коменданта нашего фэзэо. Он бо-сой шел по ухабам снега, с позолоченной уздечкой в одной руке, хомут с веревочными гужами был у него на другой. Взгляд святого умоляющ, скорбен, но я твердо заявил: «На фэзэошника никакой хомут не паденешь! Ни в чертей, ни в святых фэзэошник не верит. Мастеру верим! Мастер у нас — Виктор Иванович Плохих. Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь! А еще комендант! Думал — не узнаю?! Крылышки приделал! Песочить за самоволку явился? На-ко вот!..» — Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки.

Шорник не дал досмотреть этот жуткий, противоречивый сон.

— На место! Пошел, пошел! — словно псу, подавал он команду, подталкивая меня к нарам, я, промаргиваясь, пялился на него и понять не мог — где я? Что я? Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного, под мышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и лошадыо. В том, как вел меня шорник, и в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину в головы, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы боли не причинить, укутал мои ноги, — во всем этом было что-то все же женское, вроде бы и бабушкино даже, воркотня шорника и та напоминала бабушкину воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее снегом и чуть, совсем уж чуть — вагонной карболкою пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного: «Спи, Господь с тобой! Христос с тобой!..»

Но ничего болес не последовало, и я разомкнул глаза.

Лампы на окошке нет. Она стояла в углу на чурбаке.

Над чурбаком с хомутом в коленях склонился шорник, подпоясанный серым дырявым фартуком. Перехватив мой взгляд, он недовольно бросил:

— Утро скоро.

Да, бабушки все-таки нет. На улице метель, и я не маленький, и где-то далеко-далеко гремит война, и люди спят в снегу, и Санька левонтьевский там, на улице, в такую стужу. Метель воеет, заметает все и Саньку тоже.

Я покатился меж штабелей, в яму ли, в преисподнюю ли, словом, в какую-то жуткую бесконечность и заорал от ужаса, но сном подрубил мой крик.

Во сне я ходил по снегу босой, будто архангел небесный, затем — по горячей, докрасна раскаленной плите и проснулся оттого, что жгло ступни ног, цекло и корежило лицо.

— Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья! — услышал я с улицы, еще окончательно не проснувшись и не придя в себя.

Избушка в сером, скорбном свете. Лампа погашена. В плите едва краснеют теплые уголья. Хомутов на стене нет, и оттого в избешке сделалось просторней. Обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных крючков и зацепок. Старое седелко с оторванной подпругой брошено на чурбак. За плитой бегают мыши, коротко попискивают, собирая корм. Одна мышка прилипла к бревнам, взбежала по стене, поточила зубом сыромятную уздечку на гвозде, вдруг поймала мой взгляд, птичкой спорхнула и подала сигнал тревоги.

На время все стихло. Я поискал глазами ботинки. Присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты, стояли они, покоробленные, расщепленные.

Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку — и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога. И все же я дешево отделался.

И надо поспешать... Гостям — стол. Коням — столб. Пора. Но, известное дело: кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись, гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора! Пора!

Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку — ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью.

Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз-другой, поболтал руками и ногами, словно на уроке физкультуры, затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке — свежая сенная стелька зашуршала под пальцами. Я опустился на пол у печки, и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал, рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул ботинок, другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки, замотал фэзэошным полотенцем шею и залез в разорванное подмышкой пальто.

Прощально огляделся: тусклое окно, на нем пятилинейная лампа с нагоревшим самодельным фитилем; нары в темном углу из скрипучих горбылин, застланные сеном и поверху — старой овчиной; изголовье из половины соснового чурбака, покрытого хомутной кошмой и тряпьем; чайник на плите, второй век живущий; алюминиевая гнутая кружка, иголки, проволочки в щелях бревен, окно, будто в бане, — черное, плакат с физкультурником — эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженой картошкой и овсом, я постараюсь не забыть, если возможно, не забыть всю жизнь.

Позднее, гораздо позднее, через много-много лет, попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему, и сделаю совсем близко лежащее открытие — прежде всего из таких вот избушек, изредка встречающихся на расстанях наших дорог.

А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой кадке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками, придавленной зверушкой пищало, хрупало.

— Постромку-то, постромку подбери! — слышался все тот же скрипучий, одышливый голос. — Конь ведь, конь, а не яман! Рабо-отнички, ать вашу копалку!.. Где вы токо и родились? Чему учились? Да стой ты, одер совхознай...

Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным, резким воздухом.

Ветра нет.

По ту сторону реки, над Слизовским утесом взошло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда после сильной метели, недвижно, тихо, даже виновато-тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками по расщели-

пам и падям окутаны стышю. Под деревьями, у заборов, в логах и возле конюшни — свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избушки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегающие с обоих косогоров к речушке Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомоят ребятишки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из ворот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом.

Шорник в подшитых кожей валенках с неровно разрезанными сзади голенищами катко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал сигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом — догадался я и поблагодарил его за приют.

— Не за что, не за что, парень, — отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить: — Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна, конюшника из Собакина кланяется.

— Кто-о?

Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложённые ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным карманом. Она выплюнула сигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалак на груди и первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась:

— Да ты неуж не узнал меня? — Дашухой прежде звали. Не вспомнил? Вот дожילה! — обратилась она к коновозчикам с улыбкой и развела руками. — Я ж кума бабушке твоей буду. Василья примала. Пишет ли он с войны-то? У кумы запаматовала спросить.

Сколько же раз мне, вахлаку, эта самая Катерина Петровна вдальблывала и словом и действием: не будь лишку к людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вяпыываюсь мордой в дерьмо. И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофановне скорбное — нет ее крестника, уже нет — убили Василя Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту, и, пробормотав под нос слова благодарности, упал на уцелившуюся с горы подводу и уже издали, с Собакинской речки, по которой раска-

тисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофановне. Неловко — не вспомнил человека. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть: во-первых, у бабушки кумовей — хоть лошадиную голову приставь — всех не упомнишь! Во-вторых — время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму.

* * *

Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен тех штабелей, меж которых я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим, сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластушину и ступил я ночью...

Только-только, на самом, должно быть, утре, унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый неподвижный покой.

Из мерзлого марева чуть проступал темными тальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это ни удивительно, шел я в ночи единственно правильным путем — по целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо! На дороге — она от приверхи острова сворачивала влево, к устью Большой Слизневки и накосе пересекала Енисей, — на дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности.

Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, в воротник пальто. Тепла и от того и от другого мало, но дыханием отгоняет щипучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу, помеченную вехами, елушками, вершинками пихт, сучками, палками.

По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к небу полуколючком тощий серпик и светится над дугами зябкий, никому не нужный, привязался и светится. Ночью надо светиться, когда люди блуждают и погибают по дурости или по нужде, чтоб «месяшно» было. Лошади трусят неспешной рысцой, попрыгивает месяцок вверх, катится куда-то вместе с нами. Скрипят сани, повизгивают полозья. На свежих ночных заметах сани бурлят, визг полозьев и щелк подков притихают, отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах че-

рез три-четыре лошади маячит забившийся в голову сапеей седок — баба или парнишка.

Торосы кругом, зубья льдин, заметы новины. Пофыркивают лошаденки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дутой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруи на лошадях — горе с луком: мочальные завертки, пеньковые вожжи, чинёные-перечинёные хомуты, веревочные узды.

Лошади и те успели обноситься.

Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шерстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие лиственные избы крышами да трубами темнеют в сутробах.

Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом, лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье да взбrehнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижим и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег, и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные, темные скалы, внутри которых время от времени щелкает сухо, без отголоска — рвет морозом камень.

Все ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце.

Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по Большой Слизневке — за сеном. На этой речке была когда-то дедушкина мельница, и я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесочасток, работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Мельницу растаскали на дрова, остатки спалили. Лишь белый хребтик плотинки означал то место, где она прежде стояла.

Как сильно успел я соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинают меня томить.

Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретилась незнакомая женщина с ведрами, должно быть, эвакуированная. Из подворотни юшковского дома

выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, попохал карман, в котором был хлеб. Мария Юшкова сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я спросил, где Ванька, мой однокашник, и она со вздохом сообщила, что Ваньку вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленней.

Село стояло на месте: дома, улицы, значит, и весь мир жил своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядочно домов исчезло, проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы вынуты клещами изо рта. Суровы ликом сибирские деревни, и на нашем селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая — нет мужиков, стало быть, и лошадей нету, не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно веселых привычных матерков, но дымятся трубы, село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя страшная земная деревушка, так и будут жить они сообща — деревушка в мире и мир в деревушке.

Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашеному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Храмов — второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера-лесовывозчика переселили сюда.

В кути никого, но очень тепло здесь, слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными паренками.

— Здорово ночевали! — Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая.

— Тошно мне! Весь познобился! — закричала она, хлопнув себя руками. — Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет. Приохлаась бы... Тошно мне!

Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесемки шапки, потому что от дыхания узел заledenел. Попутно делала она разные дела:

ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая Лийка и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глубине горницы отдаленно орала старческим, треснутым голосом Лидка.

— Идите ко мне! — поманил я Лийку с Капой. Но они не двинулись с места.

— Это ж дядя, — пояснила девочкам Августа. — Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все. Дрался ли, чё ли?

— Дрался. Ночью с бревнами. Ну, идите сюда. Хлеба дам.

Девочки осторожно приблизились и стали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, заваянной в кармане, протянул Августе.

— Я пенадолго.

Августа убрала пайку в посудник.

— Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевы, и тепло. Только-только печку скутала. Ись-то сильно хочешь?

— Терпимо.

— К Алешке не заходил?

— Не заходил.

— Чё же не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует.

— Может, на обратном пути.

Я жался к теплой трубе, беленной известью. Снова разворачивало, пластало руки, лицо, ноги, ухо и всего меня колотило так, что клацали зубы.

Но я терпел, не ныл.

Скоро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землею выпачканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, темь которых просекает больная горячность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее, я боюсь услышать об этой беде и потому прячусь за трубу русской печки.

Место верное.

В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева, с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами.

Лидка ревела в горнице все громче и требовательней. Лийка ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко

мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя, к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем.

— Бо-оба. — От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами.

Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девушку, не дать ей разреветься, а то не ровен час и сам с нею зареву.

Лидка все прибавляла и прибавляла голосу — грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее, но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и, точно коня, начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне и сам я ужался, хотя мне следовало бы унять тетку.

— Подавись! — сунула Августа закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосец и все кричала, кричала. — Да жри ты, жри!... — перегорелым голосом сказала тетка.

Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задремывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой, отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб все так и осталось, чтоб тихо было, без слез, без матерщины и крика. И чтоб лицо у моей тетки просветлело хоть немножко.

Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лийка, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и убаженную.

Баю-баюски, бай-бай,
не ходи, музык-бабай!...

напевала Лийка. Капа, притихшая было и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара, видать, забылась, вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она пере-

дернулась, будто от мороза, черпнула поварешкой из чугунка.

— Похоронная пришла, — не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шерстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо.

Все-таки предчувствие оказалось точным.

Еще там, в фэззо, получивши теткино письмо, я почти с уверенностью определил: пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь-дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтоб облегчить горе родному человеку. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего вроде ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят.

Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой:

— Бо-оба-а...

Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы.

— Иди поешь, — позвала Августа.

— Сейчас, — прокашлял я ссохшееся горло. — Бабушка куда ушла?

Я тянул время.

Мне боязно спускаться к Августе. Знаю, угадываю не глядя, — она налила похлебку и стоит сейчас потерянно возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И наверно, опять вынимает изо рта шерстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет.

— Бабушка-то? — переспросила Августа и начала шарить в посуднике. — К Марее ушла, к Зырянову...

Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе.

— Она знает? — Я задержался на приступке с катанком в руке.

— Знает. Причитала, уж приходила: «Ой, да сироти-нушки мои! Ой да прибрал бы вас Господь...» — Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. — Огругала я ее. Рассердилась. Ушла. Ноги, говорит, больше моей не будет у тебя! Ну да знаешь ты ее. Совсем она дитем стала. Болит ознобленное-то?

— Болит. Пошли, Капа, суп хлебать.

Бабушка моя уж много раз заявляла, что ноги ее у Августа не будет, но вот проживет у Зыряновых мирно, тихо и явится сюда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, хотя и много у меня другой родни в селе, но та родня до полдня, а как обед — и родни нет. Другое дело Августа — эта последнее отдаст, и нет у меня ближе бабушки да Августа родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча-младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, но бывать у нее любят, точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты и всяк перемогает свою войну.

Капа проворно спустилась за мной с печки, заголив пухлую заднюшку. Я одернул на ней платье с оборочками, усадил рядом с собою за стол, дал ложку и кусочек хлебца. Из-за косяка пристально чернели Лийкины глаза. Я поманил ее пальцем, дал и ей ложку.

— Девки! Ведь вы только что ели! — запротестовала Августа. Лийка с Капой замедлили работу, перестали черпать похлебку.

— Ничего, ничего, пускай действуют! Ты тоже бы поела, Гуса. — Я виновато поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным медленно поднимающимися слезами.

— Не идет мне в горло кусок-то. — Она размяла в горсти чесноковину, высыпая кривые зубцы передо мной. — Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успеешь впустить, другая в ставни буцкает...

— Что еще? — Я уронил ложку, и Лийка проворно соскользнула за нею под стол.

— Яманы сено доедают.

— Козы?

Лийка сунула мне черенок ложки, и я сжал ее в руке.

— Какие козы?

Я ничего не понял. Коз у нас в селе нет. Были давно

еще, у самоходов Федотовских, но так эти козы всем надоели, так зорили огороженные от крупного скота огороды, что чалдоны дружно и люто свели яманов, как они презрительно называли коз, и чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу.

Августа, глядя в окно, подавленно объяснила: сено едят дикие козы.

Час от часу не легче! Вот уж действительно беда как полая вода: польет — не удержишь.

Прошное лето выдалось дождливое, и, когда метали сырое сено, присолили его, чтоб не сопрело. Дикие козы стаями вышли из лесов. Рапьше и охотник-то не всякий мог их сыскать! А теперь из-за глубоких снегов и больших морозов в горах наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели и сожрали иные зароды дотла, на Августинном покосе зарод раздерегали до решетинника и вот-вот уронят его, а там уж которое сено доедят, которое дотопчут.

Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девчонок, швыркающих похлебку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шерстку. Мне холодом пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань! Что ты делаешь?» — но я превозмог себя.

— Налей-ка чаю.

Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет, а кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различима древесная свиль, жилки видны. Августа налила кружку до краев, и из посуды слабо донесло весенней живицей. Всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не мог оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался в нем кипрейный и мятный дух да разные другие бабушкины травы заварены: зверобой, багульник, шипицы цвет. Хочется лета. Всегда хочется лета, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками.

— Тошно мне! Чуть не забыла! — всплеснула Августа руками и повеселела взглядом. Она ступила на лавку, куда не могли добраться девчонки, и, вытянувшись, достала с верхней полки посудника бордовую тряпицу, удивительно мне знакомую. Покуда тетка разворачивала тряпицу,

вспомнилось: это лоскут от бабушкиной, когда-то знаменитой праздничной кофты. В трипице оказались три древних, оплывших от телесного тепла, лампасейки и кусочек затасканного серого сахара.

— Любимому внуку, — лукаво сощурилась Августа и передразнила бабушку: — «Мотри, шток девки не слопа-ли! Я им давала, и будет!» Об том, что письмо тебе посла-ла, она знает, — пояснила Августа уже без лукавой прищурки и ознобно подавила вздох, докатившийся до губ.

«Ах ты, бабушка, бабушка! Зачем ты ушла к Зыряно-ву? С осени не виделись и когда теперь увидимся?» — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки.

— Выпей хоть чаю, — кивнул я тетке. — Размочи нут-ро, Гуса!

Она все время словно ружье на взводе. Это угадыва-лось по движениям, вроде бы вялым, обременительным, по словам, которые она говорила только по необходимос-ти, и все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и выловить никак не могла.

Я, как мог, отдалял неизбежную минуту.

Августа покорно налила себе чаю. Пьет. Чуть даже оживилась. Рассказывает про бабушку и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампасейки, а сосали бы их — так надольше хватит.

— Она ведь, толкую тебе, чисто дитя стала. — Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подко-вырками, с улыбкою. — «Гуска, выходи замуж за линте-нанта! Линтенант большу карточку получают». Я говорю — где его взять, линтенанта-то? В деревне нету, в город ехать недосуг — ребятишки не отпускают. «Я подомовничаю хоть два, хоть три дня. Ступай в город, глядишь, сосвата-ешься. Раз похоронная пришла, чё сделаешь? И не зубос-каль! Время припело такое — всяк спастись должен. У тебя ребятишки, и об них подумать следует...» Я говорю — сосватала ты меня раз за Девяткина, да сама я сосвата-лась за Храмова, и хватит! Приплод большой. В тебя уда-лась — родливая! Она сердится. На печь заберется и го-ворит, иной раз уж вовсе несуразное несет. Не тронулась бы... — Августа открыто, по-бабьи вздохнула. — Нынче это нехитрое дело. Тебе табаку принести?

— А есть?

— Дивно табаку, дивно. Тимофей летось насадил. В огороде место оставалось. Брюквенная рассада вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку. Пускай цветет, ска-

зал, девчонкам забава. А табак оказался — самодрал расейской. Я заламывала его, потом срубила, в бороздах держала, все делала, как тятя покойничек. Крепкущий получился — спасенья нету. Хресник мой, Кеша-то, пробовал — накашлялся.

— Ну-ка, ну-ка, притащи корня два.

Августа достала с чердака беремя густо воняющих корней табаку, и пока я сушил волглые листья на железной печке, пока мял их, чихал и свертывал сигарку, у меня прояснилось в голове.

— Вот что, — закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызвала меня со станции Енисей, из школы фэззо? — Вот что. Беда сейчас не у одной у тебя. Многим внове беды. Тебе не привыкать. Обколотилась. Жить надо. Девки у тебя.

— Господи-и-и! — ударилась о стену головой Августа и начала катать ее по тесапому, замытому бревну. — Господи-и-и! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? Сызмальства. С малолетства самого как взяло меня! Ну чем я, чем я хуже других? Марeya живет! Кольча тот и другой в чести и достатке. Все живут, как люди, а я маюсь, а я быюсь, как сорожина об лед...

Да-а, это уж, видно, кому какая доля выпадет. Восемнадцати лет Августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый. Пал в пьяной драке, оставив на память Августе Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алешки, не перечесть. Алешка выдался в отца драчливым и в мать трудолюбивым. Как подросток, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее, но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он перворазрядник шахматист, по лыжам бьет все рекорды в школе. На селе про Алешку теперь говорят: «Вот те и на! Вот те и немтырь!..»

Еще когда Алешка был певелик, свела Августу судьба с Тимофеем Храмовым. Большая семья Храмовых переселилась на Слизневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Храмовых была тиха, уважительна и работаща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера

так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчиму, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял: «Па-па! Па-па!»

«Ой, война ты, война!» — Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное — терпеть и ждать, чтоб Августа вырели, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали.

Тетка все катала и катала свою голову по щелястому бревну.

Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завывать. Выдрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье!

Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал ее насквозь, все равно слушал — она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей доле-юдоли, некому пожаловаться на судьбу.

Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло; засветились красные жилки в заплаканных глазах, губы и нос тоже распухли.

— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла — дрова на ней осенешь из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет. Девчонки тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть... — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубить, кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, — хоть коробом вози.

Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, меня шатало.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хоть Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопили по шатким половицам и затихли, снова, должно быть, укрылись под кроватью.

Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по ушам.

— Да ты что? — размахивал я руками и горячим ше-

потом орал: — Ты понимаешь, чё говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!

Меня колотило, как прошлой ночью промерзшего до костей колотило в шорнищкой. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кути, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о фэззо, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить!.. Приводил исторические примеры. Великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристок и декабристов; ссыльного Васю-поляка и других ссыльных, кои никогда не переводились в нашем селе. Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелле.

— Вон Кампанелла — итальянец! — громовым голосом вещал я, бегая по кути. — В крокодиловой яме сидел! В воде по горло! На колу сидел — не сдавался! Даже книжку сочинял. «Город солнца» называется. Про будущее про наше. Как все станут жить в радости и согласье...

Тут я обнаружил — Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся среди кути и конфузливо умолк.

— Какой ты у нас умнай человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала... — Августа опять что-то поцепляла щепоткой во рту, затем промакнула платком лицо и отстраненно вздохнула.

Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я поскорее принялся крошить ножиком табак. Лийка полезла на скамейку — отрывать очередной листок календаря на сигарку.

Тетка еще посидела, затем неторопливо повязалась платком. Ровню передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру не заметным.

Долго закуривал я, обстоятельно и никуда не мог спрятать глаза. «Оратор! — изничтожал я себя. — Олух царя небесного! Еще стишки бы почитал, песенки продекламировал...»

— Табак и в самом деле крепкий, — буркнул я, засовывая в печку окурки. — Надо Кешу позвать.

Кеша парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем, хотя и говорится: деревенская родня что зубная боль, да куда ж без нее? Припрет, так сразу о ней вспомнишь.

В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей, сонной поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Дразниться не умел и не любил. Если его дразнили, обирали, тыкали — молчал или плакал, и слезы катились по его незащищенному лицу так, что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли наперешиб, и однажды я чуть было не утопил парнишку, пагло отобравшего у Кеша игрушки, что, впрочем, не мешало, как я уже рассказывал, обчищать братана, играя в бабки или в чику.

Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали даже такие оторвы, как Санька левонтьевский, а он, довольный таким положением, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать.

Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового, домовитого мужика, и пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, чем к самой работе.

Само собой, вся наша родня и особенно бабушка ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором является, и всячески выслуживался перед нами. Слух был — Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника, только тетя Феня сливочник ныне на ставит на окно, скрывает слабость сына, потому что зачастую в дом девица с заречного подсобного хозяйства, тоже положительная, с медицинским образованием, умеющая вязать носки и рукавицы, также строчить шторы.

— Как живешь? Все молочишко попиваешь? — Я, как всегда, встретил братана зубоскальством.

— Корова стельна, — как всегда, отбилсЯ Кеша. Он забросил рукавицы на печь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передний угол. На нем была клетчатая рубаша со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми голенищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставив косую челку, и под корень истребил косичку,

которая, сколь я помню, всегда сусликовым хвостиком свисала в желобок его худой шеи.

Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и никакие мои фээзошные насмешки на него не действовали, вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его постноватом лице.

— Хоть бы с невестой меня познакомил, — продолжал я подначивать братана. — Мастерница, говорят. Пальто бы мне зашила, по-свойски.

— Лелька успела наболтать! — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас не слышит. — Кака невеста? В Березовку вызывали, в военкомат, на освидетельствование. Призовут скоро.

Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всяких напастей, охранять уединенность его, что до меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других, мой братан Кеша? Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как он, мирные люди топают сейчас в запасных полках, колеют на морозе, голоса: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» — и на фронт, воевать. Только трудно, ох, трудно будет братану там, в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери.

И не заслонишь его собою.

Мы пилили с Кешей дрова, кололи чурки, я нет-нет да и поглядывал на него, пытаюсь представить братана в военной форме, в строю, в сражение, и ничего у меня не получалось, а он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил — успокаивал не столько меня, сколько себя.

— Нано нак. Люни ж там всякие нужны. Может, при мастерских устроят?

Мы испилили дрова, нарубили табаку, оставили несколько вязанок корней — это уж на самый крайний случай. Табаку-самосаду насеялось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сена. Если удастся отстоять и вывезти сено с Манской речки, с нашего давнего покоса,

который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет.

А если нет?

Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено, если там есть еще чего отбивать. Затем сено нужно вывезти.

На ком вывезти? Когда? Вопрос!

Лошадь на все удалое село сохранилась одна — у дяди Левонтия. Он по-прежнему работал на бадогах, даже получил повышение — не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, барачных для эвакуированных, заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых фашистами земель, на известку возник небывалый спрос.

* * *

В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке, в переднем углу на столе — филейка с расшитыми по ней ничтожными узорами; кровать, заправленная одеялом; над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломкой раму — продукция эвакуированных, которую меняют по деревням на картошку. Тикают часы с гирькой. Маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте! В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не в первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонтия, и скатерку филейную ножницами исстригли, и все бы перевернули вверх дном, кроме русской печки разве. И содомила бы тетка Васеня, раздавая оплеухи направо и налево, и гонялась бы за Санькой с железной клюкой.

Неуютно в доме дяди Левонтия. Тихо и неуютно.

При моем явлении тетка Васеня оживилась, принялась крестить меня и себя, но креститься она не умела, и я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит тетка Васеня на низком курятнике у печки, петух просушил голову меж планок, клюет ее валенки, а она не слышит. Смотрит тетка Васеня на меня и тужится что-то вспомнить.

— Ничего, тетка Васеня, ничего! — забормотал я и ляпнул: — Держи хвост дудкой!

Тетка Васеня напряглась, собрала на переносье свет-

ленькие, беспомощные брови, старчески сунувшиеся к глазам.

— Хвост? Какой хвост? — Она испуганно озиралась, шарила себя по юбке. — У-у, озорник! — погрозила она мне пальцем облегченно и поправила платок на голове. — Ох, какие вы с Санькой были! Ох, какие!.. А Санька-то в антилеристах! Где, отец, Санька-то? В какой местности? Он так все прописал, так прописал... Ну-ко, отец, расскажи-ко. — Тетка Васея поерзала на курятнике, изготовилась слушать со вниманием, хотя, по всем видам, слышала Санькино письмо много раз и все знала наизусть.

— Да ведь ты же знаешь, какой он, Санька, Александра-то наш, — заговорил неторопливо, уважительно дядя Левонтий, окутался дымом и поджидал, чтоб я подтвердил, какой он человек, Санька-то, мол, о-го-го. А сам подумал: «Во бы послушал Санька, с каким почтением о нем, клятом-переклятом, руганном-переруганном, вспоминают родители, которым он испортил столько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще живы».

— Письмо, вишь ли, пришло, — рассказывал дядя Левонтий. — Все честь по чести прописано, поклоны всем, здоровья пожелания. Складно так. А дальше закавыка! «О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что военная тайна. А чем тятя бадюги колет?» Все понятно, што военная тайна, што нельзя, стало быть, сообщать местонахождение. Но пошто Санька вопрос такой задал? Он же знает все про бадюги! Сам на них раблывал. Колотушка деревянная, топор, клин! — вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело. Ничего не отгадали.

— Не отгадали, не отгадали, бестолочи! — подтвердила тетка Васея. Лицо и глаза ее светились радостной нетерпеливостью. Она подняла руку, будто школьница, собираясь вступить в разговор.

— Погоди, мать, — остановил ее дядя Левонтий. — Вот на смену вышел, тогда я еще на рядовой работе состоял, — важно заметил дядя Левонтий, — колю бадюги, а вопрос Санькин не идет у меня из башки. Я вечером в сельсовет. Покрутили там, повертели письмо Александра. Обормот, говорят, он был, ваш Санька, обормотом и остался — не мог уж без фокусов отцу-матери написать. Тогда я сказал сельсоветским кое-што! И к учительше. Она дрова пилит, устала, ничего не соображает. Помог я ей дрова напилить, в избу спес, а там у ей сестра с Куба-

ни, эвакуированная, больная, и, скажи ты мне на милость, вмиг она мне все и разобъяснила, остолопу. Клиш! Пони-маешь, Кли-и-ин! — Лицо дяди Левонтия сияло таким восхищением, тетка Васеня так хорошо по-куричь квох-тила на курятнике, что порешил я продлить маленько их-нее ликование.

— Какой клин?

— Да город! Го-о-ород, оказывается, есть такой на све-те! — простонал дядя Левонтий и утер выступившие на глазах слезы. — Как он их, а?!

— Мозговитай, ох мозговитай! — причитала тетка Васеня.

— Н-ну Санька! Ну-у Санька! — ахнул я. — Вот уш-лый так ушлый! — И чтоб совсем уж ублаготворить дядю Левонтия и тетку Васеню, прибавил: — Кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет!

Что иногда значат для людей слова, обыкновенные слова! У дяди Левонтия и грудь, как в молодые, моряцкие годы, колесом сделалась.

— Да. Александра наш, он уж такой! Он уж так: либо голова в кустах, либо грудь в крестах! — гордо заявил дядя Левонтий и тут же укорил тетку Васеню: — Ты чё это, мать, сидишь-то? Напой, накорми человека, после и вестей проси.

Тетка Васеня всполошилась, тетерей себя обругала и загремела заслонкой печи. А дядя Левонтий трудно за-кряхтел и сказал, как будто оправдываясь:

— Совсем она у меня потерялась, совсем. Токо вест-точками от ребят и жива, — и покачал седой, ровно бы мохом обросшей головой. — Э-эх, ребята, ребята, матро-сы мои...

Переломившись в поясице, он начал сосредоточенно крутить сигарку и сорил табаком на брюки, и все, что было за словами, читалось на его лице: как жили-то, дружно, весело, артелью непоборимой! Ну и што, што не всег-да досыта едали? Не плакались! Ну и што, што гонял се-мейство по пьянке? С дурака какой спрос! Ну и што, што дрались и пластались меж собой братья и сестры? Зато чужому было никому их не тронуть. Орлы! Друг за друж-ку стеной. Растилишшут любого врага, в клочья разорвут!..

Дядя Левонтий начал было прятать кисет в стеженные брюки, но вдруг приостановился, подумал и протянул мне кисет: кури, дескать, возраст твой подошел.

Скобленный пол, тетка Васеня без сажи под носом; дом

без ребятишек; слова «отец» и «мать» и скорбно сочувствующий взгляд дяди Левонтия, его степенность. Полно, уж в тот ли дом я попал?

Тетка Васеня и дядя Левонтий, сколько мне помнится, всегда называли друг друга «он» и «она». Дядя Левонтий чаще: «размазня», «тетеря». Тетка Васеня: «мордоплюй», «костолом», «рестант» и в самые уж обиходные дни, то есть в дни получек: «сам» или «хозяин».

Надо сказать, что дядя Левонтий хотя и был «пролетарьей», в колхоз, как производственный кадр, не записался и в актив комбеда не вошел, а попивать с Болтухиным, Вершковым, Митрохой и прочей властью связался и сразу же стал прятаться от людей, в первую голову от «дорогой соседки» — Катерины Петровны, но еще не нашлось во всей округе человека, который бы от нее спрятался.

— Чё отец-то не заходит? — спрашивала у Саньки бабушка. — Стыдно роже-то, видать?

Санька виновато молчал и отворачивался к окну.

— Говорят, оне домнинских описали и продают да пропивают добро?

— Не знаю. Наверно.

Углядев в окно или со двора, что развеселая компания с барахлом под мышкой, с бутылками в карманах вваливалась в домишко дяди Левонтия, бабушка повязалась платком, подобралась, поджала губы и с черемуховым своим батогом пошла через дорогу.

Увидев ее в своем жилище, дядя Левонтий засуетился, залебезил:

— Екатерина Петровна! Екатерина Петровна! Милости просим. Милости просим...

— Сядь! — строго приказала бабушка, не проходя от дверей. И дядя Левонтий, как нынче говорят, слинял и даже отрезвел разом.

— У тебя сколько детей нажито?

— Много.

— Счету не знаш! — Бабушка говорила только с дядей Левонтием, ни взглядом, ни словом не удаивая сидящую за столом компанию.

Тетка Васеня, что современный сталевар на картинах современных уральских художников, стояла возле полыхающей мартеповской печи, опершись на железную клюку, и всем своим видом показывала, что она вечно была, есть и будет в союзе с бабушкой Катериной и боль-

ше ни с кем, что бы та ни делала, ни говорила — все правильно и верно, лучше нее никто не сделает и не скажет. Даже брови насупила тетка Васея и клюку сжала рукой, будто перед страшным боем — двинься с места хоть муж, хоть кто — зашибет.

— Ты сопьешься, сдохнешь. Ребята без тебя, такого заботливого папы, не пропадут. Не дадим мы имя и Васе не пропасть, последнюю крошку разделим. Но эти твои дружки-приятели. — Бабушка потыкала батогом в каждого гостя в отдельности, и они перестали лыбиться, почесываться, строить рожи. Митроха начал было: «Старуха...» — но дядя Левонтий придавил его взглядом: «Молчи!» — Как пропыют Расею, деревню, себя и портки последние — имя страшный Божий суд будет и проклятье от людей, имя и детям ихним проклятье и презрение, дак за что же твои ребята страдать-то будут? Оне детства не знают, жизни сытой не видели, от папы имя одно беспокойство, матерщина, гонение да насмешки от людей. Дак хочешь, чтоб, и вырастут когда, люди их оплевывали, пальцем на них показывали, как на шпану: «... вот, оне, лиходеи, лоскутники, пьяницы: разорители...» Санька, ты хочешь, штабы так было?

Санька встал, будто в школе, оправил рубаху на животе и, глядя в пол, дрожащим голосом произнес:

— Не-эт.

— Чего нет? — объясни дорогому родителю. Он все плавает по морям да по чужим застольям, сраму не имеет, седин своих не стыдится. Чего нет-то, Александра?

— Чтоб нас просмеивали... чтоб плевали на нас.

Тетка Васея кивала головой каждому Санькиному слову, лицо ее еще болес посуровело, но под конец Санькиной речи подняла фартук к глазам и начала было подвывать, однако бабушка остановила ее.

— Погоди, Васея, погоди. Об тебе речь ишло будет, и сичас я робят спрошу. Ребята, вы с Александром согласные?

Ребята, загнанные на печь, на полати, в замешательстве пачали прятаться в глубь жилища, но хотя и разрозненно, оттуда раздались голоса:

— Согласные. — А потом орлы пришли в себя и три раза четко, как на пионерском сборе, повторили за Танькой следом: — Согласные! Согласные! Согласные!

— И откуда у такого обормота разумницы такие родятся?! — вскользь заметила бабушка и громче продол-

жала: — А раз согласные, значит, громилу своего и забулдыгу пьяного домой не пускайте. Неча в добром дому таким бродягам делать. Пущай со своим советчиком и наставником Болтухиным запивается и под забором валяется. Тот обоссанной, вшивай, и этот такой же станет. Оба и околеют в канаве, как псы бездомные...

— Но ты знаш... но ты знаш! — начал хорохориться и пробовал подняться из-за стола затяжелевший Митроха. Болтухин уже спал, уронив на стол безвинно-детскую голову, стриженную лесенками. Шимка Вершков очухался, снова ерзал, похохатывал и глаза закатывал.

— Тьфу на вас, на срамцов! — плюнула бабушка и, бацкнув дверью, величественно удалилась, но дома заперлась в горнице, и оттуда донесло запах мятных сердечных капель.

Васеся, откуда что и взялось, всю компанию из дома выдворила, барахло, что они принесли, на улку выбросила, дядю Левонтия на известковый загнала и неделю домой не пускала.

— Пока прощенья тебе от людей и от бабушки Катерины не будет, глаз бесстыжих не кажи!

С тех пор дядя Левонтий от «властей» отбортонулся, а бабушка еще долго здоровалась с ним вежливо и в особенные, душевные разговоры не вступала.

Много в доме дяди Левонтия было народу, велика команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похоронная уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца — моряками воюют под Мурманском, во флоте. Санька — истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано — Татьяна, а не Танька, я даже суп перестал хлебать, — учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, в Черемхове, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, в школе на Усть-Мане — десятилетки в нашем селе нет.

Я хлебал суп, хороший, наваристый суп с костью, но уж лучше бы как прежде — хлеб с водой, чем пирог с бедой. Тетка Васеня подливала мне и глядела, глядела на меня, с жалостью, с испугом, и я угадывал ее бесхитростные бабы печали: «Может, и тебя последний раз потчую...» Мне и неловко было, но не было сил отказаться от еды, ранить душу тетки Васени, лицо которой одрябло, как прошлогодняя овощь. А было всегда это простоватое лицо то в закопченности, то в саже и сердито попарошке.

По врожденной ли доброте, из-за бесхарактерности ли ее, воспринимал я тетку Васеню раньше, да и бабушка моя, и все наши соседи, — как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться, и всех пожалеть.

Другое дело теперь. Вон слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам, упала на стол — такое горе, и такая беспомощность.

— Да будет, будет, — с досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. — Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь!

Тетка Васеня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем, потому что не для горя-тоски рождался этот человек, и оттого это горе-тоска раньше других баб размоют ее, разорвут, как злая вешняя вода рыхлую пашню. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это, боится за жену.

— Ровно пустая кадушка рассохлась, — дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уже его и не слышала.

Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично оттого, что в доме ее пусто, нет гаму и шуму, не рубят ничего, не поджигают, все ей тут кажется чужим, и хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и ночью, вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку. Вот теперь бы она никого из ребят пальцем не тронула, сама бы не съела, все им отдала, все им, им...

Дядя Левонтий подтянулся, построжел. Одежда на нем застегнута, прибрана, постирана — тетка Васеня ублажает его вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие, ширококостные руки. Бритые скулы на обветренном, длинном лице отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкапывали вместе лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили, паек дополнительный идет. Не признать в нем никак того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил так, что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и на веки вечные пропащей.

Вспомнить только получку дяди Левонтия! Стол ломится от яств, объевшиеся ребятишки бегают с пряника-

ми, конфетами, надевая всех гостинцами, хохот, пляски — окошки, потолки, бревна в избе дрожат и вот-вот рассыпаются от хора, рывкнувшего песню про «малютку облизану». Санька-мучитель. Без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий таблице умножения его учил: «Сколько пятью пять?» И сам себе: «Тридцать пять!» — «Што такое жисть?»

Не задает любимые вопросы дядя Левонтий. Некому и некогда.

— Чё ж Августа чуждается? Почему не обратится? — укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. — Конечно, конишко занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках! Обеспечим, коли надо, вдову Отечественной войны всем довольствием. Наш такой долг, работников тыла...

С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай.

Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь хозяина, но тетка Васеня так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, сидит все дни, так по-детски, совершенно по-детски зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу.

* * *

Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался. Ставни закрыты. На трубе снег шапкою, будто на пне. У ворот не притоптано, даже в железном кольце ворот полоски снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фэзэошную шапку, вцепиться зубами в ее потную подкладку. Движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки решительно перелез через заплот и оказался во дворе моего детства.

Не совладал с собой.

Всюду снег, внезапвадно белый, пухлый, и ни одного следочка! Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и те несвежие. Амбар снесен, стайки тоже, остался лишь этот старый, дощаной навес. Под ним стоял толстый, истюканый чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь

мастерил на этом чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые, порыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли и оттого, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и граблей. Меж досок засунуто сосновое удилище с оборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорена — это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершине, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось!

Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный пыльный веник, на высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подошва. Я смел веником снег с крыльца. Сметался он легко. Не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно не беленный шесток печи, на нем сияя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками паливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо делается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем либо щекотнет: «Самый раз на твоей пузе блох давить!»

Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил вовнутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью? Нет, кружка опрокинута. И соль у бабушки вывелась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не смог.

За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки зверобоя и мяты. Я пошарил под травами — ключа там не оказалось — бабушка никого не ждала. И сама дома не живет — нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько топи — выстывает жилье.

Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтое в ней осталось лишь в сгибах. Огромный, тоже крашеный желтым замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестике, углом и мелом начертанные к какому-то святому празднику.

Мучительно, словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все окрашено желтой краской.

Вспомнил! Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с ба-

бушкой. Ведро с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора.

Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет все — от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето, ходить в избу падо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето — не перечесть. Зато когда высохло, бабушка нахвалиться не могла красотою в избе и своею хозяйственной предприимчивостью.

«Желтый цвет — измена! Красный цвет — любовь! Зеленый цвет — ...» Что ж означает зеленый цвет в Танькиной, в Татьяниной песне?

Опять какие-то пустяки. Сплошные пустяки в голову лезут.

Надо уходить.

И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все: и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду: заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, сажал первое в жизни деревце. Здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье. А я жарился подло, с терпеливой и твердой верой: бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь, под навесом, лежала утопленница мать, меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой. Отсюда же, из-под навеса, унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытом белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, по ней валялся Шарик. В стайке вздыхала корова, на амбаре кричали курицы, исполнивши свое дело, и громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезало, базланил петух. Бабушка держала петухов красных, драчливых, и руки у нее всегда были до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину, тем самым бастригом, который забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, крепко ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел. Чего еще жду? Окрика: «А ворот тебе нету, окаянная твоя душа! Вылезло тебе! Ворота не видишь, разъязило бы тебя в душу и в печенки!...»

Никто меня не окликнул.

Я спрыгнул в сугроб, наметенный подле забора, подошел к палисаднику. За топкими осиновыми частоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить пользительной и сладкой кулаги. И птицы почему-то не склевывали ягоды, а калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотней других.

Видать, и птицы покинули забедованную землю.

* * *

Над Манской речкой луна, полная и прозрачная до того, что на ней видны проточкины и темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли.

Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Зарод сметан на бутре, отодвинувшем в сторону речку и клубящиеся ольшаники. Бугор гол, и зарод поставлен так, чтобы продувало его со всех сторон. Сено сметано рыхло, на шалашом составленном решетиннике. Зарод хорошо зачесан сверху и даже прикрыт пластушинами корья. Но все равно сено в нем осенью согрелось, подопрело, и не будь оно посолено, так и вовсе пропало бы.

Вокруг зарода пестреет козья топанина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь. И пасется явно давно. Зарод поддерган и сделался наподобие кулича.

Мы с Кешей одеты в собачьи дохи, раздобытые на селе. Оба в подшитых больших валенках, меховых шапках и рукавицах-мохнашках. У меня еще замотаны пуховой шалью лицо и уши, оставлены только глаза, и смотрю я пристально на снег, истоптанный козами, на ближний, прореженный лес с коротко подобранными под себя теньями. Луна стоит почти над головою.

Я сжимал дяди Ванину двустволку, Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившейся мужа — Терентия. Он без вести пропал на войне. Так-таки и пропал, утерялся Терентий. В плен его лешаки унесли, героем ли погиб?

С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках. Накатывал морок на луну, выплы-

вало невесть откуда взявшееся облачко, и тогда бугор темнел, по нему чешуистыми рыбинами плавали тени. Лес за покосом делался плотнее, смыкался бесшумно. Но ясна луна, переставали бродить по снегу тени, и окутанный мохнатой дремою лес покоился на своем месте. Космы берез обвисли до белой земли, и хотя много их, этих крупных, несрубленных берез, все же кажутся они одинаковыми. Вдовьей грустью наносит.

От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине, словно обгорелые былинки, и все это: и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, ровно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с детской небрежностью нарисованные, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, и спутанные в ржавые клубки лозины, черемушники, ольшаники по извилистой речке — весь этот край, убаюканный тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война и люди убивают людей.

Никакой войны нет.

В древнем, замороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебными светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья, никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире!

Как обворожительно подвиден лес. Зимний лес!

Хочется забыться, довериться ему, закрыть глаза и остаться в нем навсегда, глубоко погрузиться в мягкую вековую дрему. Это так легко! Осторожно поднимаю руку, стягиваю шаль с одного уха. Ничего не слышно. Ничего!

Какие тут могут быть козы? Что тут вообще может быть живое?

Безуспешно пытаюсь я уверить себя в том, чего нет: Августа спит спокойно, бабушка моя, гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски, на всей земле моей тишина, — но впасть в самообман не удастся — даже в этом лесу, в горах этих, окутанных младенчески-тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво въелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников?

Острой занозой входит в сердце беспокойство. Ровно бы опухает оно. Не раз, не два будет потом вот так же

бояться и болеть сердце, непрошенно станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия, и такое уж свойство нехороших предчувствий, что ли, — они обязательно сбываются.

Наверно, в ту минуту, когда погибла фэззошница Катя, та самая, с косами, в беретке, которой собирался я сочинить письмо с эпиграфом, — заныло, стиснулось во мне сердце. За отсутствием сцепщика она пыталась перецепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, прошедшая за пять военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расшлющила девушку буферами.

Я не застаю ее, но узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в соседнем госпитале бойцами.

Много лет прошло. Девушку Груню небось забыли все на свете, а я вот отчего-то помню. Сдается мне, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь, придумал, должно быть, и эту.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты чё шепчешь? Молитвы или наговоры? — Кеша уставился на меня, смотрит, рот открывши. Ресницы его густо обросли бахромой, бородака и усы, едва пробившиеся, тоже.

— Наговоры. — Я шевелюсь в сене и любопытствую: — Кеша, есть такие страны, где люди ходят сейчас босиком и без штанов. Веришь?

— Не-а.

— А что война идет?

Кеша туго думает, затем поводит плечами, как будто стряхивает с себя неловкую поклажу. Сено начинает шуршать, и он затихает.

— И верю, и не верю, — выдавливает. — А твое-то какое нело? Чё беренишь себя и меня. Молчи навай. Скоро припут!

— Кто?

— Да яманы-то. — Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и всмотрелся в меня пристальней. — Все-на ты за всех мучаешься. Оттого жить тебе тяжельше. Тиха? Инут вроне?

Я поспешил отыскать рукой шейку ружья и отвернулся от Кешиногo заиндевелогo лица, на котором глаза от луны светились беззрачно, будто у идола. Кеша двинул

меня локтем в бок, и я не вдруг, но очнулся, однако ничего нового на покосе не увидел.

Приподниматься начал. Ожило сено.

— Мри! — Кеша глазами показал мне на то место, где покос уголком вдавался в лес и где еще по сию пору виднелись заросли, не скошенные из-за сырой погоды. Несъедобные там росли травы, больше медвежьей дудки в руку толщиной, из которых в детстве мы делали брызгалки, охотники свинец для пуль в них отливали. Широкие розетки дудочника роняли на снег семя. Шишки с елок и сосен нападали, и оттого все там пестрело. Синими жилками вились, сплетались заячьи и горностаевы следы. В кормных зарослях покойной дурнины, накрытых серой тенью леса, произошла какая-то перемена — сделалось там темнее, дудки по отдельности уже мало где различались, и что-то едва слышно пошурхивало, ровно бы кто задевал переспелые дудки и вершинки их прыскали летучим семенем.

Сердце стронулось с места. Дыхание во мне сперло. Я еще не увидел коз в тени леса, среди бурьяна, но почувствовал: они там, они пришли. Напряженно, до тумана в глазах пялился я на нескошенный уголок покоса и различил странные лоскутья на снегу. Из спутанных зарослей елок, осин и сосенок, из снежной опушки леса проступили тени, похожие на деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, свесилось ухо. Скамейки стронулись с места, зашевелились, словно отражения на воде. От них отделилась тень, выдвинулась на белый покос, у нее вдруг объявились два острых рога.

Не сразу, но я сообразил, что луна скатилась к Енисею и эта бесовская тень с бороною и рогами есть не что иное, как тень козла-гурана. Едва различимой прожилкой гуран спаивался со своим, причудливо вытянутым, отражением. Задрав бороду, он процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли. Козлухи, гураны и анжиганишки — малолетки — замерли в отдалении: ждали, когда вожак двинется вперед. Еще не весь табун вышел из леса. Угадывалось движение на опушке и под деревьями, с которых текла кухта, дыривила комьями снег. Дудки дребезжали, тренькали, будто слабо натянутые струны на сводедельной балалайке.

Я сглотнул слюну. Кеша придавил мое колено. Вожак ныром пошел по снегу, оставляя после себя глубокую бо-

розду, остановился посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. Донесло противный запах старого козла.

Можно было стрелять.

Но Кеша опять дакнул мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из вылуженной ночи и двинулась в обход нас, на другую сторону зарода. Вожак там был или молод, или менее осторожен — к зароду козы бежали нетерпеливо, будто солдаты с проходящих воинских эшелонов за кипятком. Анжиганы отталкивали друг дружку, перепрыгивали через коз, глубоко проваливавшихся в снег.

Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался к нам из дудочника. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов — дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал, заметил, видеть, куржак от нашего дыхания, возникший на сене, или потревоженный нами зарод, может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами, сопели алчно, взмывали, анжиганишки бодали друг дружку безрогими лбами, хмелея от соленого сена.

Осторожней и осторожней двигался к зароду вожак-гуран. Меня колотило, и я с трудом сдерживался, чтобы не заорать во всю глотку и не пальнуть. Подбористые в талии козлушки и тонконогие козлы пытались послушаться вожака, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородастый зарывался, поддел рогами чересчур резвого анжигана так, что тот отлетел в снег и больше вперед не совался.

Но вот рогатый гуран коротко мякнул — и весь табул смешанной толпой бросился к зароду. Лишь сам вожак прирос к месту, уперся в меня светящимся взглядом, будто пригвоздил к месту. Холодная струйка потекла по желобу моей спины, ни дыхнуть, ни охнуть, даже единым пальцем шевельнуть я был не в силах.

Кеша стиснул до боли мое колено, сыро выдохнул в ухо:

— Его!

А я наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак.

Гурана мне стрелять не хотелось.

Дивен был вожак! Тонконог, грудаст. Рога у него набраны из толстых, к остриям утопшающихся колец — различимо на тени. Голова гордо вознесена, но все равно висит борода почти до снега. И эта борода, и умный покатый лоб, тревожная и гордая поза гурана навевали что-то древнее, легенду о жертвоприношениях, о библейских временах и притчах. Красавец был вожак.

И ночь красива и тиха была.

Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, я должен подчиняться ему. Так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика-брызгалки я попаду во что-нибудь.

Неохотно потянул руку из лохмашки, слабо надеясь, что Кеша остановит меня, сменит решение, я опять суну руку в обжитое нутро собачьей лохмашки, и рука обрадуется еще не выветрившемуся из рукавицы теплу.

Кеша не останавливал меня. Он прикладывался щекой к ружью, установленному на старые деревянные вилы, замаскированные в сене. И я, чтобы не опоздать, чтобы не упустить ту секунду, ради которой мы шли сюда из села в морозную тайгу, сидели здесь чуть ли не половину ночи, начал шарить по гладкой ложе ружья. Пальцы мои коснулись скобы и приклеились к металлу, накаленному морозом.

Я должен стрелять! Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хоттабыча, в эту новогоднюю, зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку!

Ударил я гурана почти в упор из обоих стволов. Задумался, замешкался, козел оказался вплотную передо мной, да и Кеша, приложившись, ждал моего выстрела.

Я ощутил толчок от ружья и еще до того, как вспух облаком черный дым из стволов, успел увидеть в проблеске пламени пружинисто прыгнувшего ввысь вожака. Кешин выстрел сухой лучиной треснул чуть позже. Сбросив с себя ворох сена, Кеша тонко завизжал:

— Есть! Есть! — и помчался от зарода.

Он проседал в снегу, падал, заваливался. За ним волочились полы собачьей дохи, и походил он на неуклюжую росмаху. А по покосу, в беспорядке и панике разбежались козы. Они уходили скачками, проваливались по груди

в снег, блеяли, кричали. Анжиганишки судорожно бились в кустах, ломали их с треском.

Разбежались козы. Мгновенно исчезли в горах, растворились в ночи, в снегу. С деревьев еще какое-то время текла кухта. Но скоро все остановилось, утихло, и снова сделалось покойно в тайге. Лишь белый бугор, исполосованный вдоль и поперек темными бороздами и топаниной, да слабо, как изгоревшие свечки, дымящиеся катышки напоминали о том, что сейчас только что здесь были животные, много животных.

С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Он пытался ползти к лесу, но только выгребал яму в снегу и зарывался все глубже и глубже.

Я бил ему в грудь, и, должно быть, все же угодил, куда нацелил.

Вожак приподнял голову, рванулся еще раз и осел на подломившиеся ноги. Так по-кроличьи, на лапах, лежал он и глядел на меня. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь. Я загородился ружьем, попятился было от козла, но неожиданная ярость ослепила и бросила меня на вожака, я бил по рогатой голове прикладом и, не слыша себя, вопил:

— А-а, шаман! А-а, оборотень! Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал!..

Хрустнула кость. Я проломил вожаку голову, затоптал еще живую, но уже вялую его тушу в снег и все кричал, кричал. Расщепал бы я приклад ружья, если б не подбегал Кеша.

— Ты чё? Снурел? Совсем снурел! — оттолкнул он меня так сильно, что я упал и лежал вниз лицом в снегу, дрожа, но не остывая. Хватив губами мягкого, козьей мочой пахнущего снега, я проглотил его и потрогал лицо рукавицей. Боль вернула мне живое ощущение, я высморкался, утер глаза и принялся заматываться шалью.

А потом сидел на сене-тупой, выпотрошенный, братан вертел в руках тулку и виноватым голосом бубнил:

— Ружье-то тятино, голова! Поломал бы! — неожиданно Кеша наклонился, пошарил и вынул из снега рога.

— Гляни-ко, отвалилися!.. — протянул их мне.

Я пощупал их. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.

— Навно уж отвалиться имя нано, — пояснил Кеша, — а он носил, маялся, помогли мы ему... — и гыгыкнул: —

Трофей по горонскому называется. Отдашь своей шмаре. Возликует.

— Моя шмара рогов не любит, — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, конечно же, как истинный фэззошник, я не удержался, расхвастался — у меня, мол, тоже шмара есть, и не одна.

— А чё любит-то? Конфеты? — вытаскивая лыжи из зарода, полюбопытствовал братан.

— Браслет ей надо золотой. А лучше — пайку черняшки. Да побольше!

— С претензией барышня. Они такие, горонские-то!

— Ты зубы не заговаривай! И не проболтнись... как меня тут родимец хватил...

— Че я, маленький, че ли... — Кеша сочувственно вздохнул: — Нервный ты человек, потому што жизнь твоя с малолетства...

— Н-ну, заве-ол! Еще попричитай, как бабушка.

— И попричитаю. И попричитаю! Я, может...

— Ладно, кончай! Говори, чего делать?

Кеша сопел, промаргиваясь на луну.

— Навай туши связывать! Эк ты его измолотил! Воин!

От Кешиноного избяного ворчанья мне сделалось легче, я стыдиться самого себя начал и хотел как можно скорее уйти с покоса, из тайги этой, мерзлой, чужой, даже как будто враждебной.

Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла, сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и темными, дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз, к Манской речке. Идти на одной лыжине по целику и волочь за собой кладь тяжело. В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись ходчее.

Скоро достигли санной дороги, потопали без лыж. Местами катались под гору, навалившись на мягкие дохи, под которыми моталась голова козла и бородой мела снег. Вся тягость схлынула, как только мы покинули зарод, и я уж радовался, что все так хорошо получилось — с добычей, коз на время отпугнули. Только глубоко-глубоко во мне таилось ощущение, будто в спину вонзился живой чей-то взгляд и, пронзивши меня, не отдаляется, не исчезает, а как бы растягивается все дальше, все тяжелее провисающей над дорогой проволокой, конец которой соеди-

нен с густо темнеющей тайгой и мерцающими в небесах хребтами, где скрылись и залегли в снегах козы в мохнатой зимней шерсти. И в то же время меня все больше глодал стыд за ту слабость, которую я выявил на охоте и которую ни один мой селянин не захотел и не смог бы понять. У нас от века жили охотой, и если ты взял в руки ружье — стреляй. Нет — сиди, как сапожник Жеребцов, на выгтертой седухе, починяй обутки — тоже промысел.

Мы миновали сплавной участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил шорницкую, Дарью Митрофановну — надо будет занести ей на варено-два мяса, вот обрадуется женщина.

Чужая сделалась Усть-Мапа без займок. Казенное место с казенными службами. Но деваться некуда, многие наши односельчане работали здесь, бегая через горы летом и зимой, еще работали на Слизневском лесоучастке, на известковом заводе, на подсобном хозяйстве института, потому как село Овсянка, в котором колхоз так и не удержался, хотя канителились с ним долго, повисло как бы между небом и землей. Но большинство населения продолжало жить от земли: огородом, лесом и рекой, и теперь люди без определенных занятий, как их называли, получивши иждивенческие карточки в сельсовете, не знали, где их отоваривать. Торговая точка в нашем селе, пережив все переходные названия — винополка, потреббловка, казенка, лавка, кооператив, так и не достигнув солидного названия — магазин, переместилась в Слизневский лесоучасток и не скоро вернулась восвояси.

На Енисее дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону — вниз, всегда вниз, всегда по течению, даже зимой, видно, так уж в наших местах наклонена земля. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корежить морозом. Я плотнее закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатали.

По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень Манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленней, тише, вовсе остановились.

Манский бык залит лунным светом. Вершина его металлически блестела. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея.

Обдутый ветрами лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесенного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает — лопается. В углу быка, в том месте, куда веками били две реки — Мана и Енисей, — зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда.

В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо.

У подножия утеса в трещины льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью, на льду там и сям остроуголые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней.

Наверху, за лесистым загорбком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ, роняя тонкие струи. Они катились по корням деревьев, по проточинам камней, стужа на лету схватывала воду, и потому весь утес был в многосложных ледяных наростах. Связки сосулиц висели на козырьках. Должно быть от ржавчины сосульки были желтые, но под луною все они хрустально сверкали. В одном месте на пути ключа оказалась листовенница, и ее так заковало льдом, что ствол до середины был в панцире, на сучьях дерева рядами висели и крошились сосульки.

Вспышки в сосульках и слюдяных жилах, лунное мерцание на вершине утеса, шевеление и треск воды, дерево в панцире — создавали ощущение завороченности, потусторонности мира. Еще никогда не казался он мне таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали.

И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот, под Манским быком, ровно бы пожом полоснула по мне — жизнь моя разломилась надвое.

Этой ночью я стал взрослым.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты чё все бормочешь?

— Стихи. Кеша. Пушкина стихи.

— Стишки-и-и? — Кеша оторопело уставился на меня. — Пойнем отсюнова скорее, — заторопился он и

совсем уже испуганным, настойчивым шепотом повторил: — Пойнем, пойнем!

Долго оборачивался я на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся льдина ударилась о подножие Манского быка, разорвалась шрапнелью, звонкие осколки рассыпались по реке, и снова все замерло.

Но долго нес я в ушах и в сердце гул, звон, грохот, который медленно утишала глубокая снежная ночь и тихое движение воды, кровью сочащейся из груди утеса, которому суждена была тоже роковая кончина, — его взорвут и сотрут с лица земли гидростроители через какие-нибудь полтора десятка лет.

* * *

Со скрипом, бряком вломились мы в теткин дом.

Августа суетилась вокруг нас, помогала раздеваться, спрашивала, всплескивала руками:

— Живы? Шибко замерзли-то? Я все поджидала, вот, думаю, застучат, вот застучат, и задремала... Лезьте на печь...

— Некогда. Мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем.

— Да ну? Вот так удалые охотники! Убоиной Новый год встретим.

Ночью же на кухне мы с Кешей свеживали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бегал по кути, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровисто и ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугушки и уверяла быстрым шепотом:

— Я все приберу... Все обихожу: и голову, и кишки. Ничему пропасть не дам.

Наутре мы покопчили с делом. Полусонные уже, поели картошки, жаренной со свежей, ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки. Я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой.

— Заживат? — спросила Августа снизу, услышав запах старого, затхлого сала.

— Как на собаке.

Тетка приподнялась на приступок, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову:

— Мягче лицу-то будет. — Она хотела еще что-то сказать, но не сказала, а пошарила за кофточкой, достала вчетверо сложенную бумажку и протянула ее мне. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки последние дни не пили молока. ныли, просили есть.

«Зачем ты это сделала?» — хотел я упрекнуть Августу, но ее так легко было сейчас ушибить, и я сказал, что это хорошо. Со справкой, мол, я избежу нагоняя в фэззо. Словно дитя, обрадовалась моя тетка тому, что справка пригодится.

Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе, а когда открыли магазин на Слизневском участке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с четушкой спирта, и сказала, что мы будем пировать.

Пировали вчетвером: я, Кеша, Августа и дядя Левонтий. Тетка Васеня не пришла, ей немоглось.

Прежде чем выпить по первой, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговору, и я не стал куражиться.

— Чего бы на земле ни происходило, а время идет, — начал я. — Наступает Новый год, и никому ничего тут не поделать. И люди тоже, — я взглянул на Августу, — и люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились, и в такое время жить им выпало.

Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала, затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми:

— Ладно. Чего уж там. Запили заплатки, загуляли лоскутки! С Новым годом, мужики! — Она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, поддела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась: — Гляди, Левонтий, племяш-то у меня, а? Скажет, так чисто по-писаному! Заслушаешься прямо! Одну книжку, сказывал, в тюрьме человек сочинял. Калпанела по фамилии. В воде по горло сидел и сочинял...

— Н-ну? — приподнялся с табуретки Кеша.

— Слушай ты ее, — махнул я рукой в сторону Августы. — Будто не знаешь свою лёлку*.

*Лёлка, лёля — Так во многих районах Сибири зовут крёстную.

— Нет. Гуска правильно утверждает, — поддержал Августу дядя Левонтий. — Сельсовет у ее племянша на месте. — И дядя Левонтий выразительно постучал себя по голове.

— Да будет вам! — пресек я эту тему и потряс бутылкой так, чтоб в ней забулькало. — Давайте еще по одной.

— Говорят, нуша милей ковшу! — поддержал меня Кеша. — А нонче ковш нороже нуши.

Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала нас, дядю Левонтия, девчонок мясом:

— Ешьте, ешьте, хозяйку тешьте!

Пестрели половики в горнице. Кровать с бойко взбитыми подушками, с кружевной зубчатой простыней, словно бы подбочениясь, шагала куда-то на четырех ножках. На угловике скатерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели — отрубил кто-то и выбросил — не вмещалось дерево в избе, а тетка подобрала вершинку, поставила в горнице и клочья ваты на нее набросала.

Хорошо-то как в избе. Празднично!

Много болтал я в тот день за столом смешного. Тепло было в избе и душевно до того, что Кеша закрыл глаза, скривил рот и затынул: «В воскресенье мать-старушка». Но всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна, и сразу все начали сожалеть, что нет ее с нами за столом. Грустные песни сегодня петь не надо, веселые не к разгу, да они и не приходили на память, веселые-то.

И чтобы поправить испорченное настроение компании, взялся я рассказывать, как перепутал с морозу жепщину с мужиком в Собакинском совхозе и как шорничиха кашляла, отведав табаку «Смерть Гитлеру!».

Получилось у меня смешно.

Девчонки хохотали вместе с нами. Я пощекотал Капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. Они с хохотом и воплями забились под кровать. Кеша и дядя Левонтий покатывались тоже и, как только девчонки объявлялись на свет, запевали: «Идет казара по большому базару, до кого дойдет, того забодет, забодет!» И не знавшие никаких игр и забав сестренки с топотом, вроссыпь бросались по углам, даже Лидка подпрыгивала в зыбке и взвизгивала.

— Ну, эту рыжу седня не уторкать будет, — разморен-

но качала головой Августа. — Не уторкать. Девки! Будет вам, будет! — несердито унимала она. — Наигрались уж.

Но Лийка с Капой еще долго не могли уняться, вертелись вокруг стола, теребили дядей.

Раскрасневшаяся, в пестреньком ситцевом платке и в такой же кофточке, Августа сидела, облокотившись на стол, и просила:

— Вы поговорите, мужики, поговорите или попойте. — Она уже не вынимала шерсть изо рта, и серая земля с губ ее почти стерлась.

Одну беду над моей теткой пронесло. Она потянет тяжелый свой воз дальше, одолевая метр за метром многими русскими бабами утопанную вдовью путь-дорогу. Но каким-то наитием, шестым или десятым чувством, там, в ночной остановившейся тайге, я постиг — война будет долгой, и на долю нашего народа, стало быть, прежде всего на женскую долю падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и посильны.

Лучше других знающий свою тетку, даже я дивоваться стану, как она выдюжила лихолетье и сохранила детей. Коровы семья все же лишится — весной ее променяют на семенную картошку. Лесоучасток умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку, откуда она переберется к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес и до конца войны, пока не пригонят в наше село пленных японцев, по грудь в снегу, вместе с вербованными и арестантами будет волохать в тайге. И вот наконец-то легкая бабья работа — Августа наймется стирать на военнопленных.

Зубоскалка и добрячка, она быстро «отошла» на легкой работе, и жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. Даже в плену японские офицеры объедали солдат, заставляли работать за себя, выполнять и офицерам назначенную трудовую норму. Один офицер особенно лютовал, бил солдат палкою — рук не хотел марать. Бил он и того солдата, который помогал Августе носить воду с Енисея в прачечную.

— И зубит моего япошку, и зубит. А солдатик-то очкастенький, ростику небольшого, Яшей я его звала, поихнему — Ямага, да выговаривать неловко, вот я и звала

по-нашему. Да што ты, говорю, ему поддается? Дай ты ему хоть раз по морде. Нельзя, говорит Ямага, офицер, самурай... Мне чего... самурай? Зачал бить как-то мово помощника, я вырвала палку да по башке самурая, по башке! Собирался он повеситься от бесчестья, сказывал Ямага, да не повесился, уехал с пленными домой. Жить-то всем охота, и самураям тоже...

И после веселого рассказа о пленных, давши мне отдохнуть, глядя куда-то поверх меня, тетка, треснуто и безоружно рассмеявшись, сообщает:

— А муженька-то я зря оплакивала. Жив-здоров товарищ Петров! Нашел себе помоложе, покраще... — Оказалось, Тимофея Храмова не убили на войне, он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее.

Я, вроде бы уж все перевидавший и переслышавший, не верил тетке — надругаться над похоронною — самым святым документом, да еще в начале войны, большую сообразилровку надо иметь. Это уж потом, когда войско на войне сделалось пестрое, кадровых вояк почти не осталось, всякая тля, проходимцы и ловкачи и на войне начали устраиваться.

Августа кротко вздохнула, сунула руку за надбровник окна и подала мне письмо:

— Вот, погляди, полюбуйся!

Письмо было от сестры Тимофея Храмова, которая и сама не верила происшедшему, пока не съездила к братцу в гости, а съездив и все узнав, сказала ему в глаза, что нет у него ни стыда, ни совести, и она его «больше за брата не считает...»

Да-а, новости! Впрочем, я-то зачем и чему удивляюсь? Мне-то, как любил выражаться мой папа, «в патури» известно, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Тимофей Храмов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас — окопников — на фронте родилась поговорка: «Для кого война, а для кого — хреновина одна».

Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходят. Один мой фронтовой товарищ утверждал, будто за всю человеческую историю ненаказанными остались всего несколько подлецов, не больше десятка, заверял оп. Если не живых, то хотя бы мертвых подлецов настигало возмездие. Рок то или не рок, судьба то иль не

судьба, может, и простое совпадение — Храмов все-таки погиб: упал лесопогрузочный кран и задавил его.

Пора заканчивать рассказ. Но тянет вернуться в жарко натопленную избу, за новогодний стол, где мы сидели, осовевшие от сытой еды, от жидко разведенного спирта. Девчонки до того разошлись-развеселились, что сплясали нам. Мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. Девчонки же пристали с просьбой спеть песню, какую всегда пела из подхалимских соображений самая хорошенькая из бабушкиных внучек, тети Любина Катенька:

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать,
Невысоко-недалеко,
Чтобы бабушку выдать...

По большому носу дяди Левонтия, захмелевшего от такой малой доли выпивки, покатались слезы. Швыркнул носом и протяжно выдохнул Кеша:

— Н-на-а-а...

И мне глаза жечь начало.

— А ну вас! — сказал я и полез на печку.

Сквозь сон слышал, как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий.

— Не лезь ты к нему, не лезь! — настойчиво отдергивала его тетка. — Ему скоро в фэззу свою идти.

«Верно, пора. Отвыкать начал», — вяло подумалось мне.

Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой, ронял на лицо мое теплые слезы и в который раз заверял, что любит потылицыньских пуще всякой родни, и если бы была здесь его дорогая соседка Катерина Петровна, он обсказал бы ей все, и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу, и если соседка честила его иной раз, так за дело — шибко неправильно жил он в прежние времена, шибко.

Дядя Левонтий все же отлип от меня, но я какое-то время слышал еще, как вполголоса разговаривали Август с Кешей, однако голоса их постепенно отдалились.

Сон мне снился все время один и тот же, точнее, сначала ничего не снилось, потом елка, а елка, было мне известно из старой книжки, снится к женитьбе, и хотя во сне дело было, все же я притих в себе, ожидая, как это будет выглядеть. Но вместо одной елки образовался колючий ельник — это уж к сплетням. Потом пошло-поеха-

ло: голый мужик — ну, это ничего, это к радости, глядь, а он на деревянной ноге — дальняя дорога, глядь, двери — это к смерти. Я побежал от смерти, упал, провалился куда-то и летел, летел в темную, бесконечную пропасть, ударяясь о что-то твердое. И сердце устало, и весь я устал и готов был хряснуться обо что-нибудь, разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в пустой темноте. Измученный, задохнувшийся, услышал я наконец детский плач, полетел на него и проснулся.

Капа, втиснувшись за трубу печи, дрожала и плакала. Я хотел погладить ее по челке, но она боязливо втянула голову, сжалась вся.

— Что ты, что ты! Не плачь, не бойся.

Я свесился вниз. Никого дома нет. Кеша ушел. Лидка спала. Лия с Августой, должно быть, отправились доить корову и сунули Капу на печку.

Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пулей вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз. Капа, малое дитя, перестала плакать и сама принялась обучаться фокусу у дяди-фэззошника.

Осторожно начал выведывать я у Капы, чего она так испугалась, и Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками.

Тяжело мне, видать, одному было, и я кричал во сне, звал людей на помощь.

1966, 1988

СОРОКА

Возвращаясь домой, в Рейкьявик, после получения Нобелевской премии, Халлдор Лакснес давал в Лондоне интервью, и один ехидный английский журналист спросил его: «Правда ли, что в Исландии каждый четвертый ребенок незаконнорожденный?» Писатель ответил вопросом на вопрос: «Правда ли, что Англия занимает одно из первых мест по смертности детей?» И, смягчая обстановку, может быть, и блюдя законы чопорного английского этикета, потомок славных викингов заявил, что он приветствует жизнь в любом ее проявлении и ненавидит смерть в любом ее виде...

Прочитавши об этом, я сразу вспомнил взволновавший меня когда-то рассказ о том, как один человек, едучи на теплоходе от Дудинки до Красноярска, за рейс, продолжающийся неделю, сумел жениться четырнадцать раз!

В ту пору я еще мало чего смыслил в женительных делах и особого значения двузначной цифре не придал, меня больше интересовал сам ход сватанья и женитьбы, быговая, так сказать, сторона вопроса, потому что легендарной личностью был не кто иной, как мой родной дядя Вася, по прозвищу — Сорока. По моему разумению, дядя Вася мог жениться и двадцать, и тридцать раз за рейс и никакой паники среди пассажиров не вызвал бы, разлада в работе теплохода не произвел. Я гордился успехами дяди!

Когда я подросток и мне показалось, что могу задавать людям любые вопросы, спросил дядю Васю насчет того удачного рейса по родной реке. Он провел узкой ладонью

по моим волосам, по лбу, по глазам, по носу, как бы непароком утер мне губы и, сияя золотом, обнажил зубы в снисходительной улыбке:

— Четырнадцать раз?! — Дядя погрузился в размышления, что-то подсчитывая и уточняя. — Два раза в сутки? Нет! — вздохнул он с прискорбием: — Не-возможно! Технически невозможно.

А был дядя Вася из нашей родни, хоть с одной, хоть с другой ее стороны, — самый технический человек: бракер на лесобирже, что к чему в работе или там в жизни — разбирался. Я ему поверил. Я всегда и во всем верил моему дяде. И все верили. Порой опрометчиво, особенно женщины, но куда же им было деваться-то? Не верить Васе было нельзя, не любить его — невозможно.

* * *

Дядя Вася, Сорока. Что я знаю о нем? Мало, слишком мало. Ах, если б все сначала! Если б повторить жизнь! Даже писем Васи не сохранилось, лишь фотографии остались, много фотографий — он любил фотографироваться, любил наряжаться, любил нравиться, любил плясать, веселиться, хохотать, озорничать — мой дядя любил жизнь в любом ее проявлении.

Первая фотография: Васе лет четырнадцать-пятнадцать. Снят он вдвоем с деревенским дружком — Федором Скоковским. Судя по тумбочке и заднику — занавеска с наклеенным на нем букетом цветов, — фотографированы друзья в Красноярске. Вася в шелковой, мешковато на нем сидящей, «на вырост» шитой рубаше, по вороту которой вьется едва заметная вышивка. На голове у Васи большой картуз, уже обретающий формы кепи, с ремешком по тулье, и на самом лбу картуза, должно быть, для фасона, прилеплена медная пряжка. Наверное, дед мой, Павел, по дешевке отхватил шикарную фуражку на базаре при распродаже барахла прогоревшего эппмана. Явственно вижу, как дед долго и сосредоточенно примеряет кепи у треснутого базарного зеркала, то откидывая ее задиристо вверх, то приопуская козырь головного сооружения на возбужденный торговлей зрячий глаз.

Я потому так много о Васином наряде, что сам он на фотографии «не глядится», еще остренько, простовато лицо, еще напряжен и скован его взгляд, еще мослата и детски слаба рука, держащая спинку стула. Чуть, только

чуть искрит, даже не искрит, лишь брезжит в глубине взгляда улыбочка, настырность ли человека, устремленного к полной пезависимости, к дух захватывающему полету неизвестно куда — лишь бы вольно было, лишь бы дышалось и жилось в радость.

Дальше — больше. Вася с друзьями, Вася с девушкой — дальней родственницей. Вася с двоюродным братом. И на всех фотографиях видно, как крепнет он небольшим телом, как ладнее и ладнее на нем наряд, как ярче выявляются, сияют, точно после здорового ребячьего сна, никогда для меня не гаснущие глаза.

И обрыв...

На какое-то время прекращается фотолетопись.

* * *

В тридцать первом году вся семья деда Павла была вывезена в Красноярск, на переселенческий пункт, который я описывать не буду, он известен полнейшей беспорядочностью, доморощенной сибирской злобой, которая лютей всякой привозной, и неизвестностью. Васе же исполнилось шестнадцать лет, и его вместе с отцом продержали в тюрьме до осени, как совершеннолетнего. Тысячи здоровых, позарез нужных заполярной стройке мужиков продержали до последнего парохода.

За старшего в семье ломил на лесобирже рубщиком второй мой дядя — пятнадцатилетний Ваня, и с него, как свидетельствует расчетная книжка, делались вычеты, как и со всех спецпереселенцев. Посадили кормильца, обозвали «элементом», да еще и «вредным», вот и пусть с четырнадцати лет кормит и содержит этот «элемент» мордатых и беспощадных дядей с наганами. Мудрая ж политика — уничтожат, а потом спохватятся: «Ах ты, разакты, опять перегиб! Опять нас, наставников, охранителей передовой морали и строгого порядка, кормить некому! Сыскать мужика! Куда-то спрятался, хитрован? Мы за него работать должны?!»

Вася по совету Ивана подался на лесокомбинат, но вскоре увильнул от ломовой работы на бирже, поступил на курсы бракеров и с тех пор более физическим трудом не занимался. Дед Павел, как и ожидалось, засуетился в роли распорядителя по подрядным работам, то плотничал, то печки клал, то пушнину принимал, то в порту лодочной базой ведал, но, не поборов соблазна, устремился

в коммерцию, начал торговать в овощном ларьке, где, как я уже говорил, и потерпел полный крах.

* * *

Первая игарская фотография дяди Васи. Простой, без букетов занавес, без всяких загибов и архитектурных излишеств стул. На спинку его твердо опершись рукой стоит дядя Вася. Ему восемнадцать. Волосы зачесаны назад, белая рубашка застегнута на все пуговицы, не по росту большой, мятый пиджак, и по тому, что он мятый, можно заключить — с чужого плеча, — никогда и нигде больше не увижу я Васю мятого, неопрятного. Брюки галифе, хромовые сапоги старого покроя, с высоким голенищем и закругленными передками, не форсистые «джими», эра которых только еще надвигалась, а наступив, много лет волновала сердца модников, да и по сей день нет-нет зайдет о себе.

На этой, пока еще простенькой фотографии знакомый мне уже вживе человек. Гордо, с чуть заметным вызовом молодого петушка вскинута голова, да слаба и тонка еще шея, однако лицо обрело формы законченные, мужские. Но над всем «мужским» и «суровым» властвует нежность, которую так давно и упорно отвергаем мы и осмеиваем оттого должно быть, что даруется она природой редко кому, в особенности по деревням, среди крестьян, заезженных вечной тяжелой работой. Природа-матушка штампует, вырубает, склепывает нашего брата и вдруг вспомнит: да есть же у нее инструменты и потоньше топора или молотка, и для собственного удовольствия, для отдыха иль для проверки — не разучилась ли она еще творить вдохновенно? — возьмет и трепетными пальцами вылепит и раскрасит что-нибудь этакое, до чего и взглядом коснуться боязно.

Откуда бы у деревенского парня, почти не помнящего матери, выросшего в доме гуляки и картежника-отца, почти без догляда и обихода — этакая «дворянская» тонкость и чистота лица? Горделивая осанка? И так ему никогда не изменившая «интеллигентность» в одежде, да и в манерах обращения, в особенности с женщинами, из-за которых он много горя принял, но еще больше они из-за него.

Еще фотография. Еще одна страница жизни дяди Васи. Больше уверенности в себе, характер тверже, ярче разгорающиеся глаза, на фотографиях — темные, наяву —

шоколадно-коричневые, с шоколадным же, неуловимым блеском в заманчиво отполированных зрачках, в которых не светятся, пляшут бесенята, беспокоя и распирая взгляд удалю. Так и тянет заглянуть за обрез фотографии, рассмотреть — что там, за нею?

Но никогда и никого не пустит Вася себе в душу, да, наверное, и не тянуло никого особо-то заглядывать вглубь — слишком много привлекательного, ослепляющего было наруже.

Нынешним, уже много видевшим глазом и даже не глазом, вторым зрением, годами выстраданным опытом, я угадываю — слишком все же быстро повзрослел Вася — в восемнадцать лет полная независимость, спокойное достоинство человека, зарабатывающего свой хлеб, но в уголках смешливого рта как бы закушена и обращена в легкую улыбку чуть заметная горечь. Да ведь и то заметить: не каждому юнцу ни за что, ни про что доводилось валяться на общих тюремных нарах, кормить вшей, хлебать баланду, раз в месяц мыться в городской бане — артельно из одной шайки, плыть неизвестно куда под конвоем, который особенных жестокостей не проявлял, но на берег не пускал и после каждой пристани, на всякий случай, пересчитывал по головам вверенную ему команду.

Игарская лесобиржа. Штабеля досок, будто домики, амбарно покрытые односкатной крышей. Меж штабелей бригада молодых укладчиков в спецовках. Работяги держат доски кто торчмя, кто в беремя, и все чему-то смеются. Фигурки маленькие, тусклые, в одной из них — по сверкающим зубам — с трудом узнается дядя Вася. Истощенный тюрьмою и дальним путешествием, он маялся зимой цингою, частью потерял, частью починил зубы, но я считал, что золотые зубы были вставлены для красоты. Не я один ослеплен был блеском золота, сколько девчоночьих и бабьих судеб перекусил, как нитку, теми зубами любимый мой дядя!

Снимок возле управления лесокомбината. Народ все солидный, в себе уверенный. Но среди конторских Вася не потерялся — при шелковом галстуке-трубочке, модном тогда, прическа «политика», взгляд чуть притушен сознанием занимаемого положения — он «служащий», ведает целым отделом в комбинате, ведет курс бракеров на вечерних курсах. Жизнь дяди Васи отлажена, начальство сулится переселить всю семью деда Павла из барака в отдельный домик, самого «служащего» снять с комен-

дантского учета. Бабушка из Сисима простерлась мечтой в сладкие дали: Сорока, глядишь, вовсе остепенится, женится, домой приходить станет вечером, а не наутре и хоть раз по-людски поест, выспится.

Но таланты, таланты! Сколько от них беспокойства человеку? Родове моей по линии деда Павла в особенности. Лихой был плясун дядя Вася! Когда в служащие вышел, города хватил, овладел модными танцами, слух был, что по части танго и вальса, где надо как можно шибчей вертеть и заламывать партнершу, равных ему на Игарке не было и не скоро нашлись бы, если б сам он не разрушил наладившуюся карьеру.

Дяде Васе восхотелось не просто кустарно танцевать, но делать это для радости народа, организованно, и он записался в танцевальный кружок лесокомбинатского клуба, где тут же всех танцоров позাগонял в углы и сам возглавил кружок. Восхищенные игарские жители прочили тому кружку лететь по весне на краевой смотр «народных талантов», будто бы даже и бумага заготовлена была на счет реорганизации самодеятельного кружка в ансамбль песни и пляски, и, кто знает, может, прославленный красноярский ансамбль танца явился б свету десятками лет раньше, мой дядя вышел бы в знаменитые деятели искусств? Но...

Загулял Вася. Натурально загулял, как это делали буйные люди — отец его, стало быть, мой дед Павел, или как старший братец Васи, стало быть, мой папа. Пировал Сорока в ресторане, на виду и на слуху всего города. Папа мой клянется-божится: если б он не выкупил братца Васю, не миловать бы тому «белого домика», который, кстати, в Игарке никогда белым не был, он, серый от суровых заполярных ветров и стуж, размещался за таким плотным и высоким забором, что виднелась лишь горбина крыши — бракованные пиломатериалы девать некуда.

До ресторана события развивались так: Вася привел в лесокомбинатский клуб ухажерку «интеллигентского происхождения» — к такого рода барышням он испытывал болезненную тягу, должно быть, хотелось ему стереть окислившуюся медь деревенских копеек о золото городской высокой пробы, и, конечно же, как «свой человек», попер папропалую без билета в зал, набитый танцующим народом. И все обошлось бы, если б черти не унесли по нужде контролера и вместо него не встал бы в двери молодой парень, как после выяснилось, осодмилец. И эти-то мину-

ты, в которые приспичило клубному работнику, решили судьбу моего дяди — осодмилец преградил вход рукой. Вася, будучи от природы человеком горячим, еще и перед барышней хотел бравость показать — преграду отбросил и поспешил в залу следом за барышней. Работник милиции метнулся за нарушителем, схватил его сзади за воротник, говоря иначе, за шкирку, не зная, что вот этого-то с собою делать Вася никому и никогда не позволял, — он с разворота вмазал в глаз осодмильцу, дальше уж заработала порода!..

Схватиться бы Сороке за голову, зажать ее, буйную, руками, задуматься, к властям бы с повинной, а он что делает? Отпущенный из милиции под расписку, отправляется во второй переселенческий барак, наряжается в новый костюм, минуя управление лесокombината, где уже был заготовлен, но еще не вывешен приказ о снятии его с должности, — надеялись, зайдет, покается, с милицией вопрос можно утрясти, — минуя родную контору, Сорока летит в ресторан, устраивает пир и спускает все деньги, приготовленные на обзаведенье в «новой фатере».

Одной только посуды, как утверждает мой папа, перебил Вася в натуре на семьсот рублей.

Я несколько настороженно отношусь к названной сумме: мой папа имел склонность к преуменьшениям, с одной стороны, и к преувеличениям, с другой, — он всегда почему-то обсчитывался в детях, живя с мачехой, забывал шестого дитя, то есть меня, пребывая в моем доме, сбросил со счетов пятерых детей, нажитых с мачехой, — едва ли во всех заведениях игарского общепита в те годы набралось бы на семьсот рублей посуды.

* * *

Пробуксовка, смутность, выпадение времени, и... мятежный дядя оказывается в Норильске, не в качестве заключенного, как этого следовало ожидать, но вольнонаемным кадром — чего-то там он в Норильске тоже вроде как возглавляет.

«Свое слово», должно быть, сказал доктор Питиримов — человек в Игарке уважаемый, перед которым, догадываюсь я, бабушка из Сисима ползала на коленях, спасая непутевую птицу — Сороку, — очень уж виновато в последующие годы мой дядя чувствовал себя перед мачехой, избегал жить под одной крышей с нею, хотя находил

время ей писать, называл в письмах «мамой», не забывал помогать и деньжонками.

Еще одна фотография, самая моя любимая: где-то в Норильске, в общежитии, взметнув ноги на спинку деревянной кровати, лежит Вася в сатиновой черной рубаше-косоворотке с расстегнутыми белыми пуговицами, трезвый, благодушный, забывший о пережитом в Игарке событии, улыбается ребячьи легко, ножки босые, огромные, я всегда смеялся, не понимая, как это ноги получились крупнее самого Васи, и лицо его в сравнении со ступнями что голубиное яичко в лапте.

Еще одна, мало известная страница жизни моего дяди — курортная карточка. Приодетый народ стоит на широком крыльце санатория. Под снимком бултыхающееся в русском горле слово «Цхалтубо».

Вася мотанул из Норильска! Нет, не в бега. Ему дали путевку на курорт, стало быть, и временный паспорт — оборотистому парню этого вполне достаточно, чтоб «закрепиться» на магистрали и наезжать в Заполярье только в качестве гостя.

Пока же восседает мой дядя на мраморном крыльце в элегантном сером костюме, при модно повязанном галстуке, волнистый его чуб треплют кавказские теплые ветры. Обхватив за талию уверенной рукой самую в толпе курортников видную деваху, с толстой косой, кинутой на грудь, дядя Вася интимно приник к этой косе ушком, и по лицу его угадывается: слышит, чует, какие тайные бури разрывают сердце красавицы.

* * *

Вот и все карточки, какие перешли ко мне от покойной бабушки из Сисима. Настала пора рассказать и о многих с дядей Васей встречах.

Ярче других запомнилась первая.

Я снова болел малярией. Вечером в доме гуляли, мачеха с отцом долго, заполошно орали, потом дрались. Я их разнимал. Хозяин разнимать устал, залез на полати, оставив «на фатере» нашу семейку лишь до утра. В поздний уже час я бросил на пол какую-то лопотину, стянул ряднину с хозяйского сундука, укрылся ею и попробовал уснуть. По полу от двери тянуло холодом. Меня знобило. Наутре я все же забылся. Придавленный тяжелым сном, обмороком ли, я, хоть и отдаленно, слышал ходьбу, говор

и среди голосов выделил незнакомый, но уже чем-то мне родной голос, как бы сдавленный журчанием в горловине, с легкой хрипотцой. Впоследствии я узнаю: говорят и дышат горлом от хронической простуды, неперенная это награда севера. Но тогда я сразу узнал голос моего дяди, хотя не помнил его, считай, что и не видел еще, — когда высылали наших в Игарку, я был еще очень мал и никого, кроме деда, не запомнил, да и не самого деда, а белую повязку на его глаза.

Я открыл глаза: за столом, возле горячего самовара, обставленного вокруг тарелками, сидела небольшая компания, в центре ее — узкоплечий, красивый парень с припущенным галстуком, в расстегнутой на одну пуговицу рубашке с серебряно сверкающими запонками. Он ругал моего папу, сердито подрагивая губом, — защищает меня — догадался я и, тихо поднявшись, обнял за шею незнакомого, чисто одетого, приятно пахнущего духами дядю. Он осторожно и неумело гладил меня по голове и тихо, сдавленным журчащим голосом говорил мне какие-то добрые слова.

— У-у, сволочь! — погрозил он кулаком моему папе, в отчаянии обхватившему голову, скорее — разыгрывающему отчаяние.

— Поругай его, поругай, Василий Павлович, — поощряла мачеха. — Худо содержит родное дитя, пирует, с женой дерется...

— Замри, как муха! — приказал мачехе папа и скрипнул зубами. — Н-нет, па-ачиму, па-ачиму я в натуре не разбил свою голову о каменную тюремную стену?.. — И стал колотиться лбом о столешницу так, что заподпрыгивала и забренчала посуда.

Мачеха качала головой, глядя на дядю Васю, посмотри, мол, полюбуйся на братца. Вася смотрел, смотрел, вздохнул печально и попросил хозяина не выгонять нас на улицу хотя бы ради хворого парнишки.

— Токо из уважения к тебе, Василий, потерплю еще эту погань!..

В тот же день вечером Вася уплывал в город, и, когда прижал меня к себе, я, совсем уж отучившийся что-то просить у людей, глухо ему сказал:

— Возьми меня с собой!

Вася долго молчал, не отпуская меня от себя, и наконец тяжело выдохнул:

— Некуда мне тебя брать...

Я повернулся и с плачем побежал по раскату на яр, в заулке оглянулся: возле осиновой долбенки, бессильно распустив яркое кашне, стоял, поникнув головой, мой любимый дядя.

На денек заскочил он в родное село, осветил мою жизнь, как красно солнышко, и уехал, а папа загулял пуще прежнего, обзывал Васю обидным словом «курортник», сулил ему при случае «полвзвода» зубов вышибить. Он пропивал денежки, оставленные Васей мне на катанки, на рубаху и пальтишко к зиме, о чем доподлинно было известно хозяину избы, который вскоре все-таки выгнал всю нашу семейку на улицу.

* * *

Сошлись мы с дядей Васей вновь после того, как я поступил в ФЗО. Работал он в ту пору в Базайском доке бракером — это рядом со станцией Енисей. Я отыскал дядю и, пока не были построены общежития, квартировал у него, хотя и сам он обитал постояльцем в доме знакомого мужика, ушедшего на фронт.

Хозяйка работала не то заведующей детского садика, не то воспитателем. Я даже не знал, как ее зовут, не запомнил ее лица — что-то блеклое, тонкоголосое, прячущее взгляд. От возникшего к ней недружелюбия прозвал я ее Михрюткой-лярвой. Лярва — на уличном жаргоне — потаскушка, но что такое Михрютка — не знаю. Воображение рисовало малую зловредную зверюшку, вроде тундровой мыши-пеструшки или облезлого суслика, выглядывающего из норы. Чтобы хоть как-то отработать жидкий картофельный суп, который для меня выставляли в чугулке на плиту, койку, которую оставили за мной в комнате за печкой, я колол дрова, подметал пол и однажды обнаружил: огород-то, в гектар почти величиной, совсем не убран.

Все в этом доме и по-за ним делал хозяин, работавший в доке шофером. Михрютка-лярва была ленива и блудлива, и потому хозяйство разом шатнулось, пришло в дикость и запущение: стайка распахнута настежь, корову постоялец с хозяйкой сбыви; судя по перу, мокро приклеившемуся к деревянному настилу, по вони, долго держащейся во дворе, были в хозяйстве куры. И свинья была. Были да сплыли. Огород, забранный плотно сколоченным штакетником, весь в слизи картофельной ботвы, убитой

иньями; на темных кустах висели неснятые и тоже почерневшие от холода помидоры; на пышных от назыма грядах обнажились переспелые огурцы. Лишь свежо струилась зеленой морковная гряда; краснела свекла; выперли из земли и в недоумении глядели на белый свет потрескавшиеся от натуги редьки; брюква шатнулась ботвой в борозды; капуста белыми башками наружу торчала из зеленого ворота листьев. Все это бесценное по-военному времени богатство было чуть поковыряно у воротцев, ведущих со двора в огород, да выкопаны десяток-полтора рядков картофеля на широком, хорошо удобренном загоне. Гряды с лакомой овощью: морковкой, репой, горохом, маком — притоптаны — сюда мимоходом, догадался я, изволил забредать постоялец, испробовать земных плодов. Давно уж пребывал он в пределах того человеческого сословия, которое пьет, ест и ругается, что кормят и поят его слабо. Дядя мой делал вид, будто напрочь забыл о земляной и грязной работе, изображая белоручку в первом колене среди нашей родовой.

Как и всякий бедный родственник, я уважал в нем эту особенность и взялся убирать овощ с огорода.

Вышел однажды совсем не рано поутру, минут всего за двадцать до смены, мой дядя, беспечно зашуршал струей с высокого резного крылечка по лопухам, насвистывая мотивчик «Рио-Риты», наблюдал за моим неспорым трудом.

— Одному тебе тут до конца войны хватит, — передернулся мой дядя на осеннем, еще не набравшем силу холодке. Сбегав к речке Базаихе — ополоснуться, дядя стриганул мимо меня, взлетел на крыльцо и крикнул, спеша в тепло: — Мобилизуй братву!

Я так и сделал — мобилизовал фэзэошников, пообещав им картох от пуза, хоть печеных, хоть вареных. За день молодые силы трудовых резервов в охотку убрали все подчистую в огороде, ссыпали картошку в баню — на просушку, остальную овощь стаскали в подвал. Весь тот день рокотал в бане котел.

Вспоминая дом, недавнее детство, сытую предвоенную жизнь, намолотилась братва вареных картошек с крупной солью до отвала.

Хозяйка явилась, заглянула в баню, принюхалась и шевельнула бледными губами:

— Платить нечем, — она вроде бы и недовольная была

тем, что мы на нее работали. Повременила и добавила: — Хотите, возьмите картошек.

Ребята нагребли мешок картошек и утащили его с собою, а я, ополоснувшись в бане, сидел в боковушке, усталый, разбитый, ждал Васю, чтоб потолковать с ним и распрощаться. Да не дождался, уснул, и сколько проспал, не помню, как услышал перебранку за перегородкой:

— Я от ребенка не откажусь, хоть он и Гешкин...

— Да-а, не откажешься! — прохныкала хозяйка. — Кобель и кобель...

— Тишь ты! Услышит! Он у нас...

— Рвань! Шпаны понавел... Еще сопрут чё...

— Они тебе огород убрали, а ты? — И Вася, как бы обессилев, вздохнул: — Как бы тебя самое не сперли!.. — Хозяйка заширкала носом, но, словно не слыша бабьего хныканья, дядя мой веско добавил: — А обзывать не смей! Его и без тебя...

Они еще о чем-то говорили, тише, смиренней. А я, расстроженный дядиными словами, снова начал было погружаться в усталый сон, как послышалась возня за стенкой: «Дерутся!» — вскинулся я всполошенно и по привычке, нажитой в удалой нашей семье, хотел было уже броситься разнимать людей, но шум за стенкой обрел умиротворенные черты — слышались шепот, смешки. «Да они же!..» — осенило меня.

То-то я не мог отгадать, где Вася спит? Почему нет нигде его постели? Не я ли оттяпал у него койку? А тут вон оно что! Идет ожесточенная война. Муж на фронте кровь проливает, а Михрютка-лярва срам в тылу творит! «И наш гусь хорош. С женой фронтовика! На его кровати!..»

Возмущенный до глубины души, я хотел сей же момент сойти с квартиры и ночевать на вокзале. Но вокзал на станции Енисей маленький, забитый до потолка утекающим от войны народом, на улице студено, темно и страшно, убийства начались, слышал я, и решил подождать до утра. Но утром проспал и дядю, и хозяйку, и занятия в ФЗО.

Без спроса и без прощания, не поблагодарив моих благодетелей за приют и хоть слабенькую кормежку, уйти, считал я неловко, и живот у меня с картошек совсем расстроился, и общежитие в ФЗО еще не достроено, не спать же вповалку в красном уголке служебного корпуса, вместе с бездомной братвой, когда есть угол, да еще за теплой печкой.

Словом, я подзадержался в поселке Базаиха, хотя презирал в душе и дядю, и хозяйку, и себя. Вася не замечал моего к нему охладевшего отношения, хозяйка после того, как я вымыл в доме пол, побелил печку и нарубил капусты для засолки, накормила меня жареной картошкой с мясом и разрешила брать из кадки соленые огурцы, которые я быстренько и перетаскал братьям фэзэошникам, все больше удивлявшимся скупости, бездушию хозяйки и моему такому долгому терпению. Я, по их мнению, давно должен был перетаскать и продать на базаре картошку, так как она по существу наша, и на вырученные деньги купить себе одежонку, чтоб не сверкать «очками» заплат на заду штанов.

Пока я склонялся к мысли так и сделать, достроили общежитие и вот-вот должны были расселять по комнатам. С облегчением сообщил я об этом дяде, идя с занятий и перехватив его на пути с работы.

От дока до дома Михрютки-лярвы путь недалекий, с версту, не более, но он у нас получился такой длинный и содержательный, что я и по сей день его забыть не могу.

Дядю моего беспрестанно останавливали какие-то люди, здоровались, хлопая по плечу, говорили скабрзости, на всю улицу разносился бодрый, жеребьячий хохот. Девицы шмыгали мимо дяди, краснея под его разящим взглядом, либо вскидывали руку, кричали приветствия. Иные, раскинув руки, шли на него, и он понарошке увиливал вправо, влево и, как бы запнувшись, рушился в объятия, лез куда попало рукой. Мне было стыдно, завидно, только любопытство и злорадное чувство насчет Михрютки-лярвы утешали меня — хнычет, ждет небось постояльца, а он резвится. Словно желая меня добить, дядя свернул в доковскую столовую, в центральную! Столовая, по всем видам, была закрыта, но Вася завернул за угол, провел меня меж бочек, ящиков, полениц, мимо злой собаки, в какую-то хитрую дверь и когда ее дернул — опахнуло меня густым паром, спертым духом преющего дерева, гнилых овощей, прокислой капусты, соленых грибов, чего-то тухлого, порченого. Стулья, лавки и столы были опрокинуты на одну сторону зала, вторая половина толсто завалена желтыми, чистыми, свежешпахнувшими опилками. Уборщица толкала опилки пехалом, будто грязный весенний сугроб, за нею, махая метлой, кашляя и

матерясь, волокся пьяный мужичонка, будто вел прокос по широкому полю, пахнущему обувью, мочой, нечистотами.

Поздоровавшись с уборщицей, с мужичонкой, Вася углубился в полутемный коридорчик, заставленный бочками, мешками, ящиками с очистками. Боясь отстать, я спешил за ним, и, поскольку никаких тайных ходов общепита не знал, ушиб колено, порвал рукав телогрейки о гвоздь. Впереди сгущались мрак и запахи, нарастало бряканье посуды, стук половников, ножей, слышался женский переклик, будто в лесу, и вдруг мы оказались на кухне, догадался я, потому что перед нами китайской стеной встал бок кирпичной печи. На печке той, под потолком, в застиранном колпаке, в мокром фартуке сидела пышногрудая девка, совала швабру куда-то вниз, в пары преисподней, и болтала ею — моет котел, догадался я.

— Валюха, приветик! — крикнул ей Вася.

Заблажив: «Ой, кто к нам пришел!» — девка рухнула с печи, норовя попасть в объятия Васи, да промазала. Оборонясь от Валюхи, Вася пятился, обнажая золото зубов:

— Костюм испачкаешь! Костюм!

Но Валюха изловчилась, стрелба моего дядю и понесла в беремени:

— Кто к нам пришел-то! Кто прише-ол! — вопила она, будто несла на руках балованного крестника.

За печкой открылась просторная кухня, заставленная громоздкими, дощаными скамьями и столами. Посуда на столах и под столами была непривычно объемная и неопрятная. Кухня колыхнулась, порхнула нам навстречу, будто спялся ворох белых капустниц с полуобсохшей лужи. Дядю моего подхватило белопенным водоворотом, он в нем утонул, и только хохот и хриловатый голос его доносились из kloкочущих глубин. Не бывавший никогда в общественных кухнях, кроме детдомовской, но какая же там общественная, там своя, — испугался я темности этого загроможденного заведения. Шум, бабий гам увеличивали мою растерянность, и я уж собрался незаметно улизнуть на волю, но обнаружил своего дядю сидящим в чистом углу кухни, возле маленького стола, накрытого медицинской клеенкой, и начал успокаиваться. Над столиком по узким полочкам птичками сидели пузырьки, баночки, пробирки, ниже висели разнокалиберные черпаки, термометр и еще чего-то, — рассмотреть я уже не успел, потому что все эти кухонные принадлежности падали со

звоном, которые и разбивались. И происходила вся эта проруха оттого, что девки ровно сбесились при появлении моего дяди.

На каждом колене у него сидело по девке, и не просто сидели те девки, а егозились, другие тоже времени не теряли, лепились к дяде сбоку, обнимая его за шею, кружились белым хороводом, чмокали его, кто в маковку, кто в щеку, и не понять было — озоруют они или уж в самом деле все втрескались в неотразимого кавалера? Он девок не отшивал, он дрыгался от щекотки, ойкал и хохотал, с торжествующим заглотом пригребал пучками девок к себе, не очень-то считаясь, куда и за что он их при этом хватает. А девки наседали! А девки наседали! «Хоть бы не задушили человека до смерти, вон какие сытые кобылицы!» — начал я ударяться в панику и услышал:

— Э-э! Не смущайте-ка мне племяша! — и когда девки чуть схлынули, произнес с насмешкой: — Он у нас начитанный до страсти! И вообще!.. — Вася повертел над головой растопыренными пальцами, поясняя, что не все у меня дома. — Про любовь читает ночи напролет! — приложив бортиком руку ко рту, сообщил девкам «по секрету»: — Все больше про баронесс и маркиз: «И, припадая к вашей атласной туфельке, я чувствую тепло вашей божественной ножки. Ваш взор я ношу в сердце с тех пор, как лучи его пронзили меня еще на совместной детской прогулке возле развалин древнего замка Сэн Жуэн. Помните ли вы ту незабываемую прогулку, мой ангел? — О, да! — страстным шепотом ответила маркиза, падая на грудь своего прекрасного кавалера».

«Ну и язычок дал Господь человеку!» Книжку о маркизе Де Бель-Иль я читал ранней осенью. Умываясь за печкой и утираясь полотенцем, Вася иногда заглядывал в нее, нависал над столиком, забыв про полотенце, но скоро спохватывался — вставал-то ведь в обрез, на работу падо, хмыкнув, удалялся. «Поди ж ты, плетет, чё в голову взбредет! Ну не нахал! Да меня бы к этим девкам допустить, да я бы...»

А чего допускать? Кого допускать? Зачем допускать?! Девки быстро избавились от меня, как от лица постороннего, отвлекающего их от интересного занятия. Водворили меня в угол кухни, дали каши с хлопковым маслом, кружку молока, кусок хлеба — ешь, дескать, и не мяукай.

И, ошалев от такого изобилия вкусной пищи, я ел поначалу стеснительно, однако дядя Вася улучил момент,

подмигнул мне, рубай, дескать, не теряйся, — он отвлекал на себя главные силы, заливал девкам, которые просили еще и еще декламировать им что-нибудь красивое и переживательное: «О, мадам! Вы прекрасны, как сицилийская бархатная роза! Ослепительны, как африканское солнце! Нежны, как аравийский персик! Ваш несравненный взор может соперничать с чистотой горного родника. Ваши ручки созданы для того, чтобы касаться божественного лика! Ваше нежное дыхание может согреть страждущего путника и несчастного юношу, оторванного от родных берегов и от вас, моя радость, мой кумир, моя награда! Но вдали от родных берегов я слышу ваш голос, ощущаю ваш нежный взор. Паруса моего корабля наполняются ветром нетерпеливой страсти, и я уношусь вдаль, чтобы исполнить долг сына, гражданина своего отечества и верного слуги короля, — я должен защищать честь нашего рода и древнего, славного герба, вот почему я среди этих безбрежных волн. Что ждет меня впереди? Там, в заветной стране Эльдорадо? Знает один лишь Создатель. Но где бы я ни был, какие бы превратности судьбы ни обрушивались на меня, мое пламенное сердце всегда остается с вами, чтобы согреть вас, чтобы вы слышали, как, сливаясь вместе, биение наших сердец исторгает сладчайшую музыку любви и счастья...»

— О-о-о-ой, Васька! — коровой взревела Валюха. — Ты разрываешь мое сердце! Вот жили люди, а! А тут? — она с недоумением оглядела кухню и послала ее со всем грубым скарбом в такое место, какового у нее, как у женщины, быть не могло. — На фронт буду проситься! На войну! Пускай погину! Зато посмотрюся, налюблюся...

Мы тихо и молча тащились в Базаиху — я налопался до звона в брюхе, говорить и шевелиться мне не хотелось, доило в сон. Вася не свистел «Рио-Риту», вздохнул разок-другой протяжно, при свете фонарей на мосту я заметил складки у его рта, показались они мне горестными, и вообще был он весь какой-то ровно бы отсыревший, тяжелый — натешился человек, устал.

* * *

С квартиры Михрютки-лярвы сошел я в начале ноября, ходил в гости к Зыряновым.

Накануне праздника революции нас разместили в новых, свежестроенных, теплых бараках, и вскорости, когда

группа составителей поездов, хмурая лбы, постигала премудрости железнодорожного транспорта, одновременно соображая, где бы и чего раздобыть пожрать, меня вызвал с занятий дежурный по корпусу.

Виктор Иванович Плохих, мастер нашей группы, вдалбливавший нам правила ПТЭ и ведающий, что мы его слушаем вполуха, подумал, что начинается какой-то происк со стороны учащихся, вышел из класса, но скоро вернулся встревоженный и разрешил мне отлучиться с занятий.

Редко кто посещал училище, еще реже вызывали нас с занятий, ко мне и вовсе никто не наведывался, да и писем не слал. От тетки письмо придет позднее, уже зимою. Я пожал плечами и вышел из центрального барака, именовавшегося служебным, потому что в нем были классы, столовая, красный уголок, кабинет директора, коменданта, комната мастеров, и еще потому, что стоял этот барак в центре пяти бараков и успел уже прогнаться спиной, наскоро крытой тесом.

Возле расхрипанного грязного крыльца с сидорком за плечами топтался Вася в модном демисезонном пальтишке, в кепочке. Пряча ухо от ветра за низким воротничком пальто, он пытался насвистывать «Рио-Риту».

Васю разбронировали, призвали на войну. Все свое имущество он оставил Михрютке-лярве, и она, с домом, с картошкой, с Васькиным и мужниным барахлом, скоро нашла себе другого мужика и тоже донимала его хныканьем насчет ребенка, которого у нее, как выяснилось, не было и быть не могло.

Мы молча дошли до желтенького деревянного вокзала станции Енисей, завернули в буфет и заняли место за угловым столиком. У Васи и здесь были знакомые девки. Они без очереди выдали моему дяде две порции галушек, миску соленых груздей. Вася вынул из бокового кармана бутылку разливного, свекольного цвета, вина и налил его в свою зеленую походную кружку. Отпил, подал мне.

Я не знал, какие слова говорить Васе. Я был несколько растерян оттого, что он именно меня удостоил последним перед отправлением на фронт свиданием и угощает вином, прежде он этого никогда не делал, — стало быть, я совсем большой. Но вот как себя по-взрослому вести, что пожелать дяде, чем его утешить, — не найдусь.

Выражение печали стерло с лица Васи всегдашний, всем привычный налет беспечности, мгновенно переключая-

емый на бесшабашность. Смирение, покорность судьбе, смятость всей его души — все такое новое, непривычное отпечаталось в его пригасших, невеселых глазах.

Без улыбки, без дергания и шуточек сидел дядя за столом, утопив руки в коленях, пристально и отчего-то виновато смотрел на меня. Думая, что это мой жалкий, бродяжий вид ввергает его в уныние, добавляет горечи и в без того потревоженную душу, я стал торопливо объяснять Васе, что скоро нам выдадут железнодорожное обмундирование, спецодежду, начнется практика, и пойдет усиленный паек. А в остальном все у меня хорошо. В комнатах общежития тепло и чисто, в каждой комнате плита, у каждого учащегося койка с одеялом, двумя простынями, с подушкой, пусть и стружкой набитой, но мы все равно спим на них крепко. Ребята в группе дружные. Мастер нам попался мировой, в карты я не играю, не ворую, не пью, не курю и покурить бы, да нечего. Словом, не стоит беспокоиться за меня, голова на плечах сидит крепко. «Не хвастливо ли вышло?» — спохватился я.

— Хорошо, — тихо и как бы издали произнес дядя Вася. — Хорошо, — повторил он громче. — Молодец, что поступил на железную дорогу.

Я задержался на нем взглядом.

— Ты ешь, ешь, — подсунул он мне миску с галушками. — Выпить еще хочешь?

— Нет, мне больше не надо, — и подумал: может, я обижаю отказом дядю? Полагается же при прощании пить и плакать. — Мне еще на занятия. Пахнут будет.

Вася покачал головой и тем же тусклым голосом произнес, обернувшись к раздаточному окну буфета и кому-то слабо улыбнувшись:

— Ешь вполсилы, пей вполпьяна, проживешь дополна, говаривал отец. — Подумал. — Прибауточник был тятя! — помолчал, глядя в стол: — Не все наше перенимай, много мы наболтали и нашумели. Главное — не пей... Постарайся...

Обдав окна паром и дымом, хукая трубой, мимо вокзала промчался паровоз, и я, панибратски на него поглядев, с гордостью знатока и «своего» на станции человека, сказал:

— Маневрушка.

— Хорошо, — повторил Вася. Это опять к тому, что буду работать на железной дороге и, стало быть, не попаду на войну.

«Ах ты, Сорока, Сорока! — загоревал я. — Уж лучше бы все наоборот. Выживать мне привычней».

Не знаю, угадал ли Вася ход моих нехитрых мыслей или время его кончилось, но он достал меня через стол рукою, сжал мое плечо и заговорил, глядя в сторону:

— Все мы... Радости знали, пожили, погуляли. — Крепче и крепче сжимая мое плечо, Вася пустился в напугавшую меня откровенность, винясь и мучаясь, что мог бы приструнить отца моего, деньгами мне помочь, одежкой, и самую бабушку из Сисима и деда утешить... да все недосуг было — и справедливо, воистину справедливо, что попал я на надежную службу — хватит, намаялся. И коли пустился на откровенность, выдал он и самое сокровенное:

— Я хотел последнего тебя видеть... понимаешь, тебя...

«Ибо блажен есть!» — оправдывая так нелегко давшуюся дяде искренность, вспоминал я речение и не стал возражать, отпираться, да и шибко был я ошарашен полоснувшей меня догадкой: Вася чувствует — с войны ему не вернуться, вот и исповедуется, заговорило в нем то давнее, деревенское, о котором он вроде бы начисто забыл, презрел, выплюнул и погой растер, — но не так просто, видно, отдираться от пуповины.

Прощается дядя со всеми и навсегда, потому-то и выбрал меня, самого сирого, и теперь только я уяснил — самого близкого ему человека. Как и всякий истинно русский мужик, дядя крестится, когда гром грянул. При большой разлуке, на краю жизни, где ни его наружность, ни находчивость, ни обольстительность помочь не могут, потянуло его растравить душу смиренным покаянием и тем самым, быть может, вымолить искупление, надежду на жизнь...

Но я не принимал такого дядю Васю до конца, всерьез, не привык к нему такому, и потому несколько мимолетно касалась меня его печаль и покорность судьбе, — встряхнется, очухается дядя и еще даст звону в жизни. Невозможно, чтоб Вася пропал.

Думал я тогда, что яркая жизнь и погаснет, ослепив себя собственным светом, как бы израсходуясь на вспышку, но доведется и мне видеть и знать, что смерть к каждому человеку одинакова, каждому страшен ее холод, непонятен беспредельный смысл.

На фронт я попал весной сорок третьего года, уже зная адрес Васи из писем. Сначала я воевал на Брянском фронте, затем на Воронежском и Степном. Когда эти фронты объединились и образовался из них Первый Украинский, стал я довольно часто получать письма от дяди Васи и усек, что мы воюем где-то рядом, и дороги наши могут перекреститься. Не прозевать бы, не пропустить встречу с родным человеком, который на фронте становится еще дороже и роднее.

Однажды дядя Вася нарисовал в письме три танка и на одном из них выглядывающего из люка человека, и на нем погон со звездочкой. Нарисовал погон крупно, даже красиво. Задал загадку военной цензуре многоумный дядя Вася, но поскольку та была снисходительна к внутрифронтовой переписке, то и не замазала шараду в письме. После мучительного размышления над неуклюжим рисунком я порешил: воюет мой дядя в третьей танковой армии, скорее всего командиром машины. Наша гаубичная бригада входила в 7-й артиллерийский корпус резерва Главного командования. Не раз и не два мы побывали во всех почти армиях нашего фронта, поддерживая пехоту в наступлении, загораживая ее, родимую, во время отходов, случалось сопровождать танковые армии.

Я выучил и запомнил цифровой и буквенный гриф машин третьей танковой и не пропускал ни одного танка, ни одной машины, чтоб не посмотреть, кто на ней едет, при случае и расспросить — не встречался ли им золотозубый парень по прозвищу Сорока? Вася еще все представлялся мне молоденьким, сверкающим золотыми зубами баловнем-парнем, да велик фронт, особенно главный в ту пору, Первый Украинский, много на нем народу, и один человек, пусть даже он и Сорока — песчинка в море.

Стал я терять надежду на встречу с Васей.

Тут еще ранило меня по ту сторону Днепра, на Букринском плацдарме. Пакостно ранило, в лицо. Мелкими осколками кассетной бомбы или батальонной мины и крошевом камней, как адмиралу Нельсону, повредило глаз, раскровенило губы, лоб; ребята боялись — до медсанбата не доплавят. Но когда я очухался и меня отмыли, оказалось не так уж все и страшно. Медики прицелились метнуть меня недалеко от фронта, в эвакуогоспиталек, но я знал, чем это пахнет, на трофейные наручные часы вы-

менял самогонки, угостил, кого надо, подарил дежурной сестрице открытки, исписанные на обороте по-немецки, с розами и целующимися голубками, завалявшиеся в кармане, курящему санитару — исправную зажигалку, и мне вернули мое обмундирование, даже заменили окровавленную гимнастерку чистой и отпустили с повязкой на правом глазу на распредпункт. Там меня сразу же изловили бы заботливые люди, но не для того, чтобы вернуть в медсанбат, а чтоб доставить в саперный батальон, где пожилые солдаты — нестроевики — бродили по горло в осенней днепровской воде, налаживая переправы, и куда, естественно, никто не изъявлял желания попасть.

Не появилось такового желания и у меня.

Я был уже немножко бит на войне и опытен, знал гриф не только 3-й танковой армии, но и 7-го корпуса, так как машины корпуса курсировали по всему фронту, а в ту осеннюю пору в основном вдоль Днепра, то я скоро увидел груженный снарядами ЗИС, проголосовал, шофер тормознул, усадил меня рядом, и мы помчались в нашу дивизию, где земляк-повар так расчувствовался, глядя на мою повязку, что накормил меня до отвала супом и кашей, после чего я крепко уснул на земле, под деревом, выспавшись, определился уже на машину боепитания нашей бригады. В штабе родной бригады я был не только накормлен, но и маленько напоен. Дальше, где пехом, где на перекладных, я начал гнаться за своим артиллерийским дивизионом и на другой день настиг его — он двигался с Букринского на Лютежский плацдарм, который первыми захватили бойцы бригады Свободы, и я там увидел чехословаков.

На Лютежском плацдарме была наведена мостовая переправа, через которую нескончаемым потоком текли войска. На другой стороне Днепра громыхала артиллерия, харкались пламенем и визжали эрэсы, вертелись и падали самолеты, лесистую местность затягивало темною разрывов, на реку полого наплывали белесые тучи дыма от горящей сосновой хвои.

И переправу и плацдарм непрерывно бомбили самолеты. Продравшись на правый берег, части скорее расконцентрировались и затем медленно двигались по лесистым проселкам и вновь пробитым танками и саперами трассам, проще сказать, — по дырам с нагроможденными в них завалами, которые никто не хотел разбирать, но все

охотно жгли, и потому продвижение там и сям то и дело тормозилось.

Наша колонна угодила в старую просеку, за нею и впереди нее с перекрестных визирок и троп катили другие колонны. Лес гудел, в сосняках плавал удушливый чад, машины буксовали в песках, чуть скрепленных сверху толщей травкой, мхами и кореньями деревьев. Стоило переехать и порвать рыхлую дернину, сплетение гибких корней — и машина оседала на дифер. Там и тут слышался стук топоров, скрежет пил, хрустение падающих сосен — бойцы выпиливали волока, подваживали машины, орудия, чтоб продвинуться на сотню-другую сажен вперед по направлению к какой-то Пуще Водице, о чем «тайно» сообщал командир взвода управления нашего дивизиона.

В глубине старого мачтового леса просека кончилась, проселочная дорога, ее пересекавшая, забита оказалась так, что пробка получилась совсем непробиваемая. С передовой идущие машины пробовали сделать кругляя, пробраться в объезд по редким соснякам, и разбросанно сидели среди желтых стволов, которая на боку, которая носом в корни, которая, припав назад, будто заржать хотела и метнуться радиатором в небо. Всюду слышались ругань, крики, кто-то кого-то подгонял, кто-то властно требовал очистить дорогу и кого-то посылал далеко-далеко.

Командиры сбившихся в лесу частей выясняли обстановку, привязывались друг к дружке, каждый казался сам себе главнее всех, часть свою — тоже самоглавнейшей считал и не желал заниматься лесозаготовками. Все дружно ругали саперов, доискивались их, чтобы отвести душу, и нашли пожилого дядьку в серых обмотках, обляпанного сосновой смолой. На плече его была винтовка с чиненным жестью прикладом, за поясом на спине топор.

Он сел на сваленную сосну, свертел сигарку, закурил. На него со всех сторон налетали по одному, по два, а то и скопом щеголевато одетые офицеры разных званий и все от него требовали: «Немедленно!», «Обеспечить!», «Вплоть до трибунала!»

— Ну чисто в нашем колхозе! — покачал головой старый сапер. — Все руководят, а робить никто не хочет. — И, подождав малого затишья, спросил: — Вперед на запад хотим? Хотим! Стало быть, товарищи офицера, выделяйте по дюжине бойцов с пилами и топорами под мою команду, к вечеру, благословесь, двинемся.

Возмущаясь, кроя на все корки фронтовые порядки,

командиры частей покликали офицеров помладше, те засуетились по лесу, вылавливая бойцов, которые, не теряя времени зря, занялись своими делами: пекли картошки, у кого они были, варили концентраты, починялись, писали письма, многие спали под соснами — к полудню припекло, хотя было пятое ноября, и где-то, в моей родной Сибири, на родной реке Енисее, заканчивался ледостав, ершась остриями шуги на стрежи; последние косяки птиц уходили на юг, а здесь вон, сомлевшая от тепла, черненькая пташка сидит на сосновом сучке и меланхолично общается войску: «В Киеве бар-рдак... В Киеве бар-рдак...» И кто-то подтвердил смеясь: «Воистину».

Я прибыл из медсанбата досрочно, чтоб не угодить в эвакуацию и оттуда в другую часть — одна, кстати, из главных причин, по которой бойцы и командиры, недолеживаясь, покидали медсанбаты, а не из-за какой-то там особой доблести. Мало пользы от больных людей на передовой. Я прибыл еще не совсем здоровым, тяжелой работой меня на первых порах не неволили, но многих бойцов у нас повыбили на плацдарме, ребятам было тяжело, и я по доброй воле стал подменять ночами дежурных телефонистов, понимая, что с артиллерийской разведкой покончено и мне надо куда-то пристраиваться — так сам себе и определил я место, сделался связистом и тянул «свою линию» до следующей осени, до польского городка Дуклы, где меня и стукнуло еще раз, как оказалось, последний.

Наголодавшиеся на Букринском плацдарме бойцы получили разом за все проведенные за Днепром дни паек — вышло по пол-литра водки на брата, по несколько буханок хлеба, много табаку, сахару, каши.

Насвшившись от пуза, выпив водочки, смертельно усталые солдаты спали вповалку в кузове полуторки, корчась, стеной — судорогой сводило ссохшиеся желудки.

Им нужна была вода, много воды.

Я взял связку котелков и отправился искать воду.

Днепр остался уже далеко позади, деревень никаких поблизости не было, и вода оказалась лишь в колодце лесного кордона. Возле кордона собралась толпа военных. Отломив дужку, двое вояк рвали друг у дружки котелок, расплескавши драгоценную воду. Хозяин кордона, степенный пожилой украинец, осуждающе качал головой, крутя за ручку бревна, на которое медленно наматывалась влажная цепь, изъеденная водою. Подняв бадью, он осторожно начал разливать белесую жижу. Я уже привык к здеш-

ним местам — это остатняя, донная вода, в колодце скоро сделается сухо, и, пользуясь тем, что на лице моем еще была повязка, — пробился вперед и, когда толпа передо мною неохотно расступилась, коротко сказал: «Для раненых». Босой, но в форменном картузе и выгоревшем френче лесничий налил мне два полных котелка, приподнял бадью: «Другим тэж трэба...»

Народ к колодцу валил и валил. Двое дравшихся вояк завершили сражение. Кособокий ефрейтор, одетый в мешковато на нем сидящий, застиранный комбинезон, замаращенный спереду ржавчиной крови, вырвал-таки котелок, заглянул в него и выплеснул остатки воды в рожу супротивнику: «Умойся, зараза!» Слизывая мокро с грязных губ, тот ошарашенно соображал, что ему делать: настигать ефрейтора и схватиться с ним по новой или же становиться в очередь с хвоста?

— Браток! — глянув мимоходом в мои котелки, пристроился ко мне ефрейтор, вытирая расцарапанное лицо рукавом. — Раненым... по глотку, умирают... — и указал в глубь сосняков. — Тут, совсем близко. Брато-ок... Вижу, сам ранен был...

Я свернул за ефрейтором. В глуби леса мы обнаружили стоящий под большой самосевной сосной «студебеккер» с прожженным и порванным брезентом, обнажившим ребра натяжных дуг. Ефрейтор проворно залез в кузов — оттуда слышались стоны, плач, тянулась алой жилицей загустелая кровь, достигала колеса и свивалась в резьбе резины, четко прорисовывая красными ободками ромбики, выбоины и щербины. Желтый песок под машиной и в кореньях сосны потемнел, роились мухи, липла к машине тля, сажа, паутина, летучий пух кипрея, и все наговаривала в сосняках птичка: «В Киеве бар-ррдак! В Киеве бар-ррдак!», издали, должно быть, с передвижной радиостанции, доносилось: «Мы немцев побьем, опять запоем! И-и-и-и пес-ню домой пр-р-ринесе-о-о-ом!»

На просеке поднялся шум, грохот, хохот, хлопки выстрелов, послышался властный окрик: «Отставить!» Это в: который раз выносит к машинам затравленного зайца — ребята веселятся, пугая и без того полумертвую от страха зверушку.

Я подал солдату полный котелок. В машине началось шевеленье, стоны и крики сделались громче, и никак не мог я оторвать взгляда от скользящей по колесу красной струйки.

— Браток! — перевесившись через борт, обескураженно и с мольбой на меня смотрел ефрейтор. — Пособи. Чё сделаеш. Сами, может, эдак же ни седня-завтре...

Боясь расплескать воду из оставшегося у меня котелка, я ступил ботинком на клейкое колесо, взгромоздился на борт «студебеккера» и засел на нем верхом, не зная, куда поставить ногу. Кузов был забит ранеными. У кабины на канистре сидела вымазанная кровью, будто клоун краской, молоденькая санитарка с сумкой через плечо. На коленях она держала голову танкиста, замотанного с лицом, с волосами и шеей в бинты. Желтая мазь, похожая на солидол, проступала сквозь бинты. Из-под разорванного на груди, прожженного во многих местах комбинезона выставлялся новенький погон с двумя просветами, алел уголок яркой ленточки «Красного Знамени», выше золотился гвардейский значок. Тонкий, жалобный крик, переходящий в сип и клекот, доносился из толщи бинтов. Санитарка немигающими глазами смотрела на меня, на ефрейтора, моля нас взглядом о помощи, избавлении от беды. Ефрейтор не поспешил к ней, он приподнял лежащего у борта обожженного бедолагу, завернутого в плащ-палатку, потому что одежду и белье с него сорвали, макнув пальцы в котелок, помазал мокром растрескавшиеся губы и глаза в опаленных ресницах.

— Ай-яй-я-яй... Ай-яй-я-а-а-ай! — залился обожженный человек и начал биться, разбросал палатку, остался совершенно голый, полез за борт. Волдыри на его теле прорывались, свертывалась белая кожа, выдавливая из пузырей жижицу, но танкист ровно бы не чуял боли, он лез и лез за борт. Был он к тому же и слепой — понял я. Ефрейтор осторожно прислонил бедолагу к борту, завернул в палатку и покаялся:

— Зря и шевелил... Если Божья на то милость — помереть бы тебе, парень, поскорее... — И, словно вняв его словам, парень смолк, распустился телом, и тут же смолк командир на коленях у санитарки.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — заверещала санитарка и затрясла голову раненого, и он опять вскрикнул пронзительно, будто дробью стегнутый заяц.

— Да не тряси ты его, не тряси! — устало сказал ефрейтор и тихо обратился ко мне: — Давай, браток, поить будем.

И начали мы с ефрейтором поить раненых, стараясь не наступить и все же наступая на чьи-то руки, ноги, на

мокрые бинты. Шлепало, чавкало, страшно было шагать, не хотелось верить и трудно, невозможно было соглашаться с тем, что брожу я в человеческой крови.

В машину заброшен брезент, широкий, грубый, американцы такими брезентами закрывали тапки, самолеты и машины. Брезент скомкан, сбит к заднему борту — в пути машину обстреливали, бомбили, кто мог двигаться и выскочить из машины, — выскакивали и прятались, те, кто не мог, залазили под брезент и постепенно сползали к заднему тряскому борту.

— Там, поди-ко, живых негу? — махнул рукой ефрейтор. — На всякий случай все же посмотри. Я майора у этой дуры возьму, а то она его догробит... — И, шагнув к кабине, напустился на девку: — Ты чё его трясешь? Чё тетешкашь? Кукла он тебе, майор-то? Кукла?!

Санитарка охотно уступила свое место на канистре ефрейтору, скорее полезла в сумку и, дрожа челюстью, твердила, оправдываясь и утешая:

— Счас, счас, миленькие... Подбиштую. Помогу. Счас... счас... родненькие! Счас!..

— «Счас, счас! Родненькие! Счас!» — окончательно остервенился ефрейтор. — Где твой медсанбат? — И, поправляя на майоре комбинезон, стараясь раскопать в бинтах пальцами дырку, чтобы супуть в рот ему смоченный в воде грязный посовой платок, сдавленным шепотом повторил вопрос: — Где?

— Не знаю, — санитарка, как в театре, нелепо развела руками. — Все сосны, сосны кругом, желтенькие сосны... Одинаковые... Среди сосен палатки, палатки... — Она вдруг залилась слезами.

Ефрейтор обругал ее:

— Вой-яка, твою мать! Доброволец небось, комсомолец? На позицию девушка... А с позиции кто? Глазки лейтенантам строить едете? Брюхи пакачать? Гер-ррои!..

Я поил раненых, подумав вдруг о себе, как совсем недавно меня спасали, переправляя с плацдарма, и кто-то, а кто, я так пикогда и не узнаю, так же вот, как ефрейтор майору, держал мою голову на коленях, чтобы я не захлебнулся в дырявой лодке.

Над Лютежским плацдармом все время шарились охотники — «фокке-вульфы» и штурмовики. Что-то узрев или пугая нас, они вслепую бомбили и обстреливали из пулеметов и автоматических пушек густые сосняки. Вот пошли поблизости, пикируют, эхом леса усиливается

стрельба, шум разрывов. Пронеслись, прогрехотали «фокки» над нашей машиной, над нашими головами, и я увидел, как, прикинувшись друг к другу, прижались в кабине, загоревшись сразу утихшего майора, санитарка и ефрейтор.

После грохота и неожиданного вихря минутой-другую все было в оцепенении, еще не закричали те, кого зацепило, еще не загорелись машины и не запрыгали с них бойцы, еще не объявились храбрые хохотуны и матерщинники, только слышно было, как поблизости проваливается меж сучьев срубленная вершина сосны, проваливается стариковски медленно, с хрустом, шелестом, но вот коснулась подножья и, слабо выдохнув, легла на зеленый хвойный бок.

И сразу забегало по лесу начальство, спинывая с дымящихся костерков каски и котлы с картошкой, слышалось привычное, как для верующих «Отче наш»: «Мать! Мать! Мать!..» И все покрыл визгливый голос:

— Чьи машины? Чья колонна? Кто ее маскировать будет? Пушкин?

Из глубины леса растекался черный дым, на чьей-то подожженной машине сыпанули лопнувшие патроны.

На дым непременно налетят. Надо бы раненых увозить поскорее.

— Я тя прикончу, если что, — сказал ефрейтор, отгибая от санитарки, вцепившейся в него, и начал растирать грудь майора под комбинезоном.

Почувствовав его руку, майор снова ожил, заголосил. И все раненые зашевелились и закричали.

— Господи! — внятно сказала санитарка, не двигаясь с места. — Помогите мне найти медсанбат. Помогите!

Продвигаясь от раненого к раненому, вливая по глотку мутной воды в грязные, перекошенные рты, уговаривая захлебывающихся, страданием ослепленных людей, которые вцеплялись в меня, не отпускали, я наполнялся черным гневом, будто сырая, худо тянущая труба сажей. Фельдшер и шофер ушли искать медсанбат — ничего лучшего не придумали, как бросить раненых на девушку.

— Чё сидишь? Чё сидишь?

— Счас, счас! — подхватила санитарка. — Счас, миленькие!

— Бога она вспомнила! — рычал я. — Отвернулся он от этого места. Ад тут!..

Я отбросил брезент от заднего борта и увидел спиной ко мне лежащую узкоплечую фигуру в грязном, простор-

ном комбинезоне, подтянувшую почти к подбородку колени и, словно от мороза, упрятавшую руки под грудь. И что-то в темных ли волнистых волосах, в завихренной ли, «характерной» макушке, в нежной ли полоске кожи, белеющей между скомканным воротником и загорело-грязной шеей, пригвоздило меня к месту.

Там было еще несколько человек, лежащих друг на друге. Мертвых встряхивало на кореньях, скатало в кучу, но скомканный танкист с «характерной» макушкой лежал отдельно, в уголке кузова. «Да он живой! Чего же ты стоишь, остолоп?!» — И чувствуя — не живой, нет, зная уже, кто это, но заставляя себя не верить глазам своим, я перевернул танкиста и отшатнулся: горло его забурлило мокротой, под ладонями что-то заурчало, на меня, оскалив рот со сношенными почти до скобок коронками, обнажив серые, цингой порченые пеньки зубов, в полуприщур смотрел сквозь густоту ресниц и медленно выпрямлялся, будто потягиваясь в ленивом сне, дядя Вася.

Я плеснул из котелка в стиснутые зубы дяди Васи водички, она тут же вылилась в углы затвердевшего рта, утекла под комбинезон. Я провел ладонью по дяди Васиному лбу, прикрыл его глаза, подержал на них пальцы и, когда отнял руку, полоска темных ресниц осталась сомкнутой: быть может, дядя Вася еще видел меня и теперь успокоился, подумалось мне.

Не зная, что бы еще сделать, я приподнял со лба волнистые, от пыли сделавшиеся черствыми волосы дяди Васи, и на правом виске, у самой почти залысины увидел три белеющие царапины — следы зубов неистового коня Серка, отметины деревенского детства, которое дядя мой не помнил, если и помнил, то не любил о нем говорить.

Сколько я простоял над мертвым дядей Васей, вклеившись коленями в кровавую жижу, не знаю, как вдруг услышал, что меня трясут за плечо.

— Браток! Браток! Ты чё?..

— Это мой дядя, — с трудом разомкнул я рот.

— А-а, — протянул ефрейтор и спохватился: — Родной? — уточнил зачем-то.

Я кивнул.

— Вот! — вновь разъярился ефрейтор. — Хорошие люди гибнут. А эта... Врач где? Медикаменты? Вода? Спирт? Где медсанбат, спрашиваю? Мы не нашли медсанбат... — напустился он на санитарку. — Ты зачем на передовую ехала?

— Я не знаю. Я не знаю, — повторяла санитарка пусто, отрешенно. — Пусть меня расстреляют...

— Расстреляют, расстреляют... — прогудел ефрейтор.

— Бейте меня, бейте!..

— Помогай. Чего сидишь? — рявкнул он.

Девушка ринулась на голос, упала, запнувшись за раненого, вышибла у ефрейтора пустой уже котелок.

— Не гомони! Уймись. Ищи медсанбат.

Когда девчонка охотно прыгнула со «студебеккера» и помчалась по лесу, ефрейтор вернул ее тяжелым матом:

— Сумку-то! Сумку оставь, дура...

Мы помолчали маленько. Замолк и майор, не шевелился больше, умер, видно.

— Отдай мне его! Я хоть по-человечески похороню, — показал я па дядю Васю.

Ефрейтор озадаченно нахмурил лоб, почесал затылок.

— Не положено.

— А кто тут устанавливал, чего положено? Обращаться так вот с ранеными положено? Бросать на произвол... Документы и награды в сумке посмотри.

Ефрейтор поспешно и угодливо закивал головой, расстегнул сумку.

— Здесь.

— Похоронную напишите в Игарку.

— Да знаем мы его, знаем, — уважительно протянул ефрейтор. — Я хоть недавно в танковой бригаде, и то слышал: «Сорока, Сорока...» На хорошем счету был. Его после Киева хотят... хотели, — поправился ефрейтор, — на офицера послать учиться...

Значит, дядя Вася мечтал о военном чине — погон-то со звездочкой с умыслом рисовал! Ну, тогда девки снопами бы валились.

Ефрейтор поднял и подал мне на руках, как ребенка, дядю Васю. Я принял его негнущееся тело, в котором что-то жулькало и перекачивалось, стянул с себя плащ-палатку, завернул убитого и поволок скорее по просеке, пока не передумал ефрейтор и никто из законников не перехватил. Неподалеку от Пущей Водицы я перетянул все еще сочащийся сукровицей живот дяди Васи бинтами, передел его в чистое нижнее белье — надвигалось зимнее переобмундирование, оно происходило на фронте к Седьмому ноября, и я успел получить две пары белья, нательное и теплое, также брюки с гимнастеркой. Исподнее

белье я мог пожертвовать покойному, навоююсь досыта и в одной верхней паре белья.

На кухне я попросил воды, привезенной под вечер с Днепра, умыл лицо дяди Васи, вытер его сухой онучкой, заменявшей мне полотенце. Друзья помогли выкопать могилу. Копалось податливо, песок «плыл», и где-то в пол-пояса глубины я опустил тело дяди Васи, завернутое в кусок брезента, пожертвованного нашим шофером.

Закопал, прихлопав могилу лопатой, потом взял на ближней батарее топор, срубил сосенку, затесал ее по стволу и при свете фонарика написал имя, отчество и фамилию своего дяди, подумал, что бы еще изобразить — до обидного куцей получилась надпись, и добавил: — «Танкист. Погиб 5 ноября 1943 года». Здесь же, неподалеку от могилы я зарыл ослизлые пожитки дяди Васи — какой-то обычай смутно помнился: одежду покойника следует раздавать родственникам или уничтожать. Эга кому нужна?

Я лежал лицом во все еще теплом песке, и такая во мне была пустота, так болела контуженая голова, так пекло недолеченный глаз, что даже не было сил ни о чем думать, что-то вспоминать, хотелось уснуть и, хорошо бы, не проснуться. Но спины моей коснулся холод, сверху закапало, я откинулся затылком на комелек и на самом деле уснул, и во сне, наяву ли, повторял и повторял: «Христос с тобой, Вася! Христос с тобой...»

Ночью мы продвигались по свежепрорубленной трассе, достигли наконец опушки и со связистскими катушками, с телефонными аппаратами, стереотрубой, бусолью, планшетом, оружием отправились оборудовать наблюдательный пункт на окраине Пущей Водицы и в лес более не вернулись.

В почти над сосновыми борами горело небо, с западной стороны вспыхивали огромные, в середине адски светящиеся взрывы. Клубясь, катились они вверх, раздвигали темень, приподнимали небо и, соря опметками огня, рассыпали трубы, столбы, рельсы или выранивали сверху большой, светящийся окнами дом, и он медленно, беззвучно разваливался, потом докатывался могучий гром, от которого вздрагивала, колебалась под ногами земля и в сосняках начинали, словно бы со страху, валиться деревья — фашисты разрушали великий город Киев.

Извещение на дядю Васю пришло зимой сорок третьего года, в нем было написано, что он пропал без вести в декабре, в боях за освобождение Украины. Не знаю, что тогда сделалось с ранеными: разбомбили ль машину, потеряла ль санитарка сумку с документами и наградами раненых, но, может, и потому «без вести», что в машине среди раненых Васи не оказалось.

В Игарке на обелиске, среди означенных фамилий павших на войне, есть дядя Ваня, погибший в Сталинграде, а дяди Васи нет. И нигде его нет.

Много лет спустя я бродил по соснякам расстроившейся, раздавшейся вширь и вдаль Пущей Водицы, искал могилу с сосновым комельком и не мог ее найти — кругом невозмутимо стояли и млели под ранним солнцем стройные золотистые сосняки, к ним со всех сторон примыкали шеренги вновь посаженных деревьев, меж которых желтели маслята, розовыми воронками закручивались выводки рыжиков, которые тут почти не собирают, по всему лесу сыто и успокоенно перскликались пичуги. Мне почудилось — я узнал голос птицы, которая осенью сорок третьего извещала, что «в Киеве бардак».

Кордон с колодцем мне найти тоже не удалось, я двинулся наугад, по сосняку, и кружил в нем почти весь день, спугивая заполошно хлопающих горлинок, потом устремился на шум дороги, на сытые дымы дачного поселка. Над головой моей, по вершинам леса, стрекоча и вертясь, перелетела сорока, отмапывая меня или предупреждая мирный лес о том, что в нем бродит нездешней местности человек и что-то ищет.

И подумал я: если, по преданью, душа человеческая оборачивается птицею — ангельским голубем, синицей, горлинкой, то душа моего дяди иначе как сорокой не могла обернуться, вот и кружит она надо мною, прогоняет к живым.

«Так прощай же на веки вечные, дядя Вася!» Я поклонился песчаной земле, густо заваленной рыжей хвоей, так густо, что сквозь нее реденько и с трудом просекалась травка, деревьям поклонился, которые вобрали в себя тысячи жизней, поклонился Великому древнему городу, не так ныне далеко и не грозно, а нарядно сверкающему вечерними огнями, цветной рекламой и текущими отсветами Днепра.

Следующим летом я отправился на теплоходе по Енисею и только разобрал вещи, только собрался прилечь и вытянуться на диване, как раздалась моя фамилия по внутреннему радио и просьба выйти на верхнюю палубу.

«Опять какое-нибудь недоразумение с билетом, с каютой», — подумал я. Но радио помолчало и добавило: «Вас ожидает родственник».

«Час от часу не легче!» — фыркнул я и неохотно поднялся по лестнице вверх. От леера отнял руки человек в речной форме и, приветливо улыбаясь, двинулся ко мне, так как я застыл на месте — навстречу, убыстряя шаг, раскидывая руки, шел, сверкая не золотыми, но все равно ослепительными зубами, парень почти тех же лет, в которые я проводил Васю на фронт. Был он совершенно живым Васей, прочнее, правда, сколочен, крупнее костью, шире в крыльцах и в «санках» — верх-енисейская колодка! Глаза его сияли тем же неудержимо-ярким светом, на который бабочками летели и охотно сгорали женщины. Еще издали напесло на меня от форсистого речника с нашивками на мундире запахом духов и вина — флотоводец этот, как скоро выяснилось, результат предвоенной дяди Васиной поездки на курсы повышения квалификации лесобракеров.

Род наш продолжался на земле. С обрубленными корнями, развеянный по ветру, он цеплялся за сучок живого дерева и прививался к нему, падал семенем в почву и восходил на ней колосом. Если семя заносило на камень, на асфальт, он раскалывал твердь, доставал корешком землю, укреплялся в ней и прорастал из нее.

1977, 1988

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

После окончания училища выдались беспризорные, неуютные дни, наполненные тревогой ожидания. Начальство училища вместе с нашими мастерами, кинув фэззошников на вольную волю, оформляло документы, распределяло нас, сортировало, подсчитывало, распоряжалось нашей судьбой. Выпускники тем временем дулись в карты, рыбачили в речке Базаихе, лазили по огородам, выковыривали из лунок саженьки лука и картошек, потихоньку сбывали на базаре постельное белье, меняя его на еду, шныряли по станции. Уже как самостоятельные труженики, курили и гуляли с девчонками, иные совсем нахально — под ручку.

Как всегда перед крутой переменой жизни, на меня напало возбуждение, зубоскальство, которое так же круто сменилось сосущей тоскою, погрузив меня в пучину душевного мрака, вызвав желание на кого-нибудь задираться, чего-нибудь сломать. Хорошо, что тогда не на что было купить выпивки.

Подавляя душевную смуту, робость и страх перед близким будущим — самостоятельная, ответственная и тяжелая работа на какой-то из незнакомых станций. Где определят жить? Как будут кормить? Что за люди окажутся в коллективе? Вопросы нешуточные, если учесть, что тебе восемнадцатый год и ты начинаешь трудовой путь в войну, и нет вокруг тебя ни воспитателей, ни учителей, ни друзей, ни даже надоедливого коменданта. Нам никто не объявлял, кого куда и с кем распределят, могут и на неболь-

шую станцию засунуть одного тебя, разъединственного. Совсем тогда собачье дело, хоть вой после бесшабашно-веселого, неунывающего фэзэошного народа, и особенно после нашей восьмой комнаты, где все ее шесть обитателей сдружились так, что грустят и вздыхают, будто девчонки, и вроде бы в шутку, а на самом-то деле с тайной верой мечтают: «Вот бы нас всей комнатой да на одну станцию!..»

Думая обо всем этом, я тихо брел от станции Енисей к поселку Базаиха, имеющему прозвище «гужееды» — предки мирных базайских трудяг, не имея закуски, изжевали якобы гужи в пьяном виде. Наелись они или нет, теперь не узнаешь, а вот прозвище осталось. Впрочем, население этого пригородного поселка, когда-то бывшего деревней, сделалось так пестро, разноязыко и так разъединенно жило, что его не интересовали ни история поселка, ни тем более какие-то там старые прозвища.

Я приостановился на мостике, смотрел, как ребятишки взаброд таскают где удочками, где ситом, где рядниной маляву, пескарей из речки Базаихи, поплеывая в воду, и, озирая окрестности, наткнулся взглядом на дом с голубыми наличниками, обшитой баней, обширным огородом — труба бойко крутила дым, ограда пестрела свежими тесинами, окно в бане вставлено, гряды в огороде беледи опилками, земля ухожена, засажена, полный порядок во дворе. Нашла Михрютка-лярва квартиранта хозяйственной Васи, поняла, видать, что с ветродуями войну не передюжишь. К сильному хозяйству прибилась кто-нибудь из выселенцев, коих в доке звали «чугреями», или по-старому «самоходами». Тихие, хваткие мужички, пристроившись ко вдовушкам, приумножали их хозяйство, плодили тупых в учебе, сдержанных в драке, скрытных сердцем детей, из которых потом получилось немало утрюмых бандитов, по жестокости затыкавших за пояс любого местного забияку, который только гонором да куражом и бывал страшен, на самом же деле копни его — слезливый, суеверный человек, дичающий от вина и безграмотности.

Конечно, поудовольствовать женщину так, как Вася, никакой поселенец не мог, тут им с нашими мужиками не тягаться, мало каши ели. Но всем остальным они затирали чадонов. Тихой сапой, податливостью характера, трудолюбием и трезвостью большое они впечатление производили на здешних женщин, за которыми во все времена

земляки гонялись с кольями, палили из ружей в потолки и вообще держали семью и хозяйство в постоянном напряжении. Не жизнь — маета сплошная была у наших баб, а сошлись с «нелюбыми» и, как тетка Дуня по своему Филиппу, сохнут по первому мужу, тоскуют всю жизнь. Может, и чувство вины их мучает? Что, что нету в живых? Молодые мужики за Родину, за народ жизни положили, стало быть, и за них, за баб, тоже, а они вот верности не соблюли, мужиков, пусть и мертвых, вроде как предали, поменяли на пришлых, скрытных, повадками и характером чужих людей. Одна моя односельчанка, пережившая мужа-фронтовика и в гроб загнавшая двух чутреев, весело горюя, рассказывала: «У нас, парень, токо негров нету, но как другоредь приедешь — будет морозоустойчивый какой-нить, наплодит чериньких гробовозов! Чё сделаешь? — уже без изгальства заключила она. — Мужиков, братьев и сынов наших перебили на войне, а этих вот бздунов подсыпали. Бабе надо куда-то голову приклонить, одной на всем ветру гибельно...»

Посмотрел я, посмотрел на дом Михрютки-лярвы да и подался по Базаихе без спешки и цели. Выбрел за околицу, пошел вдоль Лалетинского сада, вытягивая шею и высматривая через высокий забор, — не работает ли где тетя Люба? Но сад большой, а тетя Люба маленькая — не увидел я ее. Ноги же все несли и несли меня. И оказался я у того лога, по которому бойко катилась речка Лалетина, давшая название саду, там нынче находятся турбаза и железнодорожная станция. В логу млея под солнцем и крошил сережками хоть и прореженный топорами, но все еще веселый березничек, по склонам ломаные-переломанные, верченые-персверченые старушонками горбатились боярки, густо клубился цевощник, вербы и черемуха жались к воде, затеняя собой пучки высоких и веснами дивных здесь красноталов. На припеках же царствовало лето, ярко зеленела чемерица, жеваным горохом рассыпался набравший цвет курослеп. Я начал рвать последние, непорочно белые, на невестино платье похожие ветреницы, которые и сами гляделись в природе невестами; хотел к ним добавить синих цветов касатика — ириса, сунулся к пеням и увидел вокруг корнястого, в середке истружшего пня беленький омуток земляники. На одном крепеньком стерженьке сигнально светилась алая ягода. Я бережно оторвал ее от стебля вместе с прикипелой звездочкой. Отгрыз, выплюнул черствую звездочку. Донце ягодки было

нежно, розовато, словно десна младенца, и вся она, с первым румянцем, с золотыми пупырышками на продолговатом тельце, с не налившимися еще до округлостей боками, едва ощутимым ароматом, ни на что не похожим, ни с чем не сравнимым, разве чуть-чуть с первым снегом, вся она, эта ягодка, первый подарок летнего солнца и земли, первая ласточка, которая хотя и не делает лета, но предвещает его неизменный приход, — совсем разволновала меня. Сжав едва слышную кожей, шершавенькую ягодку в руке, сам для себя неожиданно, зашагал по тележной дороге в лес, в горы, не шел, почти бежал, дальше, выше, перевалил один лог, другой, третий, сил во мне не убывало, дыхание не сбивалось, хотя взнималась дорога выше, круче, лес становился гуще, цветы и травы подступали ближе, пестрей, веселого птичьего грая становилось больше, солнце кружилось над самой уже моей макушкой.

Возле крутого, заросшего распадка тележная дорога забрала влево, затекла извилистой черной речкой в гущу тайги, я приостановился — это распадок речки Крутенькой — ноги несли меня не куда-нибудь, а по направлению к родному селу, и я не заметил, как отмахал половину пути.

Вниз, к Шалунину быку, вела узкая вытоптанная в камнях, неровная тропинка. Хватаясь за кусты, за стволы старых деревьев, руша землю и камни, я с трудом скатился к речке, лег на живот, попил сладкой, пронзительно-холодной воды, булькнулся в поток лицом и, утираясь рукавом суконной железнодорожной гимнастерки, осмотрел молчаливый распадок, треугольником светившийся впереди, над лесом, — там выход к Енисею, там речка Крутенья тонким острием втыкалась в каменья и, сломавшись в них, опадала светлыми осколками в завал и, невидимая глазу, соединялась с Енисеем, даже не пошевелив его крутого здесь течения. В русле речки местами еще холодел грязный лед, и ниже упавшая вода горготала под замытым навесом, капли сыпались вниз, было грязно по заплескам, тяжелые медвежьи дудки, подмаренники, чемерица, всякие разные дедюльники только еще выпрастывались из мокрети, только еще только начинали жить, по отлогам тихо и пышно цвели прострелы, дремным цветом налитая, темнела зелень стародубов, было пестро от хохлаток, мелких снеговых ветрениц и робкой завязи купальниц, как бы притормозивших ход и дающих открасоваться цвету скорому, весеннему, чтоб потом, после первоцвета, занять свое место под надежным солнцем.

Долго шлепал я по размытому логу, где увязал в грязи, где прыгал с камня на камень, где подползал под черемухи или продирался сквозь смородинник и краснотал, но к Енисею вышел как-то неожиданно, словно распахнул дверь из тесной избы и оказался на воле.

Катилась светлая вода у моих ног, кружила бревна, хрипела на головке боны, по-за бонами во всю ширь играл, плескался небесный свет, и было там просторно, широко, отчего-то манило ступить на гладь реки, пойти по ней, по серебряной, соскользая, ахая, не зная, куда и зачем идешь, почему балуешься, охваченный веселым и жутким наваждением.

Шалунин бык сер, в ржавчине по щекам, и щеки наминают мясную обрешь, в расщелинах быка, в морщинах бычков, уцепившись когтями за твердь, дрожат кусты, пробуют расти и дать подле себя место цветкам. Тени от скал лежат по берегу, разорванные светом, пробивающимся в расщелья меж деревьев; тень быка, вдавившегося в реку, полощется, будто брезентовый фартук, сорвавшийся с выпуклого живота утеса.

И под быком, и под изломами скалистого берега, и сзади, и спереди, и вверху, и внизу по реке наворочено камньев, серых, колотых, где горой, где россыпью, где в одиночку, и если б не соснячки по расщелинам, не кустарники, лезущие из каждой морщинки, не травы, не бурьян, проползший в каждую щель и щелочку, наверное, здесь было бы мрачно и жутко.

Но зелень, цветы, кипенье прошлогоднего бурьяна, пыль старой полыни и беловатые всходы, возникшие как бы из прошлогодних былок, березники, осинники, которые тут всегда отчего-то в одном и том же младенческом возрасте, рассеивают мрак, смиряют власть и давящую силу камня.

Я смотрю, смотрю, пытаюсь представить, как это было? Как несло вниз лицом и кружило меж бревен замытое, исхлестанное водою тело матери, как мучило ее течением, как давило тяжелой, холодной водою, как набивало в волосы, в одежду, в раскрытый рот крошево красной лиственничной коры и как, наконец, придавило ее струей к серому, полуобсохшему камню, тихие бревна, тоже измученные сплавом, побитые камнями, уперлись одним концом в камень, другим — в берег и сделали затон для утопленницы. Бревна скапливались, напирали одно на другое, меж них и камней, по кругу, по заувеинной воде таскало и

таскало труп, переворачивало то вниз, то вверх лицом, и в крошечной коре, щепья и травы, вымытой с корнями, закипала уже пена, когда пикетчик-сплавщик, из вербованных переселенцев, увидев непорядок, решил растолкать бревна, отурить их за камень, на течение, чтоб не набило затор.

Недовольно ворча, может, что и напевая под нос, он пришел к воде, вспрыгнув на камень, уцелился багром в бревно и замер на взмахе, увидев белое, стертое течением лицо утопленницы.

Первое его движение было — бросить багор, загордиться руками, упрыгать с камня на берег, побежать в избушку, закрыться на крючок.

Но кругом было солнечно, тепло, летали птички, цвели цветы, шумела вода, кругом был живой мир, и не было в нем места страху, и, преодолев сосущее чувство одиночества, которое возникает при виде смерти, сплавщик почувствовал себя живым, себе принадлежащим, слава Богу, отделенным от утопленницы, лицо которой, казалось ему, молило об избавлении, просило освободить пусть не душу, хотя бы тело от тисков этой огромной, беспощадной и равнодушной реки...

«Господи! Спаси нас и помилуй!» — елеинно пропел сплавщик, на минуту пронзенный душевной благостью, согретый отсветом той доброты, которая возникла вдруг в нем, заслонив на какое-то время пьяницу, матерщинника, бродягу и богохульника, воскресив, пусть и ненадолго, того почти забытого мужика или парня, что рос при крестьянском дворе, с заранее назначенной и заранее же насквозь известной, простой и складной судьбой землепашца.

Тот, прежний, вытатив утопленницу, затянул бы ее в тень, под скалы, укрыл бы дождевиком или хворостом и поспешил бы по горам в село с горькой вестью — всем по всему здешнему берегу извещено было — ищут утопленницу, миром ищут девятый день, измучились, исстрадались ее родные, пора успокоиться землею и покойнице, а живым людям оплакать взятую смертию жизнь.

Он поначалу так и хотел сделать. Он багром выволок утопленницу на берег, присел на камень, дожидаясь, когда стечет с нее вода, боясь смотреть ей в лицо, боясь самой позы утопленницы, как бы разломанной по частям, исполосканной водою, он глядел на руку женщины, отмывшую до бумажной белизны, глядел и не мог оторвать взгляда от колечка, обручального, золотого.

Ему было страшно, тесно в рубахе, душно сердцу в теле, когда он тупым складником пилил палец безгласной женщины. Надрезав палец, он переломил слабо хрустнувшую косточку и, сорвав с обломка вместе с изопрелой кожей холодное колечко, поскорее присунул обрубыш к ледяной руке и более не подходил к утопленнице, не тревожил ее, трусливо дожидаясь пересменки.

А она лежала мокрой тряпкой на камнях успокоенная, ко всему терпеливая, и на ней роились мухи. Трясогузка, гнездо которой было в камешках поблизости, не могла нарадоваться легкой добыче, таская с утопленницы по две, по три мухи в клюве прожорливым желторотым птенцам.

Пикетчик не пошел в село с сообщением, он поскорее убежал в Базаиху — пропить золотое колечко, лишь его сменщик со сплавщицким катером передал весть: у Шалунина быка лежит на берегу безвестная женщина — утопленница.

Обезголосевшая, черная лицом бабушка, коротко и хрипло вскрикнув, упала среди двора, забилась на земляной тверди — видать, до этого самого часа, до рокового известия она еще на что-то надеялась, верила в чудо, но теперь, еще не видя утопленницы, почуяла сердцем — чуда не свершилось, ждать больше нечего, надеяться не на что.

Торопливо, словно надеясь искупить вину, успеть еще помочь беде, мужики запрягли лошадь, на рысях вымахнули со двора, по улице и за поскотину гнали так, что гремела телега. Возвращалась подвода наутре, медленно, скорбно, тихо. Лошадь опустила голову до земли, тяжело поводя взмыленными боками, есть примета — лошадь, везущая утопленника, всегда делается мокрой...

Все как было тогда у Шалунина быка, так и осталось до сего дня. Даже будка стоит, правда, с выбитыми стеклами, с сорванной с петель дверью. В будке чугунная печка, валяются багры, плывут по воде бревна сами собой, громоздятся, обсыхают. Пикетчиков нету. На войне пикетчики. И тот забулдыга, что обрезал палец с колечком, ушел на войну — экое ему там, блудне и пакостнику, раздолье будет.

Все как было — серый бык со ржавчиной на щеках; молодые осинники вроссыпь на склонах гор; цветы, травы, кусты меж камней и по распадам, все так же катит

и кружит воды река. Нет ни тревоги, ни горя, лишь слабый отзвук печали пощипывает сердце. Неужели привык к потере, пригтерпелся? Но отчего, почему меня сюда так тянуло, к Шалунину-то быку, к последнему пристанищу матери? Я поднимался в крутик со смешанным чувством в сердце. Ощущая невольное освобождение от давящего гнета, я старался погрузить себя снова во мрак и жалость, вызывал в себе картины одну мрачнее другой, воображая, как несло маму водой, как прибило ее к камню, как тащил ее багром пикетчик, но изображалось все это не во мне, а на каком-то плоском, чистом полотне, словно бы не умом я все это изображал, а кисточками.

Нет, изображенное горе, как его ни возбуждай, изображенным и останется. Настоящее человеческое горе постижимо только той душой, в которой оно происходит, которой слышна своя боль и ведома сила, способная вынести собственное страдание. Пока я еще не умею страдать о других, даже о собственной матери, если и посещает меня грусть, так это оттого, что мне без матери жить неудобней, тяжелее, и, жалея покойную мать, я больше жалею себя, ею покинутого. Прошла вот трудная зима, лето наступило, скоро совсем хорошо на земле станет, жарко и сыто, и стану я взрослым, начну самостоятельную жизнь, стану зарабатывать свой хлеб, сам распоряжаться своей судьбою, жизнь кружит меня, и я, подико, реже и реже стану вспоминать маму, со временем и вовсе ее забуду. Но что-то на сердце беспокойно? А как же ему спокойным быть, если кругом беспокой и на свете война? Раз я в мире есть и мир волнуется, то и меня должно качать, болтать, култыхать.

Вот отживу свой век, успокоюсь, лягу в одну землю с матерью, и тогда никакое волнение меня уже не коснется. А хорошо это или плохо — успокоиться? Насовсем, навсегда?

Не знаю. И не надо мне этого знать, незачем и голову забивать такими мыслями, когда светел день, ясно небо над головой, и чем выше в гору, тем шире простор, вольнее воздух, дышится во всю грудь, ноги, опять же ноги несут и несут меня через распадок, вперед, вверх по крутому, почти отвесному откосу.

Распадок, еще распадок — и вот он, Слизневский утес, с него и Овсянку будет видно. Всю. Под ногами она будет, внизу. Но кому я там нужен? Кто меня ждет? Там много едоков и без нас, дураков, а я без пайки, в гимнастерке,

голоухом. С перепуту решат, что меня обснимали иль выгнали из училища.

Гудело в коленях, одышка распирала грудь, но я карабкался вверх, хватался за кусты, срывался, обрушивая ногами лавины камней. Они катились, высекая искры из откоса, шарахались по кустам, клацали о гранитные зубья скал, взбивали вороха воды в кипунах, и вода, будто птица над гнездом, лохмато взлетала над мелколистой шарайгой.

Этой стороной Енисея я хаживал редко, но мне и в голову не приходило, что могу заплутать, уйти куда-то в сторону, сделать крюк. Внизу, под обрывистыми навесами скал, широко и вольно светился Енисей. Впереди все дальше, выше поднимались перевалы, синими осередышами подпирая небесные тверди. Троп — не разгуляешься, как протоптали одну, может быть, еще пещерные люди, так одна и осталась. Я и поныне, когда еду по асфальтовой магистрали, ведущей на Дивногорск, вроде бы угадываю признаки той дикой тропы, и все мне кажется, что большая часть дороги проложена по ней, потому что люди ходили своими ногами, тратили свою силу, оттого и выбрали пути прямее.

Солнце было ополудни, когда я очутился в просторном редкоствольном сосняке. От подкипевшей смолы в густоте хвои стояла запашистая тишина, которую сгущали застенчивые цветы заячьей капусты; белеющие кисточки брусники и папоротники, выбросившие завитки побегов, еще и мякоть мхов, очнувшихся от вечной дремы, тоненько светилась ниточками, родившимися взамен тех, что угасли, сопрели в корнях сосен, сохраняя для них влагу, питая собой ягоды брусники, робкого майника, водяники и всего, что росло здесь неторопливо в потаенной неге краснолесья.

Я поднялся на самый высокий, на последний перевал перед спуском к Большой Слизневке. Скоро сосняк пропустил меж стволов солнечные полосы, мох заслонило ягодниками, лесной грушанкой, мастью похожей на гречиху, раз-другой и орляк мелькнул еще молодым, бледным крылом, да и сгустился, явились не побеги, а ветвистые папоротники, при виде и запахе которых и в самом деле что-то всегда сдвигается в сердце, оно не то чтобы обмирать, но тихо начинает ждать каких-то чудес, как в детстве, во тьме вечерней избы сжимаясь от жути, когда начинали сказывать страшную сказку. Заранее вроде бы

знаешь, как будет страшно, однако так заманчиво и так красиво это страшное, что уж безвольно отдаешься на волю рассказчика — делайте, чего хотите, но сил нету сопротивляться!

Солнце рассыпалось встречь мне таким снопом, что я зажмурился, чувствуя, как оно бродит по лицу, мягко ощупывает его, будто проверяет, свой ли человек тут бродит и какие у него намерения. Я улыбнулся солнцу и приоткрыл глаза. Впереди виднелись не стволы, а кроны сосен, уже растущих под обвалами скал, среди осыпей, стоков и расщелин. Ребро хребта все было в царапинах и камнях, и от самой бровки клубилось оно кустами цепкой, разгульно растущей и цветущей белой и розовой таволги, из духоты которой упрямо выпрастывались дудки лопушистых пучек, настырная щетинилась в камнях акация и шишичник — все тут звенело поверху и понизу от пчелиных, шмелиных и осьих крыл.

На исходе борового леса, хранимого вознесшимся над ним сторожевыми башнями корявым, разлапистым листовягом, было просторно, сквозно среди лиственниц, которые первыми приемлют удары ветров, бурь, молний, и оттого стоят многие с обломанными вершинами и так просторно, что меж них зеленеют густотравные веселые кулиги. Здесь тоже были сенокосишки, и мужики порой с топорами, кольями делили их, потому как плохо в наших горных местах с сенокосными угодьями. И в таком вот месте, откуда сена спустить зимой сподручно лишь отчаянным мужикам на не менее отчаянных и диких конишках, считался покос удачным. Ныне тут не косят. Чапыжник да осипники трясут листом по старым покосам; кипенью золотистых цветков залиты склоны гор, забытыми кострами бездымно догорают в желтой пене курослепа дикие пионы.

Ниже по склону в сырости кипунов все растет еще пестрей, и вот среди вольно растущей лесной всячины сверкнула слюдянистыми лепестками любка, редко у нас произрастающая и почти не замечаемая ребяташками, избалованными множеством цветов ярких, крупных, как бы выставляющихся напоказ друг перед другом. Однако старые люди, век прожившие в колдовском селе, в особенности девки, знали тайну травы любки, ходили за нею в таежные дали, лазили «к лешакам», в болота, как говорили сами же, сушили любку, пряча от «дурного» глаза. Любка считается верным приворотным средством не толь-

ко в нашей местности, но и по всей Руси. Хочешь развести парня с девкой или, наоборот, завлечь его, неразделенную любовь хочешь сделать взаимной — настоящим корня любки незаметно, по рюмочке, пои «предмет сердца» да шепчи при этом складный приговор: «Пленитесь его (иль ее) мысли день и ночь, и в глухую полночь, и в кажен час, и в минуту кажну, обо мне вечно. И казался бы я ей (ему) милее отца-матери, милее всего роду-племени, милее красна солнца и милее всех частых звезд ночных, милее травы, милее воды, милее соли, милее всего света белаго и вольнаго...»

Как доверительно, как простодушно-то! Только испорченные, зла за душой не таящие люди могли желать такого высокого и простого счастья себе и возлюбленному. Так отчего же при такой открытой вере в любовь и добро столько зла на земле? «Хочешь жить — убей!» Да я бы по всем лесам и болотам собирал любку, дни и ночи настаивал ее корешки и не рюмкой, а ковшом поил бы людей, только чтоб одумались они, преисполнились уважения друг к другу, поняли бы, что любить и страдать любовью — и есть человеческое назначение, или веление Божье, или еще там что такое.

Минута, другая, пробежка по гребешку скалы — и вот тайга за спиной. Впереди открывается простор, от которого и по сей день у меня заходит сердце, хочется мне сидеть и сидеть на вершине утеса, смотреть и плакать. Пуще приворотного зелья мне эта даль и эта близь — леса, горы, перевалы, и главное — вот эта, притиснутая ими к Енисею, деревенька, издали, с высоты, такая сиротливая, такая смиренная, такая заброшенная, что стоном стоять хочется от любви и жалости к ней.

Я присел на край утеса, свесил ноги, стронутый мною камешек покатился вниз, из куста шипицы подпрыгнула и катнулась нежившаяся на припеке серая змейка. Грозно подняв узкий поплавок головы, она струйкой стекла вниз, в каменную щель. Я испуганно подобрал ноги.

Смотрю, не могу оторвать взгляд от села. Пришитое строчками поскотин и огородов к увалам, выгнувшееся полукружьем по берегу Енисея, оно стоит на ногах, несколько кривых, как бы нетрезвых, потому что нет-нет да какая-нибудь изба выскочит из порядка либо задом к миру повернется, а к лесу передом, — поперечный, озорной и расхристанный народ есть в селе, он как хотел, так и строился — ндраву его не перечь! Иные бани иль стайки ос-

новательнее изб ставлены, тесом крыты, изба же под дерном, может, хозяин хотел обстроиться после, но закрутил его ход жизни, запил он, махнул на обзаведенье рукой? Может, и погиб в тайге, на промысле, недостроясь? Может, при разделе с отцом или с братьями ущемлен был и теперь ни в жизнь не покроет крышу, чтоб все видели и знали, как с ним обошлись родители, какими наделили хоротами.

Недавно из записей великого русского путешественника Степана Крашенинникова, сделанных в 1735 году, узнал я, что село Овсянка восходит к давним временам, и, стало быть, одно из старейших оно на Енисее и ровесником является городу Красноярску. «На правой стороне Енисея есть пещера, — писал Крашенинников, — Овсянская называется (та самая, куда забегали мы, играя, и где Санька видел домовнику с домовым). Длинною в семь сажень один аршин, а поперек — в одну сажень. Река Енисей против сей пещеры только в двадцати саженьях. А еще есть писанный камень в двадцати верстах от этой деревни Овсянки. Половину служивых я наперед к писаному камню послал, чтоб того же дня дорога к нему прочищена была, а сам с остальными в овсянской деревне ночевать принужден был, потому что близ писаного камня деревни не имеется, а посланным служивым, сделавшим дорогу на Бирюсинскую деревню, которая в пяти верстах от помянутого камня, ночевать ехать велел».

Прелюбопытнейшая запись у Крашенинникова и о красноярцах. Привожу ее исключительно для того, чтобы показать, как неохотно исчезают и меняются привычки людей.

«От пещеры поехавши и на Овсянке лошадей переменявши, в город Красноярск того же дня к вечеру приехали. А здешнего города обычаи, которые мы, в нем живши, подметили, будут следующие: во время праздничное жители по гостям не званые ходят и черезчур упиваться любят, потому что иные из них почти весь город обходить не ленятся и инде чарку вина, а инде стакан пива урвут, и хотя уже в такое состояние придет, что на ногах ходить не может, однако ж лишбы в котором доме шум услышал, понеже из того признавают, что там попойка есть, хотя ползком ползет во двор, чтоб еще напиться...»

В селе нашем что ни двор, то причуда иль загиб какой, если не в хозяйстве, то в хозяине. Вот, например, Федорушка-мужик, дальняя мне родня по отцу, чего-то рассер-

дился на жену, отделился от нее и ото всей семьи, забил дверь во вторую половину избы, живет один себе и жену свою не узнает, заодно и детей. Да кабы только знать их не знал! Он еще всячески вредит бедствующей семье, покоя ее лишает, дрова колет в жилище, весь порог изрубил, и чем больше его увещевают и совестят, тем он шибче кобенится.

Подамся-ка я лучше вниз, к Слизневскому лесоучастку, что прямо подо мною дымит кочегаркой гаража. Зимой в гараже перемерзали отопительные трубы и батареи, а сейчас кочегары решили откочегарить за всю зиму — дать жару! Работает кузница, дымит густо, деловито. В кузнице громыкает молотом глухой платоновский старик. «Дедка Платон, сколько тебе лет?» — «Не знаю, бат, не знаю, — ссаженным, звонким голосом отзывается он охотно. — Много поди-ко! Четыре паковальни за жись исколотил, за пятау вот взялся. Карточку и симсот грамм получаю да ишшо кады каши дадут. Хорошо, бат, живу!..» Хватаясь за выступы скал, за кусты и коренья, медленно спускался я вниз, но меня раскатило, понесло вместе с камнями, и я какое-то время плыл в рыхлой лаве, но вот лава рассыпалась, а я так разогнался, что едва в речку не заскочил.

От Большой до Малой Слизневки рукой подать, там и околица села — вот она.

Тетка Августа жила в ту пору в доме, который перекуплен был лесоучастком и отдан семье лучшего шофера. Ныне в том доме, где прежде жила моя тетка, размещается магазин.

После похоронки с фронта местные мудрецы вместе с леспромхозовцами сумели оплести и выжить тетку из дома в ветхую избушку покойного охотника Лукаши, дав пятьсот рублей откупных.

В пору моей юности дом тот был еще крепок, крашен — сибирячки умеют и в годы бедствий не опускаться, содержать жилье в чистоте.

— Ой! — вздрогнула Августа, чего-то делавшая в кути.
— Откуль свалился?

— С гор!

— А у меня утресь головешка из печи на шесток выкатилась. Откуль, думаю, нечаянному гостю-то быть? А он, гляди, вот он!

Тетка говорила и пристально всматривалась в меня, и на ее лице заметно пробуждалась тревога. После того как

зимой по пути в Овсянку я чуть было не замерз, больше бывать в селе мне не доводилось, но я не забыл того похода, и тетка, вижу, все помнит.

— Выгнулся-то! Вырос! — покачала она головой. — Чё-то бледный? Не хворасешь? Или питание в фэзэу худо?

— Здоров! А питание? Как везде сейчас. Жить можно. Девчонки-то где?

— По земляницу ушли. Скоро явятся. — Я молча и удивленно уставился на нее — какие еще ягодницы? — Да они близенько, на первом увале, и младшую, Лидку-то, с собой волокут...

Меня поташнивало, слова Августы, все звуки доходили до слуха как-то отдаленно, ровно бы сквозь воду. Я сказал, что лягу в сенках на лавку, в холодок. Августа притащила подушку, подсунула мне ее, припахивающую ребятишками, и встревожилась:

— Да ты дрожишь весь!

Она кинула на меня стегеное одеяло, тоже пахнущее детишками, сама побежала со двора и, уже открыв ворота, загадочно как-то и даже чуть лукаво объявила, что сейчас кого-то созовет.

Я впал в липкое забытье, которое знают те, кто принимает таблетки или уколы с сильно действующим снотворным, когда спишь не спишь, вроде бы все чувствуешь, но сам рукой шевельнуть не можешь, глаз открыть не в силах, соображается вяло.

Через какое-то время, короткое, длинное ли, я почувствовал прикосновение ко лбу костлявой, но такой теплой руки — все во мне отозвалось на это прикосновение, что-то защеботало лоб, лицо, закатилось в рот, — я облизал губы и улыбнулся — четверговая соль! — вернейшее из вернейших чудодейственных «бабушкиных» средств. Соль, освященная на великий четверг, перед Пасхой! А хранится узелок с той солью в уголке за божницей, но какая молитва творится при этом, забыл. «Ах ты Боже мой! Легче, видно, с верой-то перемогать горе, смуту и невзгоды. Смешно! Смешно-то, смешно, да не очень, ровно бы я достиг наконец берега, и вдруг успокоилось во мне все сразу. Я глубоко и доверчиво заснул, как спать возможно разве что только дома, как уже давно не спал, — общежитие оно и есть общежитие, хотя наша комната была не воровская, не драчливая, все же шум, гам, боязнь продрыхать завтрак».

— Батюшко, солнце на закат, не надо бы спать-то! Очкнись — очкнись...

Бабушка! Катерина Петровна! Она всегда так говорила — очкнись, а не очнись. Не открывая глаз, я дотронулся до нее, нашел руку, сдвинул жесткие пальцы, обтянутые сухой, будто выветренной, шелестящей кожей, и какое-то время побыл там, в далекой дали, когда мог я позволять себе болеть и бабушка сидела подле меня, положив на лоб прохладную, когда надо теплую, ото всех недугов исцеляющую руку.

Не принято у нас, у дураков, никаких нежностей. Маленькие еще, куда ни шло, можем приласкаться, но как в возраст вошел — шабаш, бука букой! Особенно если ты парень или мужик. Бабушка чувствовала мою застенчивую ласку и угадала то состояние, в каком я, отдохнувший после дороги, высветленный сном, пребывал, не спугивала меня, не мешала мне, гладила по голове, чем еще шибче разнежила:

— Все стриженая, все стриженая... Так, видно, и не носить тебе молодецкого чубу?

— Ниче-оо, поношу еще! Какие мои годы?... — улыбнулся я и открыл глаза.

В старенькой латаной кофте, с отвисшей ниже подбородка некрасивой куриной кожей, усохшая лицом, но все еще решительная во взгляде, бабушка склонилась надо мной. В глубоких складках ее лица было горькое передо мною раскаянье. Я все еще, должно быть, казался ей младенцем, кинутым по ее вине в чужой дом, в гущу незнакомых людей, нет там мне никакой ни от кого защиты, я и побежал-то по горам, по долам, в одной гимнастёрке, голоухом, и прихворнул неспроста — били, поди-ко, сильно, увечили, галились злые люди.

— Это сколько же мы не виделись?

— С прошлой осени. Зимусь был, Гуска сказывала, я в те поры на хлебах жила... — и отвернулась, — чё делаш? Пропитанье каждому человеку требуется.

— А я шел, шел и пришёл...

Бабушка всплакнет сейчас, маму вспоминать станет, меня и себя жалеть возьмется. Я попытался подняться, сел и схватился за голову — кружилась, позванивало, снова тошнить начало.

— Да что же это такое?

Поправив подушку, бабушка велела мне лечь и снова пощупала мою голову:

— Жару нет. Не знобит тебя больше? Чево худое не съел ли?

Я маленько выправился, голова перестала кружиться, лишь слегка подташнивало, и сказал, что съел всего одну земляничину.

— Это с самова-то утра? Ничего тогда дивного нет. Худо можется, коль не гложется... Ты бы пайку-то выпросил в фээзу и шел. Наши какие достатки, сам видишь...

Я стал объяснять бабушке, как шел, шел и поднялся в такую уже высь, что стало от Слизневки совсем недалеко, а тут и деревня вот она, рядом. Духу моего не хватило повернуть обратно.

Рассказывая, пробовал я шутливо изобразить, как это все со мною было, и чувствовал, что не только бабушке, но и себе не могу толком объяснить, что волокло меня, тащило в горы, по каменистой слепой тропе.

Я вроде бы и ног не переставлял, плыл, плыл в каком-то забытии, когда не чувствуется тверди под ногами, немо вокруг и все в каком-то одном, полупрозрачном цвете или дымке. Размыты вблизи и звуки, и краски, но блазнится открытие впереди — сделаешь шаг, другой, третий, — и достигнешь какого-то, давно тебе знакомого мира, вернешься к себе прежнему, все уляжется, все получит прежнюю определенность, все прояснится, и ты пойдешь, нет, поскачешь по знакомым цветастым полянам, ощутишь босыми ногами привычную ласку еще не очерствелой травы, привычное солнце привычно будет припекать тебе маковку, привычный ветер трепать будет рубаху на потной спине, и ощущение твердой земли под ногами — вернут сознание незыблемости жизни, и покинет сердце эта, год или два мучающая тревога, ожидание неминуемой беды или какой-то тоже тревогу сулящей перемены в судьбе.

И я достиг той поляны, дошел до края, за которым чудилось мне беззаботное, такое близкое детство, достиг вершины хребта, на который не велено было подниматься детям, да и не хватило бы детских крохотных сил на преодоление такой преграды, подышал, посмотрел на мир, но мир не сузился передо мной до одной поляны, мир сделался многозвучней, ясней вблизи и тревожил далью, настороженно ожидающей, перекатная тревога сменилась теперь уж вечным, понял я, неспокоем, предчувствием чего-то, пока и самому неизвестного, и в сердце, в дальнем уголке его так и будет всегда шевелиться холодок, кру-

жась колючей капелькой по его горячей и невеликой плоти. Что завтра? Через год? Через десять лет?

Как объяснить это бабушке? Раньше все так понятно было. Но бабушка все, что мне казалось так мудрено, тут же объяснила житейски-просто, крестьянским опытом, древним умом и памятью ведала одну истину: все вокруг должно стоять и лежать на определенном месте — и дом, и пашня, и огороды, и лес, и горы вокруг, хозяйство и деяния человека в нем должны знать границу, должны быть очерчены жердями, заплотом, межой, дорогой, распадом, речкой, за которую не хожено и незачем ходить, стало быть, и думать, что там дальше, — незачем, всей земли не охватишь, вся она в Божовом распоряжении, только Ему и досягаемо всю ее озреть с небесной высоты: Ему и заботиться о ней, страдать большими страданиями, потому как один за всех. Человек должен трудиться и не роптать, а роптать, так про себя, помня про Божьи благодеянья, забывая обиды и все, что в его, Божьего человека, зрении и распоряжении есть до гвоздя, до щепки, до кисейной занавески на окне, должно быть известно, когда и за сколько приобретено, зачем оно тут есть и зачем будет, все должно быть поставлено в тот ряд, который и есть не что иное, как человеческая жизнь. В ней, в жизни, тоже в ряд составлены годы, месяцы, дни, минуты. Зиму сменяет весна, весну — лето, лето — осень. Среди будничных дней, как награды за труды, — праздники, которые дальше в жизнь не сгущаются, подобно лесам, наоборот, делаются реже, потому что к старости больше потерь у человека, накатывает нездоровье, усталость, плоть не тревожит, не гонит на чей-то зов, и праздники уже не праздники, и радость не в радость, зато душе покойней. Утихшая плоть высвобождает из тайного плена дух, стало быть, не только душу, но и тело можно посвятить Богу, то есть всего себя без остатка увести из суеты, от зла, тревог... и только печаль, тихую печаль возжигать в себе желтой свечкой и греться от слабого ее огня, слышать, как медленно и сладко истлевает она, усыпаясь вместе с тобою...

— Ты к Шалунину быку спускался?

— Спускался.

— А зачем спускался, знаш?

— Воды попил... и-н-ну, умылся.

— Заделье рукам нашлось. А вот тут-то, тут-то, — потыкала бабушка перстами в грудь, — тут-то чё? Тут

сердце за мать мучается, потому как ее сердце в тебе колотится, кровь ее тебя и позвала... Она, она-а! Нету зова сильнее крови да ишшо земли родной. Мила, мила та сторона, где пупок резан... И на последнее мамкино пристанище ты не сам пришел, не са-ам! Вила, крутила тропка и на мамкин след вывела тебя не зря. Ох, не зря! Разлука тебе большая предстоит с родной землей, вот и хочется сердцу твоему об камешек, где мамка лежала, раниться, чтоб боль не забывалась в дальней стороне... — Бабушка смолкла, поникла головой. — Кабы возможно было, батюшко, дак я бы все ваши муки на себя взвалила да с собой в землю и унесла, чтоб хоть немножко тут вам легче было.

Голос бабушки дрогнул. Я поворачиваю разговор — никакой мне разлуки не предстоит, всех наших выпускников распределяют по Красноярской железной дороге, потому как на ней не хватает кадров.

— Не знаю, не знаю, — недвижными глазами уставившись мимо меня, в открытую дверь сенцев, за которой на грани темени и света, тепла и прохлады клубились мушки и плясала рыжая, яркая, что огонек лампы, веселая бабочка, протянула бабушка. — Не знаю, не знаю, — повторяла она со вздохом. — Говорят, своя печаль чужой радости дороже. Коли ее немного, дак так оно... Да ты не мучь себя шибко-то, не винись. Покойных больше, батюшко, чем живых. И на погосте живучи, всех не оплачешь... — Она еще помолчала, снова дотронулась до моей головы ладонью, снова погоревала, что нет у меня «молодецкого чубу», и без горя уже, с привычной, будничной скорбью добавила: — Зачем, зачем только выдавала? Ведь знала же, видела, хто таков жених, да окрутил, оговорил девку, звонарь.

Та-а-ак! С умственного разговора бабушка сворачивает на привычное. Неужто и она боится запутаться вместе со мною? Да нет, для нее все и давно распутано на этом свете. Будь мама, дядя Митрий и дедушка живые, будь все у дочерей, сыновей и внуков в порядке, иди жизнь прежним мирным ходом, и гепералила бы бабушка в семье, и знала бы, что за семьей ее, за этим плотным частоколом, еще частокोल, еще ограды, еще хозяйства, еще дома — и там все идет своим известным ходом.

Но семьи рассыпались, хозяйства захирели, заботы сузились до самой обыденной — чем пропитаться? Как выстоять войну? Сберечь детей?

— Ты избавленья у свет покинувших не ищи — всякое довольство, всякое успокоение от живых... Вот живым-то и служи, дак и сам жив будешь... Человечишко злодействует, конечно, ест друг дружку, как собака собаку, последнего уж, видно, черт будет ись... да жив пока тем, что искупает зло своей мукой. Чё сделаешь? Не нами так заведено...

— А кем? Богом?

— Может, и Богом. Карат он нас за нечестивость, за злодеяния наши.

— Чё-то больно здорово карат? И давно! И все не тех. Гитлера бы вон карал! Чего ж детей-то, девушек, матерей?

— Да уж говорили: бешеных всех перевешали, но вот один на нашу голову остался. Он чей? Ерманский? Али из жидов?

— Немец! Людей в камерах газом душит.

— Эко, эко! Газом?! Пулев-то жалет? Свинцу дешевле люди. Эко ума-то накопили. Эко чё умудровали. Камера! Газы! И все друг на дружку! — Бабушка стала заправлять под платок волосы. — Ты тоже грамотнай стал. Веру отринул, чё она тебе шею терла? Мы с верой-то, с Богом-то как-никак жили, не вились, не вертелись. Эвон ты, парнишка парнишкой, а все чё-то ищешь, мечешься. Чё ищешь-то, разобьяснил бы мне, темной? Молчишь. Ну ладно, ежели уж без Бога обходитесь, гладны, хладны, по норки в крове, так хоть родну землю почитайте, за ее держитесь, памятуйте. Вон Вася-поляк, помня родину, жизнь прожил во святости, не запоганился. Забудешь родну землю, могилку мамкину да дедушкину покинешь — вовсе тогда завертит тебя смерчем-бурею, ни годов, ни дней не заметишь, осыплешься на землю дряхлой, старой, одинокай, остановишься над обрывом, ни зги, ни голосу, ни духу живого, ни дна, ни крыши. Это и будет тебе предел. Своеручнай ад. Какой сотворил — такой получи!

— Да ладно тебе голову-то морочить! И так муторно...

— Муторно, муторно! Клюкушество, опять скажешь? — бабушка слабо улыбнулась, скосив на меня глаза, и я ей ответно улыбнулся.

Отошла бабушка и уже песенно, плавно говорила о деревне, о земляках, о земле, как ее — матушку, трудно угоить, прибрать, засеять и оттого дорога земля, своими руками вспаханная, дорог хлеб, своим потом политый. Вспомнила, как один-единственный раз покидала Овсян-

ку — ездила в «далекие гости». Отправлена она была в Минусинскую волость, на богатые хлеба и арбузы к кому-то из дальних родственников. Поела она хлебов тех, крупчаточных, арбузов да румяных яблок и затосковала, места себе найти не может, язык потеряла, ночами не спит, плачет об чем-то.

Плюнул родственник и отправил притчеватую дуру с попутными плотогонами вниз по Енисею.

— И с тех пор заказала я себе дальну путь-дорогу, — повествовала бабушка. — В город, бывало, в Базаиху, в Торгашино ли на ярмарку обыденкой норовила, все обыденкой. И Лидишка-покойница эдакая же сумасшедшая была. Ну, у меня детей полон дом, старик характерный, а у ей чё? Муженек ненаглядный!.. Нет, уедет, бывало, в город на неделю, к вечеру уж пылит по переулку, ляпнется на лавку, оглядится, куда бежала, пошто бежала? Да и за дела-а! Ломить за артель, и все с песнями, со смехом. Может, смерть ее тревожила? Может, нажиться в родном углу хотела?.. Ох-хо-хо-о-о! Матушка, Царица Небесная, кто чё про себя знат? Вот у меня мнучек-то книжков прочитал — в телегу не скласти, а и тот ниче не знат, задается токо. Чё смеешься-то? Турнут вот в дальну сторону...

— Да говорю тебе — местное распределение.

— Ну, дай-то Бог, дай-то Бог! — бабушка начала подниматься, хватаясь за одно колено и разгибая его, хрустящее, щелкающее, рукою, затем за другое. — О Господи, прости, рассыпаюсь, совсем рассыпаюсь.

В это время по лестнице взбежала Августа с кринкой в руке и, глянув на меня, мимоходом спросила:

— Очухался? Я счас!

Брякнула щеколда. Бабушка выглянула из сенок и, хлопнув себя по фартуку, запела еще протяжней и умильней, чем пела мне:

— Да ягодницы-то наши являются! Да пташки вы, канарейки милые! — И громко восхитилась, зная, как радостно такое ее восхищение малым труженицам: — Гуска! Гуска! Ты погляди-ко, чё оне, пятнай их, вытворяют! Оне ить цельну кружку ягод набрали! Бог это вам, девки, послал, Бог! В эту пору и бабы эстолько не насоби-рывают.

Девчонки устало поднялись по лесенке. Капа несла белую кружку с яркой ягодой, Лийка, изогнувшись в жидкой пояснице, держала в беремя рыженькую, вертлявую девчушку, которая сморенно приникла к няне, увидев

чужого дядю. Настороженно глядя на меня, Лийка бочком протиснулась в дверь избы, унесла драгоценную сестрицу. Белепьякая, вся какая-то вроде бы насквозь пропитанная светом, ну вылитый ангел! — только заморенный — Капа смотрела на меня, словно бы что-то припоминая и решая про себя: поскорее в избу улепетнуть или остаться с бабушкой.

— Здравствуй, Капалина! — бодро сказал я. — Не узнлаешь? Помнишь, как мы зимой на печке луковицами играли?

Капа напрягла личико, глаза ее, густо-серого цвета, подернутые поволокой, сделались еще гуще цветом — девочка добросовестно пыталась вспомнить, где это она видела дядю и как мы с ней играли?

— Да это жа Витя! Ты жа поминала его часто! — подсказала бабушка и, обняв Капу за плечи, задрала подол ее платья, ловко промокнула у нее под носом и подтолкнула девочку ко мне.

Я дотронулся до беленьких, в косу заплетенных, мягких волос девочки, нашарил сосновую хвоинку, вытащил ее и, пробежав рукою по затылку, запавшему возле шеи от недоедов, задержался в желобке, чувствуя пальцами слабую детскую кожу, чуть отпотевшую под косой, — неведомая еще мне теплота залила мое плутро, и я сказал, глянув в кружку:

— Вот сколько набрала! Ну и молодец!

Девочка встрепенулась, просияв, вся подалась вперед, прижалась пуховенькой щекой к моей руке и в ту же минуту, почувствовал я, вспомнила, угадала дядю и резко сунула мне кружку с ягодами:

— На!

Я взял одну ягодку, самую крупную, самую спелую, раздавил ее языком и признательно улыбнулся девочке:

— Ну, беги, беги, отдай маме!

Капа с сожалением отлепила щеку от моей руки, высоко поднимая ноги, обутые в старые галошки, чтобы не просыпать ягоды, перебралась через крашенный порог.

Проводив глазами махонькую внучку, бабушка покачала головой и протяжно вздохнула.

— Мама, иди-ко сюда!

Бабушка трудно, с кряхтеньем поднялась, убрала с дороги табуретку и отправилась на зов Августы. До меня донеслись приглушенные слова: «Чё сделаеш? Нету да нету! Времена...» — идет совещание, догадался я, на тему: чем

меня накормить? До свежих картошек еще месяц, если не больше. Хлеба в доме нет, муки давно не бывало. Я громко кашлянул, давая понять, что все слышу, бабушка с Августой смолкли.

— Ягодки-то разделите, да с молочком, — раздался руководящий голос бабушки, — вот и ладно, вот и перепочуете, завтра в лавке по карточкам хлеб получите, да разом-то не съедайте! Обо мне не убивайтесь. Я пропитаюсь. Сами-то, сами-то держитесь.

Сумерки уже наплывали со двора. Тошнота все еще нудилась во мне, но есть хотелось не так остро, как во всякое другое время. Глаза мои сами собой закрылись, и опять меня начало окутывать успокоение, опять я расслабился телом, пуская в него дремоту. Надвигающаяся тишь деревенского вечера с теплом, разлитым по всей земле, с густеющими запахами нескошенных трав и пабирающей силы огородины, там и сям пробующей цвести по грядам и пахнуть, дух старого избяного дерева, почудившийся мне хлебным, и пыли, смешанной с растертыми, зимними катышами назьма, похожими на табачную пыль, свет предзакатного солнца, зари ли, красно шевелящейся в дырке от выпавшего сучка, — все-все вокруг меня и надо мною было так умиротворенно, так похоже на прежний, детской памяти, вечер, что я невольно доверился этому ближнему покою, погрузился в него, будто в глубокую, солнцем налитую воду, и не сразу услышал легкое к лицу прикосновение, а услышав, не понял, откуда оно, и хотел сдунуть с лица козявку, бабочку ли, как донесся до меня такой же робкий, что и прикосновение, зов:

— Дя-дя!

Возле моего изголовья стояла все та же маленькая беловолосая девочка. Уже умытая, причесанная, она приветливо мне улыбалась, протягивая все ту же белую кружку, счастливая тем, что она угощает меня ягодами, ею же набранными в лесу, и молоком, которое от детей и от нее тоже отделила мать. Зная эту, самую, быть может, бескорыстную детскую щедрость и пробужденное ею чистое чувство радости, я бережно обеими руками принял кружку и отпил из нее.

— М-м-м, как сладко! — задохнулся, оглох я от аромата ягод, от вкусного молока. И видел, как сияла Капа, как пробуждалось и пронзало ее чувство не осознанного еще порыва к добру и ласке. С остановившейся на лице улыбкой, сама того не ведая, широко раскрытыми глаза-

ми провожала девочка каждое мое движение, и, когда я делал глоток, горлышко ее с серенькими, близко под кожей ветвящимися жилками, коротко дергалось, тоже делая глоток. Взяв под мышку Капу я посадил ее поближе к себе и, глянув в кружку, сказал:

— О-о, как много-о-о! Давай вместе!

Девочка помотала головой, пропищала, слабо защищаясь:

— Я уже пила... кусала... па-асибо!.. — Слово «пасибо» переломилось у нее пополам. Я поднес кружку к детскому рту, и Капа припала губами к посудине, глотнула раз-другой, сперва жадно и звучно, потом заторможенной, медленней. С большим трудом преодолев себя, девочка не оттолкнула, отвела руками кружку, чтоб не расплескать молоко.

— Пасибо! Я кусала. Это тебе, — она отбивалась изо всех своих маленьких сил.

— Тогда попеременноке будем, — сказал я, и Капа согласнo затрясла головой — попеременноке она пожалуйста, попеременноке она может. И пили мы с маленькой сестренкой из большой кружки молоко с ягодами, и оба полнились душевной близостью.

Из глуби сумерек раздался всхлип бабушки: «Господи, Господи! Сироты вы мои несчастные!..» — Бабушка все, как всегда, зрила, понимала и страдала за всех нас.

Шукая себя за бок, там у нее, под кофтой, в потайном кармашке узелок с «четверговой солью», бабушка еще потопталась у ворот, повздыхала и, перекрестив отверстие дверей, откуда нам ее хорошо видеть, а нас со свету — нет, негромко брякнув щеколдой, удалилась со двора. Капа подцепила пальцем пустую кружку за дужку, поболтала ею, опрокинула над головой — ничего, дескать, не осталось, умчала ее в дом и, снова появившись в сенках, остановилась посреди них, охлопнула платице на животе и выдохнула громко, словно сожалея, что нет больше никакого заделья, которое бы нас объединило.

— Ну вот с-се! — она стояла в отдалении, потупясь, желая и не решаясь подойти и приласкаться к дяде.

Я загреб ее рукою, свалил к стене, и она приникла ко мне щекой, пошарила рукой по колкой стриженной голове, засунула мне палец в ухо, пошуровала в нем и, неожиданно приникнув к этому уху, выдохнула:

— Ты уже не хворас?

— Нисколючко!

Не вспомню, о чем мы еще разговаривали с маленькой сестренкой, кажется, я рассказывал ей про железную дорогу, про паровоз, про сигнальную дудку и даже изображал пыхтящий паровоз и дудел в сложенные трубочкой руки. Девочка смеялась, хлопала в ладоши, подпрыгивала и, осмелев, попросила:

— Привези мне дудку! Привезес?

— Привезу! Обязательно привезу. Вот пошлют меня работать на станцию, я стащу у стрелочника самую длинную, самую громкую-громкую дудку и привезу-у-у!

— Я буду звать колову. Все коловы плибегут на дудку! Много-много тогда молока будет!..

Обняв меня за шею маленькой рукой, Капа доверчиво ко мне приникла и, протяжно вздохнув, не уснула, а успокоенно погрузилась в пуховый детский сон. «Намаялась работница!» Я подскреб Капу под свой бок, чтоб ей было теплее, и перестал шевелиться.

Ни о чем я не думал, ничто меня больше не тревожило — было так хорошо, так светло на сердце, что я совсем расслабился телом и душой, и смотрел, смотрел в дырку от сучка, где раз-другой поискрила вечерняя звезда, и хотелось мне, чтоб вечно так было: теплый дом, деревенская тишина, малая сестренка рядом.

— Уснули два товарища, ухряпались! — склонилась над нами Августа. Пахло от нее землей, табачным листом, маковым ли цветом — она поливала огород. Бросив на нас лопотину, тетка по-бабьи жалостно вздохнула: — Спите с миром, братец и сестрица. Доведется ли еще?..

Проснулся я с петухами. Где-то за Фокинской речкой, у шахматовских или соколовских, хриплый старый петух затягивал песню, начатую, по-моему, за рекой, на подсобном хозяйстве, она неслась над берегом Енисея, оттуда уже втекала в переулки — в платоновский, бетехтинский, фокинский, вот и юшковского достигла. У тетки Марии Юшковой, совсем рядом, потоптался, поцарапал когтями о дерево, укрепился и грянул петух. Долго ждал он ответа — голос его миновал наш переулок, затем Церковный — в церкви была пекарня, но теперь и пекарню заколотили, на лесоучастке хлеб пекут, — перекатился по бобровскому и по харитоновскому, крайнему переулку, скоро и околица... а ответа все нет, все нет. Неужто всего два-три песельника осталось на селе? И то сказать — чем кормить их, для чего держать в доме бесполезную скотину? Но где-то, уже в самом исходе села, почти у поскоти-

ны, спохватился петя, будто на ходу надевая штаны, торопливо собираясь на службу, он коротко, без переборов прокричал: «Я чи-ча-а-а-ас!» Какое-то время молчание царило в селе и над селом, но вот далеко-далеко, за рекою, точно в глубине предрассветного мироздания, спокойно, солидно, будто все, что происходило на земле, его не касалось, никакой он кутерьмы не знал и знать не хотел, неторопливо, длинно, не пропел, оповестил петух — наступали утра и будут наступать, приходили дни и будут приходить до тех пор, пока есть небесный свет, солнце, звезды, утра и дня никто не отменит, не остановит. Потому-то с уверенностью ждал певец — подхватят его клик, понесут дальше, дадут звуком веху из дома в дом, из улицы в улицу, от села к селу.

Я укутал Капу в одеяло, подтыкал с боков, поцеловал девочку в ухо и, постояв минуту, пошел со двора, надеясь умыться в Слизневской речке.

Сделав малый крюк, я завернул в наш потылицынский переулочек и, заранее зная, что ворота заложены, все же повернул кольцо, приподнял щеколду. Заворина держала створку ворот со двора. Конечно, я мог бы перелезть через заплот — невелик и привычен труд, но бабушка заохает, заахает, примется разжигать таганок на шестке, жалкий треногий таганок, которым и пользовались-то в голодный год, когда варить было нечего. Под таганок она экономно будет класть щепочки, собранные на улице и по берегу, еще экономней сыпать крупу в какую-нибудь старенькую чашку, чтоб заварить кашицы-размазни либо мутного киселя с квасом, на темном, из картофельных очисток добытом, крахмале.

Я оставил щеколду поднятой, чтоб бабушка видела и знала, что побывал у двери человек, не забыл о ней, и присел на мокрое от росы бревно. Муравьи точили его от земли, вдоль бревна рыжели горки древесной трухи, заболонь от комля и вершины вся была изъедена, отстала верхняя корка по всему дереву, и только там, где вечерами мы часто с дедом, куда присаживались путники, ослабевшие в дороге, дерево было все еще плотно, лощено и тепло на вид.

В доме дяди Левонтия сверкнуло — тетка Васенья по старой привычке встает раным-рано, разжигает печку. Затрепетал, заколебался огонек, из трубы вытянуло хвостик дыма, от лучинки загоралась с торцов горка дров, огонь набирал силу, все шире растекался по окну, и я увидел

отраженный светом пламени, неподвижный человеческий силуэт — встала с петухами Васеня, чтобы, пока не проснулась команда, наварить ведерные чугуны картошек, похлебки, и, опамятовшись, замерла возле шестка. Нет команды в доме, вверенный ей корабль не шумит, и даже дым из него идет как-то сморенно, вяло, и сам капитан, дядя Левонтий, смурной и трезвый, виноватым взглядом смотрит на хозяйку, придумывает и не знает, чем ее утешить.

Петухи пели все реже и ленивей, слышался редкий перебряк за кладбищем, на Фокинской речке — деревенское поредевшее стадо лежало на круглой зеленой поляне, возле первой росохи, и пастушонок спал у подернутого серым отгаром огошка. На реке взвизгнул и затрещал газогенераторный катер, звук его был резок, неуместен, он разом спугнул утренний покой, вернул тревогу людям.

Над одним, другим, третьим домом заструились трубы, звонче брякнули ботала на Фокинской речке, стадо поднялось и двинулось в село.

Петухи смолкли.

Дальний свет, занявшийся по-за енисейскими хребтами, как-то быстро и незаметно распространился по небу, отчетливо отчеркнулись перевалы возле Малой и Большой Слизневок, из утренней мглы начали проступать призраками заречные горы, и вот возле самого неба белесым облаком означилась и стала набухать Гремячая, а там и Покровская гора — это уж у города и в самом городе.

Я поднялся с бревна, пробежал до поскотины, перемахнул через нее, да не согрелся, было зпобко шее и спине под гимнастеркой, но яснею и приближался от самой воды грузно взнявшийся и все круче, выше, решительней врезающийся в небеса Слизневский перевал, и, пока я поднимусь в его крутик по осыпям и вилючей каменной тропке, сделается мне жарко, там и солнце взойдет, осушит летнюю, недолговечную росу. По холодку я быстренько пролечу версты, разделившие меня с училищем, обратный путь все под гору, под гору, а под гору версты короче. Что-то там меня ждет? Куда-то отправят работать? Но что бы ни ждало, меня теперь надолго хватит.

На самой верхотуре, возле прохладного, росой сверкающего сосняка, под обшкрябанными ветром и бурями лиственницами, я непременно присяду передохнуть, постараюсь вдосталь насмотреться на село, озаренное восходящим солнцем, и еще раз достану взглядом то место за

лесами дивными, за горами высокими, где разгибаются и уходят в поднебесье расщелины двух могучих рек, раскрываясь мохнатым глухариным крылом, в котором не счесть перьев и перышек — «Там летела пава через сини моря, уронила пава с крыла перышко...»

Я много раз, с разных мест смотрел туда, где сливаются Енисей и Мана, стараясь преодолеть взглядом или хотя бы мысленно молчаливую, конца не имеющую даль, и всегда мне казалось, да и сейчас кажется, что там, за той далью, находится неведомая мне, чудесная страна, в которой, я знаю теперь, мне никогда не бывать, но которая так всегда манила и манит, что я иной раз путаю явь со сном, потому что неведомая страна с детства обворожила меня, вечный ее зов бродит в моей крови, тревожит сердце, тело, и пока я жив, пока работает память, тоска по этой не достигнутой мною стране — каждодневно, каждоминуточно будет со мной.

И когда придет мой последний час и последний свет станет уходить из моих глаз, верую: и тогда томящим видением будет так и не открытая мною страна, и не умрет, а замрет ее образ во мне, чтоб через годы, может быть, через столетия ожить в другом человеке, и увидит он ее моими глазами и заплачет, как я плачу сейчас, сидя в поднебесье на скале, моими слезами, не сознавая, что плачет он от какого-то озарения, встревожен чьей-то воскресшей в нем любовью, пронзившей толщу времен и доставшей ту плоть, ту душу, в которой суждено повториться и моей печали, и моей радости, всем, что заказано будет мне пережить, запомнить и унести с собою.

СОЕВЫЕ КОНФЕТЫ

Миша Володькин, Петя Железкин, оба из города Канска, и я распределены были работать на станцию Базаиху, третью в те поры станцию, если ехать от Красноярска на восток, никакого, кстати, отношения не имеющую к одноименному поселку. Ныне город достал и вобрал в себя поселок Базаиха с одной стороны и станцию Базаиху — с другой. А когда-то она с девятью путями, с желтым, просевшим в земле вокзалишком, с выводком домишек, рассыпанных вокруг него, среди которых полутораэтажный блок-пост выглядел сооружением не только самым высоким, но и значительным — сиротливо ютилась под крутыми голыми косогорами.

Подле вокзала, у первого пути, брюхом в траве, стоял пассажирский вагон, разгороженный надвое деревянной переборкой. В одной из половин, в той, где была сложена печка, нас определили на жительство. К работе мы приступили с первого дня. Нас включили сцепщиками в составительские бригады, но предупредили, чтоб мы быстрее осваивались, привыкали к специфике станции и сами возглавили бы бригады.

В направлениях и удостоверениях об окончании училища указано: «составители», а не «представители», — мрачно съязвил, беседуя с нами, начальник станции Иван Иванович Королев.

Человек седой, угрюмый, преклонный годами, он был из тех людей, что если уж полезут на дерево, то сперва выберут дерево по силам и тогда непременно взберутся

до самой вершины — начав со стрелочника, он достиг того предела, который был по его умственным силам и грамоте, и на большее не прицеливался — но уж вверенную ему станцию знал вдоль и поперек, железнодорожные правила и премудрости вьелись в него вместе со станционной ржавчиной, пылью, суетой, рутанью и пропитали не только легкие и сердце, но и тело насквозь. Поразила он нас тем, что не матерился, — редкость для железнодорожника вообще, для начальника станции в частности. «Порченный», — решили мы единогласно, и такое ему прозвище от нас и прилипло.

«Спецификой» станции Базаиха было то, что составители поездов и многие специалисты жили в Красноярске, ездили на работу пригородным поездом. Товарная станция Красноярска, забитая до того, что, казалось, нитки вот-вот лопнут по всем швам и полетит весь транспорт под откос, старалась как можно «интенсивней» использовать пригородные станции. Но станция Енисей не больше нашей. Злобино — еще только начинала разрастаться, однако окружена уже была мощными предприятиями, действующими и восстанавливающимися в эвакуации, и сделалась станция Базаиха, до которой еще «доставала рука», чем-то вроде «милкиных ворот», перед которыми, «топнув копытами, конь, остановится!». А как это — остановится, когда идет война и Родина ждет!

Освоиться со «спецификой» успел лишь я, да и то не очень. Мишу Володькина и Петю Железкина, не успевших «стать на броню», тут же мобилизовали и отправили в формирующуюся отдельную сибирскую стрелковую бригаду. Зачем, спрашивается, учили полгода, кормили и маяли ребят? Остался я в просторном вагоне один, и завертела меня работа, так я устал попервости, что ни разу не побывал во второй половине вагона, куда битком набили мобилизованных из деревень «на прорыв желдортранспорта» девок, и они порой оживленно, можно подумать, с целью, повизгивали и молотили в стену кулаками так, что из переборки выпадали оконтуженные клопы.

Ох, не зря на транспорте говорится: «Бог создал любовь и дружбу, а черт — железнодорожную службу!» И поныне, едучи поездом, стою я у окна и гляжу на тусклые огоньки маленьких станций, и как увижу дремлющую на отшибе маневрушку, встрепенусь, провожая ее взглядом в дальше, глубже погружавшуюся тьму набегающих лесов, перелесков, снегозащитных щитов и ельников. Де-

вять станционных путей! Кому и какое дело до них? Один или девять? Главное, чтоб поезда шли. Маневрушку гоняли с первого пути, если встречный, то и со второго — стало быть, из девяти два долой. А так как полыхала война и встречные да поперечные ошалело мчались десь и ночь туда-сюда, то пускали нас работать на главные пути лишь на самом утре, когда все на земле замирало и транспорт тоже дышал устало, заторможенно. Девятый путь со ржавыми рельсами был забит «больными» вагонами, заблудившимся порожняком. На третьем и четвертом пути от входной до выходной стрелки, вытянувшись, ждали череду, чтоб рвать в назначенные дали, «срочные», «спец», «литерные», «особые» и всякие другие поезда, названия которых поначалу пугали меня своей многозначительностью. В середине станции часто торчала беда и порча нервов — балластная вертушка с до зарезу нужным грузом — ко всем эвакуированным заводам «срочно», «экстренно», «по особо важному приказу» прокладывались ветки, без балласта им ни жить, ни дышать.

И выходило: два-три пути в твоём распоряжении, товарищ составитель поездов или «товарищ бригадир». Как пазовут меня, бывало, «товарищ», да еще «бригадир» — я и покраснею, чувствую, какой я еще зеленый, неумелый, как не соответствую высокому и важному званию, как подвожу станцию, транспорт, фронт.

Еще была в нашем распоряжении ветка в балластный карьер, где работали злые, перекипелые в горе женщины и рвал ручки круглосуточно рычащего, содрогающегося от дряхлости экскаватора пожилой, животом мающийся машинист.

«Использовать вспомогательные мощности!» — призывал Порченный, вот и вертишься, бывало, по-за станцией, «используешь», а по первому пути мчат и мчат составы, высекая из рельсов искры — на Запад, новые или латаные, с поющими, пиликающими на гармошках солдатами; на Восток — одышливо, будто все время в гору, битые, издырявленные, сборные составы; реденько мелькнет белыми занавесками санитарный; тяжело пробухает по стыкам рельсов «спецпоезд» с тяжелым оборудованием из какого-нибудь еще одного большого города, сданного врагу.

Станет поезд, отдаст машинист, чаще помощник, жезл дежурному по станции, и тут же оба они ткнутся лицами в грязные, протертые подлокотники окошек, охваченные

тревожной дремой, опустится убито кочегар у горячей топки, и коробит ему жаром грязное лицо. Не курит, не говорит, спит с открытыми глазами кочегар, и машинист не убирает с реверса руку, так и отдыхает в «боевом положении».

Поезд облепляли неуклюжие, в стеженные грязные брюки одетые, крикливые бабы не бабы, девки не девки, смазчицы, осмотрщицы вагонов, матерились громко, бежали прытко, а толку...

Выйдет с жезлом в руке дежурный по станции, товарищ Рыбаков, постоит, глядя на убитого усталым сном машиниста, на облепивших состав «тружениц тыла», вздохнет и виновато скажет: «Поехали, механик!»

«Поехали так поехали!» — отзовется машинист, зевнет, протрет ладонью глаза и, коротко взревев, ФЭДЭ или ЭМКА буксанет на месте, «кинув» состав взад, и, дождавшись обратного толчка, который катится от хвоста, бреща буферами, словно щелкая гнилые орехи, тихо, почти невидно шевельнется, и, кажется, не состав поплыл, а наш желтый вокзальчик, по углам, наличникам и дверям крашеный для фасона коричневым суриком; дежурный по станции поплыл со свернутым желтым флажком; девчонки, бабы с длинными молотками, со смазочными «чайниками» в руках, а за горой уже ревет, просится на станцию другой состав, не менее важный и еще более срочный.

Вагонный парк к этой поре уже шибко пострадал от войны, вагоны пожгли и побили немцы, взамен их насобирали старые, со сплошь заржавелой, немазаной сцепкой, худыми воздушными рукавами, расхлябанной тормозной системой, с буферами, которые звякали по-боевому громко, но так и норовили вывалиться на ногу или расплющить тебя. А уж борта платформ, стенки старых вагонов — дыра на дыре. Но попробуй на маневрах просыпать груз: уголь, руду, цемент, соль или чего еще — тебе так просыпают!..

* * *

На первых послесменных планерках меня еще «не замечали», и дежурный по станции точил до дыр оператора, стрелочников, составителей поездов, весовщиц и всех, кто подвернется под руку. Те отбrehивались как могли, женщины часто ударялись в громкий плач, мне казалось, на станции обретаются куча бездельников и разгильдяев —

никто из них не умеет и не хочет работать, только то они и делают, что изо всех сил подводят Родину. Солидно по-малкивал сидящий, как и положено главе семейства, в переднем углу густобровый, насупленный начальник станции, чего-то черкал в откидном блокноте с форменными бланками, строго поглядывал в ту сторону, где сидел распекаемый дежурным нерадивый работник. Когда, наоравшись и наплакавшись, все умолкали, Порченный прокашливался и подводил итог:

— Значит, дежурный по станции товарищ Рыбаков смену проанализировал, в опшэм и целом, так сказать, картину обрисовал, поработали, надо сказать, ничего, в опшэм и целом с грузооборотом справились, хотя не обошлось без накладок и все еще имеются простои, промахи и недостатки...

Не знаю, был ли он талантливым руководителем, если бы был, ему бы, наверное, дали станцию или должность побольше, но он много поработал на своем веку, поседел на железной дороге, хорошо знал ее «ндрав» и потому был человеком терпеливым и добрым, в отличие от иных старых железнодорожников, не чуждавшихся спеси и чинодральства, про которых прежде говорили: «Да, туповат наш брат железнодорожник, зато пуговицы по пузу в два ряда!...»

Словом, начальник станции, как и полагалось отцу-миротворцу, всё на шумной планерке успокаивал, вводил жизнь в берега, отпускал новую смену с наказами сделать то-то и так-то, кому-то грозил пальцем вдогон, кого-то поощрял добродушным воркованьем, обещал дополнительные талоны на кашу и просил остаться ту или иную женщину после планерки — значит, беда, значит, похоронная. К этой поре прибывал пригородный поезд, под названием «Ученик», который, пятясь задом, тащил паровозик «СУ» — сучка по-здешнему, и все, кто жил в городе, торопились уехать домой.

Мой наставник и бригадир, Кирила Мефодьевич Зимин, высокий, грузный, с виду вяловатый мужик, умел, однако, без разгона, с места, запрыгивать в катящийся вагон, на ходу сцеплял и расцеплял пусть и ржавые форкопы, на ходу же мог соединить или разъединить и перекрыть воздушные рукава и вообще работал как бы играючи. Во время планерки он садился в угол на пол и тут же крепко засыпал, и на работе, если случалась хоть маленькая остановка, он тоже мог мгновенно уснуть, хоть в де-

журке, хоть на блок-посту, хоть в будке стрелочника, хоть на угле в тендере маневрового паровоза — большой силы, крепкой натуры человек и опытный работник. Даже крикливый дежурный не решался на него орать, потому что Зимин вперед него и лучше знал, как и что надо делать.

Замечу, что работа составителя лишь со стороны кажется шалая-валяй, прыгай, бегай да сцепляй. И железнодорожный состав — это не сборище разномастных вагонов, как попало меж собой соединенных. Нет, железнодорожный состав — продуманное и довольно сложное сооружение, в котором все рассчитано по осям, тормозам, тоннажу, по техническим возможностям локомотива, по длине станционных путей, словом, с учетом многих технических условий движения поездов и правил сигнализации железной дороги.

К примеру, если сунуть двухосный пустой вагон в середину тяжелого состава — его может при торможении «выдавить», ну вот как иногда в очереди выдают человека — и он окажется наверху, и ему ничего не остается делать, как «идти по головам». Если торможение к тому же начнется «под горку» — не миновать крушения.

Кроме всего прочего, составитель обязан распределить по составу ручные тормоза так, чтоб в случае отказа воздушной магистрали можно было бы ими приостановить состав. В сборных поездах одиночные прицепки-вагоны, платформы, цистерны ли располагаются с хвоста или с головы состава, чтобы на станции назначения их можно было отцепить, не делая лишних перекидок, но, опять же, с учетом тормозящих средств. Многое я уже забыл из того, что обязан был помнить в ту пору и что знал, несмотря на малую грамоту, как верующий человек — «Отче наш».

Если планерка заканчивалась до прихода «Ученика», Кирила Мефодьевич Зимин оставлял фонарь в тамбуре «моего» плацкарта и долго, с неподдельным изумлением смотрел на картинки, которые я вырезал из забытых кем-то на вокзале цветных журналов и наклеил на беленые стены вагона, чтобы жить веселее.

— Рубенс, — шевеля губами, трудно выговаривал Зимин. — Похищение Яфродиты. Рембрант — Ди-ва-на... Гляди ты, все бабы голые да справные какие! Не по карточкам кормленные.

Я растоплял печку, целясь плеснуть на сырые дрова керосину из своего маневрового фонаря.

— А вот у тебя, скажем, пожрать есть чё?
— Картошек сварю. В одиннадцать хлеб привезут...
— До одиннадцати на картошках, после такой-то смены... — Он выглядывал в окно вагона и торопился. — Паровоз обернули. Я поехал. Ты вот чё, как выплещись, ко мне валяй — дрова пилить поможешь, баба покормит. Пока!

Скоро Зимина вернули в Красноярск, и я начал работать самостоятельно, встречал его редко. Но вот запомнился он мне почему-то на всю жизнь, добродушием, хлебосольством ли, ничего не стоящими в сытой мирной жизни и не имеющими цены в войну, умением ли все делать справно, ко всем относиться ровно, без подобострастной улыбки к начальству и без обидного снисхождения к такому работяге, как я. Он не давал мне лихачить — прыгать с места в вагон, сигать на ходу с подножки, работать меж катящихся вагонов. «Поспеешь еще шею сломать! — увещевал Зимин. — Работа считай что саперная. Много нашего брата без ног, без рук мыкается. Калека какая радость в жизни?..»

Бригада моя состояла из четырех человек: составитель поездов, сцепщик, машинист паровоза и его помощник, который по военному времени совмещал и должность кочегара. Машинист у меня был хотя и в годах, но на вид моложавый, и звали его все Павликом. Любил он страстно пожрать и такой матерщинник был, что всей станцией его было не перематерить. Помощников его я не успевал запоминать — они часто менялись, уходили на самостоятельную работу, да и не выдерживали парни и девки крикливого нрава машиниста, а главным образом — его сыпучей матерщины.

Сцепщик мне достался небольшого ростика, какой-то запыханный, драпый, сонный, с бородавкой на глазу и с грязно темнеющими усами. Звали его Кузьмой, жил он в Красноярске, тамошние мудрецы знали, чего сбыть на пригородную станцию, — «на тебе, Боже, что нам негоже»; не менее мудрые деятели пригородной станции, конечно же, сунули Кузьму самому молодому простофиле-бригадиру.

Моего сцепщика никуда нельзя было послать одного, он забывал или делал вид, что забыл, зачем его послали, засыпал на подножке маневрушки, прятался от меня на тормозных площадках вагонов, один раз сонный выпал с площадки и чуть не угодил под вагоны. Кроме всего про-

чего, он никак не мог запомнить правила сигнализации, путал «вперед» и «пазад». Павлик крыл его на чем свет стоит, мне на каждой планерке всыпали по первое число, потому что работы становилось день ото дня больше и больше, один я с нею не справлялся.

Но однажды с Кузьмой случился голодный обморок, и мы узнали, что у него пятеро детей, все сыновья, хлеба не хватает, он давно уж досыта не едал, работа тяжелая, а уходить нельзя — где дадут такому трудяге хлебную карточку на восемьсот граммов да еще дополнительные талоны в столовую.

Присматриваясь к невзрачному, плохо умытому мужичонке, я дивовался — как такой вот хмырь-богатырь сумел замастырить пятерых парней?

Павлик тоже был многосемейный, но изворотлив, как дьявол, не давал жизни подмять себя, постоянно соображал и высматривал, где бы и чем поживиться, чтоб только паек его оставался семье. Как-то углядел он двухосный вагон, который долго не ставили ни в какой сборный состав. Вагон шибко нам мешал, и мы его то и дело катали с одного пути на другой. И Павлик, как я ему ни махал флажком или фонарем: «Тише!» — долбал и долбал этот вагон, да еще и паровозишко при этом рутал, совсем, дескать, дряхлая машина, либо на меня наваливался, что я-де сперва выплюсь, потом сигнал даю.

Скоро, однако, все объяснилось. Павлик так разогнал свою «овечку» и так резнул ее буферами в буфера вагона, что оттуда раздался вопль, открылась дверь, на землю соскочил заспанный, лохматый человек и заорал на меня: «За все ответишь, враг!» Павлик ухмылялся и подмигивал мне. Человек шумел, шумел и сказал:

— Ведро яиц и полчайника сгущенки, но чтоб сегодня втиснули в состав!

Человек этот сопровождал вагон с продуктами, был уже бит, стрелян и обираем в пути. Но и Павлик духом не поослаб, на легкий посул не откликнулся.

— Два ведра яиц, чайник сгущенки! Ставим сквозняком до Боготолы, а там пособляй тебе Бог...

По сию пору, если яйцо хоть чуть-чуть залежалое — воротит меня от него — так мы тогда намолотились переболтанных, припахивающих яиц.

Любила наша славная бригада ездить в балластный карьер — там экскаватор подкопался под совхозные поля, и поначалу машинист выбирал из загруженных платформ

проросшие картофелины, с конца июля — и молодой картофель; осенью начали попадаться в ковш экскаватора вместе с гравием турнепс, свекла, морковь. В топках экскаватора и нашей маневрушки, на крюком изогнутых ломах все время клочкотало какое-нибудь варено, в ведерном медном чайнике кипяченая вода, запаренная то травой, то ветками малинника, одичало растущего по-за огородами и на пустырях.

Но однажды Павлик узрел воробьев в спутанных бухтах проволоки, нагретой за день, открыл клапаны, продул котел, паром сшиб столько пташек, что нагребли их почти полное ведро, навздевали на железные прутья и стали обжигать в притушенном котле, и я поцапался с Павликом, а цапаться с машинистом — последнее дело — он в бригаде важнее составителя.

Мы вытянули порожняк с оборонного завода, и поскольку на станции была теснотища, я решил на заводской стрелке подобрать вагоны, чтобы на станции поставить их в поезд без возни. Порожняка было не так много — пара полувагонов, четырехосная платформа, штук семь крытых вагонов — «пульманов» — заводу много приходило сухого, ценного химиката. Перешучиваясь с заводской стрелочницей, известной мне по нашему училищу, я быстро разбросал, затем собрал вместе порожняк и повелел Кузьме оставаться в середине состава, который стоял на только что уложенных рельсах новой ветки.

— Магистраль соединять не будешь? — спросил меня машинист.

— Не-э, — откликнулся я, шагая по гребню насыпанного гравия, — ветку продолжали тянуть дальше, и мы каждую смену подавали сюда из карьера по две-три вертушки сыпкого материала.

— Дело хозяйское, — буркнул Павлик, ревнул гудком «овечки» и, пробуксовывая, тронул порожняк.

Тормозную воздушную магистраль полагается соединять и приключать к паровозу, даже если ты тянешь пятток вагонов, а тут их вон сколько. Нарушение. Я стоял на куче балласта, поджидая платформу с тормозной площадкой. Постукивая о новенькие, свежерыжеющие рельсы, платформа кособоко приближалась ко мне, чуть опав на ослабевшие передние рессоры — флажок у меня за голенищем сапога, грудь нараспашку, сейчас вспрыгну на платформу, сяду, ножки свешу, сверну сигарку, покурю всласть, отдыхая и блаженствуя до самой станции.

Глаз уцепил скобу с отвинченной гайкой — схватись — и загремишь под колеса. «Ах, сучки осматрщицы! Куда только глядят?» — отмечая чужое нарушение, ругнулся я и приподнял ногу, чтоб вскочить на другую подножку, ползущую на уровне с горкой балласта. «Стоять на осыпях, на песке, балласте, куче извести, асбеста, тем более прыгать с них категорически запрещается!» — вспомню я минутой позже наставления по технике безопасности. Пока я стоял, опора хоть и ненадежная, но все же была на две ноги, но поднял одну ногу, и вторая сильнее давила гравий, он стронулся, потек, камешки защелкали о рельсы и шпалы — я вскрикнуть не успел, как забарахтался в потоке гравия, гребя его под себя руками, но меня сносило на рельсы, под платформу, колесо которой надвигалось неумолимо. Вдруг стиснулись, закрипели вагоны, из-под колеса платформы порхнул дымок, но колесо, хоть и с визгом, дымясь, искря, продолжало катиться. Я уже не барахтался, а, подобрав под себя ноги, парализованно наблюдал, как оно приближалось, давило в порошок камешки на рельсе, успел еще зацепить взглядом тормозные колодки — они болтались безработно — тормозная воздушная магистраль разъединена.

Прошло много, очень много времени. Вечность пронеслась надо мной! Платформа дрогнула, звякнула железным скелетом, с ее щелястого пола сыпанулась пыль, произошло какое-то непосильное напряжение — и колесо ладонях в двух от моих колен замерло, перестало крутиться.

Мне говорили потом, что я не сразу выскочил из-под платформы, решили — зарезало. Первый, кого я увидел, был Павлик. Он молча бежал от паровоза с чайником в руке. Подскочив, он сперва сунул мне рожок чайника в рот, но я не мог сделать ни единого глотка. Тогда ото всей-то душеньки Павлик отвесил мне пинка под зад и снова сунул горелый носок чайника в рот. Я поперхнулся водой, протолкнул в себя первый глоток и жадно, звучно, как конь, начал пить, затем отлип от чайника и загоготал, глядя на собравшихся путейцев, на Павлика, на Кузьму.

— Эй, ты! Чё хохочешь-то?

— Видать, того он...

Павлик заматерился, подпрыгнул, принялся хлестать меня со щеки на щеку: «Сосунок! Сосунок! Жись-то одна! Жись-то одна!..»

Не раз и не два отсечет потом рукавицы на моих ру-

ках при сцепке «на ухо» — это когда фаркоп — винтовую сцепку набрасываешь на специально для того сделанное на автосцепке приспособление, формой и в самом деле напоминающее свиное ухо. На той же самой заводской ветке, поскользнувшись, попаду я снова под вагоны и, вытянувшись в струнку меж рельсов, пропущу над собой несколько платформ, покажется мне, что простучит падо мной бесконечно длинный поезд, однако сильнее того страха, того остолебнения, которые пережил я под кособокой платформой, не испытывал вплоть до фронта.

* * *

Работая в ночную смену, я послал Кузьму на хвостовую платформу вертушки и велел глядеть «в оба» — ветка в карьере не ограждена, связана на живульку, ее все время передвигают к экскаватору, и когда спускаешь вертушку в карьер — испереживаешься.

Надвигалось утро, на экскаваторе погасили свет и спали. Мы его в потемках миновали. Чувствуя что-то недоброе, я помахал фонарем сбоку — «тише, тише». Маширист дакнул тормоз, пшикнула, напряглась воздушная магистраль, скрипнули, заискрились колодки, прижимаясь к бандажу колес. Я собрался попросить паровоз гуднуть экскаватору, чтобы нам тоже свистком откликнулись из темноты, но в это время впереди послышался удар, вертушка грохнула, сыпанулся и защелкал о рельсы недобранный при разгрузке балласт. Меня толкнуло так, что, не схватись за поручни, а ехал я в середине вертушки, на тормозной платформе, то и свалился бы. Я прыгнул в темноту, угодил в горку балласта, упал на колени, разбил стекло фонаря. От паровоза бежали. Выхватив фонарь у помощника машиниста, я крикнул, чтоб завернули на платформах ручные тормоза, и помчался в хвост вертушки, с ужасом представляя, как увижу под колесами растерзанное тело сцепщика, — уснул, сбросило, измяло, порезало на куски...

Без фуражки, с разбитым вдребезги фонарем, заплетаясь в длинном спецодежном плаще, Кузьма спешил на огонек моего фонаря, ударился в меня, остановился, что-то шлепая губами, и я, обрадованный тем, что он жив, не сразу разобрал: «Ой, чё будет? Ой, чё будет?..»

— Десять лет штрафной, — пробубнил подошедший дежурный экскаваторщик.

Мы свалили две платформы с «подвижного» тупика: одна лежала на боку, другая сошла с рельсов, и пара колес врезалась в гравий, другой парой как бы на последнем издыхании удерживалась на пути. Мы все осмотрели и начали ругаться. Моя бригада материла бригаду экскаваторщика за то, что на машине не светилась сигнальная лампочка. Экскаваторщики крыли нас за незаделанный тупик, затем все вместе мы крыли Кузьму. Он все так же без фуражки, косматый, мятый, дрожмя дрожал и не защищался. Кто-то нашел фуражку, сунул ее козырем на лицо Кузьмы.

Паровозным домкратом, ломами мы подняли и вкатили на рельсы одну платформу, пододвинули экскаватор, опрокинули на колеса и вторую, подсоединили ее к вертушке. Экскаватор густо задымил, зарычал, забренчал — пытаюсь спасти нас, экскаваторщики спешно бросали на платформы вертушки по ковшу-другому балласта — авось не заметят. Но вот совсем рассвело, и мы поняли: аварию не «замазать» — у одной платформы лопнула рессора, погнуло тормозные рычаги, оборвались воздушные связи, да и вторая платформа изуродована, побита.

На планерке я доложил о случившемся и заявил, что всю вину беру на себя — был на хвосте, недосмотрел.

— А сцепщик где был?

— На средней платформе.

— А где ему быть полагается?

— Да кто ж в работе, да еще ночью?..

Кузьма сидел в углу все в том же плаще глиняного цвета, утянув голову в горбом взнявшийся брезент, и, что было самое возмутительное, продолжал дремать, лишь иногда встряхивался, приподнимал голову, утирал мокро с губ. «У-у, запердыш несчастный! Наплодил ребятишек, я их спасай! Меня вот кто спасет?» Обессиленный тяжелой, лихорадочной работой, ночным страхом, плел я чего-то совсем уж несусветное и скоро был изобличен целиком и полностью. «Да будь что будет, дальше фронта не сошлют, больше смерти не присудят... Ребятишки-то, ребятишки-то у хмыря этого — богатыря — по детдомам мыкаться пойдут. Вот горе-то...»

Велено было писать объяснительную, я сказал, что не могу. «Как это не можешь?» — начал было начальник станции, но, видя, что я едва стою на ногах и ничего сообщать не могу, отослал поспать, после чего честно и объективно все изложить. Я побрел из комнаты дежурного.

Впереди меня, продолжая подремывать на ходу, тащился Кузьма. Полы его плаща волочились по порогу, мели окурки, и мне хотелось пнуть своего помощника что есть силы, да вот силы-то и не было.

* * *

Немало, видать, попыхтел Порченный, много с кем переговаривал и поспорил, может, кого и умаслил, чтоб «в опшэм и целом» дело обошлось без трибунала. Меня лишили премиальных и дополнительного талона и еще поставили «на вид», Кузьму было решение понизить в должности — но ниже некуда, разве что в «помазки», к девкам, так я и продолжал маяться с ним. Теперь уж чего хотели, то с нами и делали! Работали мы по двенадцать часов, через сутки, один выходной в неделю, война не война, вынь да положь — труд составителя требует много сил, сообразительности, ловкости, чуть притупилась осторожность, сдали силенки — и ты кандидат в покойники либо в вечные инвалиды.

Мои выходные «испеклись». Я все кого-то подменял, меня постоянно просили провожать вертушку на завод вместо кондуктора либо какой-нибудь приبلудный сборный составишко до Красноярска. У всех семьи, дети, беды, горе, годы, болезни. У меня ничего этого нет, и виноват я, выслуживаться надо, вот и вертелся волчком и довертелся-таки до беды, которую не сразу и почувствовал.

Проводив вагоны на Злобинский комбинат, я припозднился и смену принимал с ходу — как ездил теплым сентябрьским днем в сатиновой рубахе-косоворотке по ветерку, с форсом, так в рубахе и в ночь работать вступил, надеясь вырваться с маневрушкой на первый путь, заскочить в свое жилище, пододеться. Смена выпала горячая, суетная, работы было много. Где-то о полночь пошел дождичек. Беззвучный такой, мелконький, детский, он постепенно загустел, разошелся, набрал силу. Я залез в паровоз, повернулся к топке спиной, мелко-мелко и нехорошо как-то все во мне поддрагивало, и я с ужасом начал вспоминать болезнь детских лет — лихорадку.

Налетел дежурный по станции, заорал, замахал руками. Павлик сунул ручку реверса вперед, вроде бы нечаянно сбросил горластого дежурного с подножки паровоза. Мы заматались по станции, быстренько сделали срочную работу, после чего я наконец-то смог переодеться в сухое.

Днем заболела голова, морозило меня, трясло изнутри, я ушел на блок-пост, к сказителю Абрисову — прежде он работал на этой же станции оператором, но по старости «сошел с дороги», однако нужда заставила найти его и упросить помочь транспорту. Был Абрисов немножко уже не в себе, орудуя рычагами на блок-посту, непрерывно «орудовал» он и языком. Лежа на его нехитрой постеленке возле отопительной батареи, я наблюдал, как лысый, в нимбе седых, архангеловых вихров, метался Абрисов по просторному залу блок-поста и, не стесняясь своей помощницы, — женщины из эвакуированных, складно плел охальную нечисть.

К вечеру стало мне хуже, сделалось больно глотать, кружилась голова, и тот же балабол Абрисов проводил меня на здравпункт. Размещался здравпункт в одном помещении со столовой: одна половина — столовая, другая — здравпункт. Ведал лечебным заведением молодой белобрысый парень с такими челюстями, что лицо его напоминало чугунный утюг, заканчивающийся остреньким и так далеко вынесенным подбородком, что он полностью оттеснил все предметы лица вверх, расширив почти до ушей скобу рта, вдавив в плоскую губу висюльку недоразвитого носа. Зав. медпунктом все время щурил косенькие глазки и важно сдвигал брови, отчего кисельно морщилась дряблая кожа лба.

— Температура? — с ходу задал он вопрос и сунул мне градусник.

Здравпункт организовали наспех, в связи с восстановлением эвакуационной промышленности, чтоб мы не мотались в Красноярск, нас тоже приписали к этому заведению, к столовке и к магазину. И везде-то на нас фыркали, выходило, что мы только перегружаем собой «точки», мешаем планово и усердно вести дела.

— Мм-мах! Мах! Мах! — пошлепал губами фельдшер и с серьезной значительностью сдвинул дужки бровей: — Температуры нет, молодой человек, стало быть...

«Стало быть, вы — симулянт!» — прочел я на его лице и, пока пятился из медпункта, видел, как уничтожительно лыбится медицинское светило и поправляет, все время поправляет узелок атласного галстука, ярко сияющего в глубине бортиков халата, — первый это признак: хватается за галстук, стало быть, непривычен к нему, завязывать не умеет — выменял у эвакуированных.

Выскочив из медпункта, я храбро ругнулся и подумал,

что, наверное, правду говорят пугейские бабы, будто фельдшер этот снимает по три раза в день пробы в столовке, не пропустит и бабенок, тем паче девок без пробы на кухню работать, да и «помазков», которые обитают за моей стеной, не забывает, постоянно проверяет санитарное состояние их общежития, от девок клопы тучей прут — павезли из сел клопа тощего, жадного, на деревенского мужика задом смахивающего. Девкам что? Их много. Которую и съедят — не горе, а я вот один остался, должен стеречь сундуки Миши Володькина и Пети Железкина — кинули имущество на меня, уверяя, что быстренько управятся с фюрером и вернутся.

Эх, ребята, ребята — шутники!

Ночную смену я едва дотянул и, когда пришел в вагончик, не раздеваясь, замертво упал на кровать. «Ты, машина, ты железна, — тянули за стеной «помазки», — куда милова завезла-а, о-о-ох, о-о-хо-хо-хо, куда-а ми-было-о-о-ова завезла-а-а? Ты, маши-ы-ына, ты-ы, свисто-о-о-очек, подай, ми-ы-ылы-ый, голосочек, о-о-х, ох-хо-хо..».

Под эту песню, жалостно думая о девках и о себе, я и уснул. Разбудила меня вокзальная уборщица, которая по совместительству обихаживала общежития. Лицо старой женщины было напугано.

— Ты чё, захворал?

— Кажется. — Я еще мог говорить.

Уборщица поставила к кровати таз и собралась бежать в медпункт. Я запротестовал: «Гниду видеть не хочу!» — и попросил купить молока.

От горячего молока, которое я проталкивал в горло, точно каленый шлак, сделалось полегче, и я задремал, а старушка брелчала посудой, отыскивала поваренку, которую, говорила она, надо лизать и глотать слюну, глядя на утреннюю зарю — как рукой снимет «болесь». Поваренки в моем хозяйстве не было, уборщица постукала кулаком в стенку, спрашивая у девок, но и у тех поваренки не оказалось, может, и была, да они послали уборщицу и меня ко всем чертям, пропади, мол, он пропадом, раз такой гордый и никого замечать не хочет.

Я и заметил бы, да стеснялся, а девки, будь одна или две, так и поощрили бы меня чем, выманили, но когда их много, они ж выдрычиваются друг перед дружкой, решат насмешками. Да и уставали девки на работе.

Мне наконец-то «вырешили» выходной. Заходил Кузьма, спрашивал: «Может, чё надо?» — «Ничего не надо». Кто-то натопил у меня печку — жарко, душно. На табуретке стояло горячее молоко в кружке, но я уже не мог его глотать.

Поздно вечером в мое жилище, как бы по своей воле, завернул фельдшер, глянул, пошлепал губами: «М-мах! Мах! Мах!», взял мою руку, нащупал пульс, и я увидел, как отваливается тракторная челюсть, раздвигаются бровки и провисает меж них кожа его лба. Хватаясь за галстук, фельдшер черкнул на бумажке закорючку, послал куда-то уборщицу, а мне сказал укоризненно:

— Что же вы, молодой человек, не являетесь на здравпункт?

Обложить бы его звонким желдорматом, но повернешь язык — и в горле угли шевелятся, рассыпаясь горячими искрами по всей утробе.

— Ладно уж, не оправдывайтесь!

В вагончик забежал дежурный по станции, встревоженно глянул на меня, на фельдшера. Медик важно взял его под ручку, склонился доброжелательно головою — ведь выучилась обезьяна где-то и у кого-то «виду».

— Немедленно! — услышал я из-за печки. — Немедленно, понимаете?!

— Где же вы раньше-то были? Сейчас только на то-варняке...

— Нельзя!.. Категорически!.. И до меня дошло: я опасно заболел. А так все пустяково началось: дождичек, на спине рубашка намокла, покатался на маневрушке «с ветерком». В войну болеть нельзя. В войну большие пикому не нужны — пропасть можно.

Я впал в забытие и очнулся от быстрого, заполошного шепота:

— Одевайся! Одевайся! Одевайся, скорейко!

Шатаюсь, не попадая ногой в штанины, я надел железнодорожную форму, обулся в ботинки. Персдо мной шаталась уборщица, плавало в тумане ее лицо с шевелящимся ртом. Стесняясь непривычной беспомощности и того, что не спит из-за меня изработанный человек, я пытался вымучить благодарствие, но старушка приказала молчать, забрякала кулаком в заборку.

— Девки! Язвило бы вас! Люди вы иль не люди? Проводите парня в город. Мне на смену.

— Подменись!

Ругая девок, уборщица набросила мне на плечи телогрейку и, бережно обняв, повела. На перроне с развернутым красным флажком стоял дежурный по станции. Я глянул на станционные часы — четверть пятого, из Владивостока шел скорый, нашу станцию он обычно пробрыкал напроход.

Мне захотелось протестовать и плакать.

Вдали яростно рывкнул «И. С.» и сжал ребра колодок. Весь поезд содрогнулся, громыхнул вагонами, задымил колесами и придержал бег. «Что у вас?» — знаком спрашивал помощник машиниста с грязным и недовольным лицом. Сворачивая флажок, дежурный по станции указал на меня, помощник растопырил пять пальцев — и меня тут же втокнули в медленно катящийся вагон с единственным во всем поезде открытым тамбуром.

Это был мягкий вагон. Все двери купе в нем плотно закрыты, ворсистая дорожка, расстеленная в коридоре, глушила шаги.

— Вот здесь садись, — участливо прошептала проводница и откинула мягкую скамейку от стены. — Чё, заболел? — Я кивнул, и она шепотом же продолжала: — На Заозерную по селектору сообщили...

«Наши, — расслабленно и жалостно подумал я. — Хорошие у нас люди работают, а я все от них в стороне, все с книжечками...»

* * *

Что три станции для скорого! Я и оглянуться не успел в мягком вагоне, как загрохотал он по мосту, пронесся мимо кирпичной больницы, уютно приткнувшейся под высокой насыпью и под огромными тополями на берегу Енисея. В эту больницу у меня и лежало направление в кармане черной железнодорожной гимнастерки, и идти-то до нее от вокзала пустяк бы... Я вышел из вагона на сырой осенний перрон, меня зашатало. «Э-э, парень! Ты чё это? — подхватила меня под локоть проводница и подождала, пока я устоюсь. — Не вздумай по путям!»

Да, по путям нельзя, хотя и близко. На путях стрелки задержат — они ловят всех кряду, да с таким лютым видом, будто станция кишмя кишит шпионами и диверсантами. А если не напорешься на стрелков — раннее утро все ж, дрыхнут небось, что, как закружится голова? Быть под колесами.

И я двинулся в обход. Дурацкий тот обход не забыть мне вовеки. Какие-то ларьки, забегаловки, мастерские, и все это соединено заплатами, заборками, переборками — богата Сибирь древесиной. Изводи — не изведешь!

Закоулки, дыры, перепутья, повороты. Вроде бы вот он, тупик, идти дальше некуда, но вправо какая-то ленивая, полуслепая, тропинка, западая в лебеду, исчезает в дебрях избушек, будок, железа, досок, обрез. Миновал лебеду, уперся в ржавую железнодорожную ветку, увенчанную пестрым шлагбаумом, дремло свесившим хобот. Фонарик на нем не светился, по хоботу слой пыли. Жизнь угасла и остановилась. Но теперь уже по левую руку, в тополя, видны ворота, и сквозь прорезь листов просматриваются лоскутья давнего плаката: «пере... летку...» — винный завод! От него мне вперед и дальше. Вилляя по каким-то натоптаным плешинкам, я обхожу грязные колдобины, вдавленные в землю рельсы, скоростистый огород, забранный отходами, подлажу под старые вагоны и — Господи, спаси и помилуй! — впереди вроде бы засебился Енисей, выстуженный холодным утром.

Ан, радость преждевременная! Опять меня повело, повело, вроде бы уж в обратную сторону, но через дыру меж хибарой, вросшей по брови в землю, солидным, по случаю военного времени упочиненным заплотом, выбросило на улицу, к железнодорожному предприятию, на котором белым по ржавому написано: «Вагонное депо».

Ну как тут не порадоваться и от радости не послабеть!

Глянул вперед — мосты видно и вершинку мелькомбината; обвел глазами вокруг — трубы вдали дымятся, гудки где-то поблизости раздаются, электросварка за забором трещит, отбрасывая сияние; на реке пароход колесами хлопает.

Есть, есть жизнь на планете, движется она, и больница, чую я, где-то рядом.

Вот и улица Ломоносова! Тут уж я не пропаду, больница-то фасадом к реке выходит, на улицу Дубровинского, задом на Ломоносова. Или наоборот? Да черт с ней! Дойти бы. Найти бы. Скажу я: «Больница, больница! Повернись к городу задом, а ко мне передом!» — И готово дело! Только отдохну малость. Малую малость. Отдышусь, силенок накоплю и пойду. Ох, пойду!

Вот и скамейка, завалинка ль уютная такая. Привалился к чему-то холодному, поймался руками — круглое и твердое, и вроде бы дребезжит. Отдышался, открыл глаза —

змей! За змея держусь, за железного — такой формы дождевая труба. Пасть зубастая, расхабаренная, в пасти язык белый — ледышка намерзла. Я осмотрелся и с тупым изумлением открыл: сижу на завалинке старого-старого деревянного магазина и держусь за водосточную трубу, память подсовывает фактик — это первое в моей жизни торговое заведение, посещенное мною еще в младенчестве..

Зачем? Почему я был в городе? С бабушкой был — это точно. И вроде бы в другом веке, на другой планете — тогда еще люди ходили пешком, ездили на лошадях под красноярские железнодорожные мосты. Возле узенького пролета по ту и по другую сторону лежали клубки колючей проволоки — это если шпион объявится и полезет мосты взрывать, так чтобы запутался. Не знаю, напоролся ли на колючку хоть один шпион, но деревенские дураковатые конишки, застигнутые в подмостной дыре автомобилями, храпя, вставали на дыбы, бросались на проволоку. Не одна крестьянская коняга запуталась в проволоках, изорвала себя, поуродовала. Когда ситуация обострилась еще пуще и кругом объявились враги народа, лаз под мостом закрыли, мужики сотворили далекий объезд мимо мелькомбината, к речке Гремячей.

Скорее всего мы с бабушкой шли тогда к мосту, чтобы перенять возле него подводу и выпроситься подвезти нас. Смутно помнится, что до этого я был в белой комнате и меня больно тискали, заставляли широко отворять рот белые люди — вытаскивали рыбью кость из горла. Я подавился сорогой, самым же и наловленной на Усть-Мане. По случаю избавления от беды и во исцеление младенца на последнем городском рубеже дрогнуло сердце бабушки, и она завела меня в магазин, который совершенно меня ошеломил своим изобилием — в нем столько было конфет! Ничего больше не помню. Кажется, пахло селедкой, икрой, постным маслом, мясом, кажется, все витрины и прилавки ломились от хлебного, мясного, рыбного, овощного изобилия, но я смотрел на ящик с «раковыми шейками», который как бы в изнеможении высовывался из стены собачьим красным языком и клонился к полу. Там были еще и еще ящики с конфетами, дорожными, красивыми, заципанными уголком или завернутыми узелком, но меня отчего-то заворожили «раковые шейки», я вроде бы даже ощущал на языке их рассыпчатую, чуть приторную, ореховую сладость. Но бабушка купила мне

горстку подушечек и два пряника, велела завязать их в чистый носовой платок, который был выдан по случаю поездки в город с тем условием, чтоб в него не сморкаться.

С узелком в правой руке, держась левой за бабушкину руку, брел я, усталый, к мосту, такой маленький-маленький, с таким бедным-бедным гостинчиком, из такого захудалого-захудалого магазинишки. Да что же это такое? Да почему же все так в моей жизни паскудно-то? Почему? И в магазин-то угодил в крайний, убогий. И обутчонки-то жали. И бабушка-то кланялась подводам, на меня показывала, взывая к состраданию. И конфетки-то самые дешевенькие. И пряники, кем-то уже облизанные...

И надо ж было мне именно теперь, в такую крайнюю минуту, оказаться у задрипанного того магазинишки, чтоб дрогнуть, разреветься, израсходовать последние силы.

Дальше я брел почти уже в темноте, на ощупь, шаря руками по штакетинам палисадииков, по запозистым сколышам заплотов, по черствым и щелястым бревнам. Мне все сделалось безразлично, захотелось прилечь на секунду, на одну только секунду на такую уютную, плоскую и прохладную землю. Воздух в груди спрессовался, будто пескарь на песке, ловил я его открытым ртом, но только тянулась, катилась на гимнастерку уже и не липкая слюна, вроде как сок из подрубленной осины, горький, едучий. И все же я осилился, еще раз поднялся, попробовал даже отряхнуть пыль со штанов и каким-то чудом выбрел к Енисею, сел у ближнего дома на скамейку подождать, чтоб прояснилось перед глазами, глянул налево — улица пуста, глянул направо — тоже пуста.

Гоношился, скребся вверх по реке колесный пароходшко, крикливый, надоедный, всему городу по ору известный. «Колхозник» — название ему было. Все остальное в городе, на реке, в мире свалено спом. Дома закрыты ставнями, лишь пристань маленько слышно. К острову ткнулись носами баржи. Букашкой прилип к одной из них серенький катер. Машины не ходят, лодки не плавают; даже заводы на другой стороне реки дымились вяло, изморно, и только ТЭЦ, расположенная неподалеку, гнала на город чернущие валы дыма из шеренгой выстроенных труб, мне казалось, что дымом этим запечатало во мне грудь я никак не могу продышаться. Поймав глазами мерцающие переплетения железнодорожных мостов, рядом с которыми уютно стояла больница, я обреченно подумал: «Мне не дойти...»

Сколько-то еще сопротивляясь беспамятности и бессилию, я шел, однако ноги в коленях помягчали, руки обвисли, голова сделалась тяжелой, спина вроде как слиплась с гимнастеркой, смялась, и я сел посреди улицы, затем лег, свернулся на камнях, подложив руки под лицо. «Полежу, отдышусь...»

В какое время, не знаю, должно быть, вскоре после того, как я свалился на булыжник, послышался стук колес, переходящий в такой грохот, будто это подкатил Илья-пророк. «Телега! По улице катит телега. Кабы на меня не наехала...» Подумать-то об этом я подумал, но никакого усилия не сделал, чтоб подняться. Грохот приблизился и оборвался — телега свернула на песочный съезд к Енисею, ехал водовоз с бочкой, оттого так и грохотало.

Однако меня кто-то шевельнул, опрокинул на спину.

— Гляди-ко, парнишшонка! — и с удивлением: — Справный парнишшонка, не вакуированный, железнодорожник. Э-эй, железнодорожник! — постучали меня чем-то по голове, я потерял фуражку, и телогрейку потерял, как потом выяснилось. — Ты чё, пьяный али захворал?..

В горле моем что-то сдвинулось, засипело, сознание мое от боли окончательно померкло.

В седьмом часу или еще в шестом — не могла после вспомнить дежурная на проходной, в ворота больницы сильно постучали, и она, ругаясь, пошла отворять. Отворила — перед нею явление: золотарь с вонючей бочкой вожжи держит, на его месте, прислоненный к торцу бочки, железнодорожник, не то пьяный, не то помер.

Вахтерша старая попалась, смекалистая, много на своем веку повидавшая, цап-царап за карманчик моей гимнастерки — там направление, и не куда-нибудь, а во вторую больницу! «Гляди, как ловко получилось! — удивился золотарь. — Ну, везуч парнишшонка, везуч!..»

И укатил дальше, грохоча на всю округу бочкой.

* * *

Молодого железнодорожника заволокли в санпропускник — раздевать и мыть — все как полагается. Что, что без сознания? Живой пока, теплый, стало быть, макай его в воду, положи!..

Тут и явился в больницу профессор, дай Бог памяти — Артемьев, по-моему. Он вел железнодорожную больницу, преподавал в мединституте, возглавлял военные и всякие

комиссии, и загляни он на шум в санпропускник, где волочили по деревянным решеткам довольно крупного парня две малосильные тетки, пытаясь разболочь его, чтоб соблюсти приемную санитарию. Профессор даже не спросил, чего они делают и зачем? Он прыгнул в санпропускник, оттолкнул теток и, сильно схватив за нижнюю челюсть парня, отворил ее, глянул и тревожно, так тревожно, что тетки вконец перепугались, крикнул, протягивая руку:

— Что-нибудь! Ложку! Лопатку! Палочку!

Тетки ринулись, ударились друг о дружку, упали, и тогда профессор резко сунул в горло молодому железно-дорожнику два сильных пальца.

Дальше я снова могу рассказывать сам.

После ослепляющей вспышки в голове боль пронзила насквозь не только сердце, но и все тело, и тут же следом за нею и вместе с нею в мое нутро хлынул воздух, быстро наполняя меня, а наполнив, как праздничный легкий шар, понес куда-то, в живое пространство. Я летел, кружился, чувствуя, как вострепелось, зачастило сердце от пьянящей, так нужной ему и мне воли, словно его и меня вытолкнули из тесного сундука, словно подбросили хворосту в дотлевающее пламя.

Что-то порченное, вонючее хлестало из моего рта, слезы лились, и когда я открыл глаза, какое-то еще время все плавало, дробилось передо мною, но до лица дотронулись спиртом пахнущей ваткой, протерли его, промокнули глаза, и сквозь мокро на ресницах я увидел приближенное ко мне, сверкающее очками, этакое типичное лицо старомодного доктора. Он держал меня за плечо и что-то говорил, радуясь моему светлому воскресению, — я это распознал по его взгляду, слезы пуще прежнего закипели во мне и полились из глаз, теперь уж не от боли, теперь уж просто так.

— Дыши-ы! Дыши-ы! Дыши-ы! — напевал доктор.

Я признательно уткнулся носом в мяготь халата, пахнущего талой енисейской водой.

— Все хорошо, юноша! Все хорошо! — доктор приподнял пальцем мой подбородок, и почудилось — под очками у него заблестело. — Не плачь, а то и мы заревем. Хорошо дышать?

Я хотел сказать: дышать не просто хорошо, дышать — это не знаю какое счастье... но только шевельнул язы-

ком — такая боль ожгла горло и такая снова хлынула дурь, что уж не до разговоров мне сделалось.

Те самые санитарки, что хотели меня мыть и вместе со мною, как потом сами признались, наревевшиеся досыта, повели меня в перевязочную, где усажен я был в удобное, тугой кожей обтянутое кресло. Медицинская сестра смазала мое горло намотанной на палочку ватой, густо облепленной вощичей дрянью. Боль все не проходила, но я дышал. Никогда еще я не дышал так жадно, никогда так не наслаждался самой возможностью дышать.

В перевязочной прибавлялось и прибавлялось народу. Появился доктор. Вытирая полотенцем руки, велел мне открыть рот, мимоходом глянул в него и удовлетворенно качнул головой.

И тут я вспомнил, что давно, очень давно, наяву, во сне ли, уже был в такой же перевязочной и видел такого же доктора, он тоже помогал мне освободиться от боли, и фамилию его вспомнил — Артемьев, теперь уж не доктор, а профессор!

* * *

Знали профессора не только и не столько как профессора — город сражен был совершенно безумной приверженностью его к футболу. Сейчас этим никого не удивишь. Ныне ради футбола и хоккея люди на преступления идут, есть такие, что чуть ли жизнь самоубийством не кончают. Но до войны болельщик, подобный профессору Артемьеву, был редкостью, и случалось, ох случалось, предавал он общественные интересы — сбегал из больницы, с лекций из института, с заседаний ученых советов, с экзаменов, один раз будто бы даже из операционной улизнул — человеческая молва, что лесная дорога, криушает куда попало, благо лес большой.

До войны на красноярском стадионе «Локомотив» свирепствовали все больше братья: то Бочковы, то Зыковы, то Чертеняки, и в великие уж люди они выходят, бывало, мячи на голове через все поле проносят, штанги ломают, московским командам делать в Сибири печего, всмятку их расшибут, да забалуют любимцев болельщики, запоят, заславят и, погубив, тут же забудут.

На стадионе «Локомотив» профессора Артемьева не раз ловили коллеги и... на улочку. Он — ловчить научился, смотреть футбол из-под трибуны, где валяются окур-

ки, бумаги, нечистоты, где в пыли и грязи прячется безбилетный зритель парнишечьего возраста. Подтрибунные болельщики уважали профессора, считали его своим парнем, спорили с ним, ругались и вместе свистели. Но болельщики нашли новое средство бороться с неистовым болельщиком — вызывали его по радио. Только он устроится под трибуной, попросит «отодвинуть ножку», как из динамика раздается: «Профессор Артемьев, на выход!» Он палец к губам: «Меня нет!» Но по радио повторяют и повторяют фамилию — где ж выдержишь! Выход с «Локомотива» хоть налево, хоть направо — половина стадиона, трибуна-то на обратной, «глухой» стороне, по-над Качей. Выудят испачканного, сердито сверкающего стеклами очков профессора, он ругается: «Какой г...нюк здесь радио повесил? Э... О... Прошу прощения у женщин. Это ж спортивное сооружение... Не вокзал! И хочу спросить кой у кого: имею я право, как советский гражданин, как патриот сибирского спорта?..»

Говорят, из исключительного уважения к профессору парнишки сделали подкоп под забором стадиона, и он выползал по подземелью к Каче. Юркнет в переулок, стриганет в больницу, а его кличут, а его кличут!.. Говорят, жена от него ушла, дети разбежались, одна домработница осталась, «жалеючи блаженного», и шибко бранила хозяйина: «У тя голова седа, руки золоты, умственность выдающаяся, а ты со шпаной на футболе свистишь, передову советку медицину позоришь!..»

Я смотрел на профессора во все глаза и ничего такого особенного обнаружить в его облике не мог. Он отдавал какие-то распоряжения почтительно его слушавшим людям, взгляд ученого был устремлен куда-то дальше, и мысли его, казалось мне, заняты совсем не тем, чем он сейчас занимался. За всем его видом и за тоном человека, привыкшего повелевать, различался избяной человек, слабо защищенный, простодушный, однако простодушие-то было крестьянского происхождения — «себе на уме».

— Ну как, герой, ожил?

Я покивал и попробовал улыбнуться профессору. Он приказал, чтоб я помалкивал, — говорить придется ему, мне остается только кивать головой, но если и это движение вызовет боль, — прижимривать глаза.

— Уважаемые коллеги и студенты! — громко начал профессор. — Сегодня не в институте, сегодня здесь, в больнице, расскажу и покажу я вам, как можно ни за

понюх табаку сгубить человека... — Чувствуя мою стесненность от многолюдного внимания, он ободряюще тронул меня за плечо. — Юноша, ты заболел почти неделю назад? — Я кивнул. — У тебя кружилась голова, появилась слабость, но не было температуры, и тебя на медпункте сочли симулянтom? — Я снова кивнул. — Между тем у юноши развивалась фолликулярная ангина, таких два пустяковых нарывчика в горле снизу и один, совсем уж пустячный, — сверху. Он-то, пользуясь плотницким термином, и расклинивал два нижних нарыва, и оставалось юноше жить... мало оставалось ему жить. Откровенно говоря, крепкая порода да г...воз... Э... о... прошу прощения у дам, спасли его. Между тем человек лишь начал жить, из него, быть может, Менделеев... Не смейтесь, не смейтесь! Или сам Бутусов... Да пусть просто человек, гражданин, рабочий, защитник Родины!

Не знаю, как отнеслись к той нечаянной лекции профессора Артемьева коллеги и студенты, но я-то много, ох как много запомнил из нее навсегда.

— Военное время, — втолковывал профессор, — страшно прежде всего тем, что человеческая жизнь как бы убавляется в цене, а кое для кого и вовсе ее теряет. Происходит это от распушенности имеющих хоть какую-то власть над людьми, и необязательно большую.

— Фельдшерिशко с базайского здравпункта, — продолжал профессор. — Кто он есть? Но он познал отравную силу своей, пусть и маленькой, власти и по заскорузлости ума не сознает, сколь страшна эта сила... — Профессор Артемьев остановился против меня: — Фельдшерिशка, недоносок на вид? — Я кивнул. — Шибздик?.. Э... о... Прошу прощения у дам! Ничтожество неосознанно, не всегда осознанно, мстит всем, кто здоровее его, умней, честней, совестливей, стараясь низвести людей до своего образа и подобия. История начиналась не с государств и народов. История начиналась с одного человека, но с первого! И одним, если дать волю злу, она может закончиться, но последним. Он должен будет сам себя вычеркнуть из списка и вместе с собою зачеркнуть все, что было до него. Чудовищно! Немыслимо! А между тем есть, есть люди, способные на это. Война обнажает зло, но за войной следует успокоение, мир, и зло утрачивает силу. Недоноски торопятся, успевают сосать кровь, ломать кости. Гуманист — всегда богатырь, всегда красив и силен духом, а эти горбатые ричарды, наполеоны с бабьими харями, хромые

талейраны и геббельсы, психи гитлеры, припадочные, горбатые, прокаженные правители — природа сама шельму метит: смотрите, люди, остерегайтесь зла!.. Э... о... Прошу прощения! Я, кажется, зарапортовался! Алексей Алексеевич, — обратился профессор к пожилому врачу, — позаботьтесь, чтоб фельдшеришку с поля вон. Фол! Подножка! Игра в кость! Санитаром его, сукиного сына! В госпиталь! Потаскай раненых, пострадай. Тогда только допущен будешь к страдающим людям... — Профессор захлопнул крышку часов, заторопился из перевязочной, на ходу бросив через плечо: — Покормите парня. Чем-нибудь жиденьким и теплым.

Еще раз я увидел профессора в больнице через несколько дней. Он прошел мимо меня к тяжелобольному — на станции Злобино ночью давнуло сцепщика, и он лежал весь в бинтах у окна, слабо постанывая. Профессор шел так стремительно, что отдавало полы незастегнутого халата, и, пока считал пульс больного, нашел меня глазами:

— Как дела, герой?

Няня, понарошку поправляя подушку, шепнула мне:

— Поклонись, поклонись!..

— Спасибо вам, — тихо сказал я и, отложив книгу, наклонил голову.

— Не на чем! — ответил профессор и чуть заметно, почему-то грустно улыбнувшись, добавил: — Подрался б с хулиганами, они б давнули тебя за пикульку — и так же бы проплевался. Кстати, Алексей Алексеевич, не забудьте сделать больному прижигание.

«Еще прижигание какое-то! Тут и так глотку больно», — загоревал я. Думалось, что раз прижигать, значит, огнем. Алексей Алексеевич сказал, что физкабинет не работает и прижигание возможно сделать не ранее как через неделю. «А я за это время выпишусь».

Мне нравилось в больнице, опрятной не только снаружи, но и внутри — отличительная, кстати, черта всех почти наших железнодорожных больниц — опрятность, уважительность, добросовестная профессиональность сохранились и до наших дней, чего не скажешь о других ведомственных больницах, в особенности о районных и областных, и я наслаждался невольным отдыхом. К полному моему удовольствию, попалась мне книга под названием

«Фома-ягненок». Я упивался ею. Фома — знаменитый пират, до того свирепый и кровожадный, что вместо черепа и костей на черном знамени флотилии — а у него и флот, и острова, и города, и владения свои были — нарисован беленький невинный ягненок. И стоило кому завидеть на морс-океане корабль с ягнелком на знамени, как тут же капитан приказывал опускать паруса, выкатывал бочки с золотом и ромом, приказывал женщинам снимать с себя драгоценности и все прочее — на всякий случай. Фома с женщинами лишних разговоров не разговаривал, и, когда ему в сражении перебили позвоночник, он заставлял соратников своих пикорчить их в его присутствии, саблей вспарывал им животы.

Конец Фомы был печальным: заманили пиратов в бухту хитрые англичане, в бухте крепость принадлежала Фоме, да не знал он, что крепость ночью захвачена британцами, попер сдуру за бригом. Полна утроба корабля драгоценностями и ромом, на палубе красивые барышни мечутся — вперся Фома в бухту, тут его как начали пластать береговые батареи, щиты на бриге сбросили, а под ними вместо драгоценностей — пушки, барышни — переодетые матросы. Пираты в бега, но из-за мыса выплыли военные корабли.

Вздернули Фому на самой высокой рее, славных его сподвижников развесили, как воблу, на мачтах пониже, и с этаким украшением в Темзу вошел английский корабль. Шапки вверх! Правь, Британия!

Книга про знаменитого пирата была без обложки и зачитана до тряпичного вида. С годами я начал думать, что она мне приснилась или от военной контузии возникла в моей нездоровой голове.

Каково же было мое потрясение, когда на мой осторожный вопрос насчет знаменитой книги Иван Маркелович Кузнецов, бородатый книгочей, безвозвратно помешанный на литературе и, кажется, знающий все книги насквозь и помнящий все, что в них и про них написано, просунул руку в книжную полутень и из пыльного завала вынул «Фому-ягненка», да еще и с подзаголовком — «Рыцарь паживы».

Оказалось, что сочинил «Фому» Клод Фаррер, офицер французского флота, и не только ее, а и множество романов с такими завлекательными названиями, которые нашим лепиво мозгами пошевеливающим писателям и не

снились: «Последняя богиня», «Король кораблекрушений», «Барышня Дак», «Девушка-путешественница», «Забытая беда», — в двадцатых годах выходило на русском языке его пятнадцатитомное собрание сочинений.

Вот какого замечательного автора судьба или Господь подсунули мне в трудную минуту. И думал я тогда: «Ах, Фома ты, Фома! Почти наш Ерема, взял бы ты меня отсюда в свою боевую команду, ох и дал бы я звону на морях и на суше, уж повеселился бы, попил и поел, и женщин перепортил бы не-эсчетное количество! А пока что, Фома-Ерема, жрать мне охота, как твоим пиратам, подзаблудившимся в безбрежном океане и давно не щипавшим мирные пузатые корабли и усыпанные плодами и яствами берега...» Карточки мои прикреплены в станционном магазине, хлеб по ним я могу получить только в Базаихе. Здесь мне дали три картофельные оладушки, какой-то суп-рататуй, и я, несмотря на боль в горле, заглотил всю эту пищу, аж слезы из глаз выдавило. Было у меня маленько деньжонок в гимнастерке, купила мне няня банку варенца, погрела в печке, я его выпил, но не проняло меня, сильнее жрать захотелось.

И тут нашла меня Августа — написали ей со станции, что я в тяжелом состоянии отправлен в больницу. В деревне подумали, что я попал под колеса. Увидев ноги, руки мои на месте, тетка расплакалась, развязала узелок. В узелке кастрюля, в кастрюле суп из костей от ветчины — отварили вместо мяса на сплавщицком лесоучастке, где Августа вкалывала и откуда обыденкой между сменами побежала ко мне.

Ни удивиться, ни умилиться ее поступком и тому, что со станции написали, — я не успел. Заслышав запах мясного бульона, скорее схватил ложку, попробовал хлебать его, теплый, запашистый, но ложкой получалось медленно, я взял кастрюлю за дужки и, не отрываясь, выпил похлебку.

Августа, пока я пил, смотрела на меня, и частили слезы из ее глаз.

— Во-от! — выдохнул я. — Теперь живу! — В узелке еще были лепешки из неободранного овса, я их завернул обратно — горло будут царапать.

— А говоришь-то ниче, нормально, — сказала Августа, вытирая глаза концом платка.

— Так ведь чего ж...

— Может, тебя отпустят на денек после больницы?

— Едва ли. Сегодня сцепщика привезли со Злобино. Без выходных работают, через двенадцать часов.

— Х-хосподи! А мы-то, в лесу-то — бабье одно... Наши-то, овсянские-то хоть сызмальства в тайге — привычные, а вакуированные шибко мерзнут и увечатся...

— Бабушка как? Девчонки?

— С имя и водится баушка. Ягоденок набрали дивно. Картошек накопили. Может, перезимует. Мы-то чё, мы вместе. Ты — один. Помер бы... И не узнашь, где похороненный... — У тетки опять задрожал голос, закапали слезы.

— Ладно, живы будем — не помрем!

— Кости возьми и обложи, тут где хрящик, где чё завязилось...

— Полезное занятие.

— Ну дак я пошла. Ночесь на работу. Отпустят, дак иди, не бойся, не объешь. Картошшонки свои, пайку дают...

— Хорошо-хорошо. — Я накоротке приткнулся щекой к голове Августы, она меня поцеловала в лоб потрескавшимися губами и перекрестила.

— Мама велела.

— Ты уж не говори ей лишнего-то. Я в этой, — тряхнул я старой, латаной и застиранной пижамой, — в гуне в этой не гляжусь, а так-то — жених!..

— Жени-их! — махнула рукой тетка и, утирая ладонью лицо, пошла из больничного скверика меж желтых, почти уже осыпавшихся тополей. Возле ворот Августа обернулась, приподняла руку и что-то сказала. «Дак приходи!» — догадался я. «Ладно, ладно», — отмахнулся я.

Вернувшись в палату с костями в поле пижамы, я с сожалением глянул на дважды прочитанного «Фому-ягненка» и принялся глотать кости, выколачивать из них мозг. Большинство больных спало, лишь один, самый надоедливый больной, стажер красноярского пункта технического осмотра вагонов, сдуру, может, и нарочно, засунувший пальцы под тормозную колодку во время пробы тормозов, попрыгивая, ходил меж коек, тряс спадающими с тощего зада пижамными штанами, напевая с тем занудливым, приклатненным воем, который дается лишь тюремным кадровикам: «А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне ща-шарики крюттила?..»

— На! — протянул я ему кость. Стажер остановился и глядел на меня, ничего не понимая. — Заткнись! — пояснил я. Он выхватил кость, захрустел ею.

— Шешнадцать лет проробил, и ни единой царапи-

ны, — жаловался старый сцепщик, — теперь всего переломало, а все оттого, што «Давай! Давай!». Вот и дали! Три сменшыка осталось! Чё оне втроем-то? Устанут, на себя и на правила рукой махнут, вот порежет которого... Дадут практиканта из фэззу, дак тоже не выручка, за имя больше смотри, чем за сигнализацией, — так и норовят куда не следует: да прыгают, все прыгают, будто козявки с ногами в жопе.

— На! — протянул я кость стажеру. — Отнеси труженнику! От благодарного фэззошника...

И дядька утих, занялся костью. Стажер присел на мою кровать, смекая насчет добавки, начал рассказывать о той фартовой жизни, какую изведаль он.

«Да знаю я эту роскошную жизнь, в детдоме наслаждался. Вот у Фомы-пирата была жизнь так жизнь!..»

* * *

Так и не сделав прижигание, я выписался из больницы. Ой, как я пожелаю об этом, как буду мучиться ангиной на фронте, да и после фронта, не сделав, как оказалось, пустяковой процедуры — пластинки, подключенные к легкому току и приложенные к тому месту, по которому мы щелкаем, когда хочется дернуть водки.

Весело катил я на «Ученике», который задом вперед тащил паровоз, и шуровал в нем знакомый мне по ФЗО парень из кочегарской группы. День был лучезарный, мягкий: в лесу, знал я, оседала на колючие растения последняя паутина; последние листья срывало ветром с берез и осин, подножие лиственниц устилало пухом желтой хвои; мохнатые белянки примораживало иньями, они стеклянно хрустели и рассыпались под обувью; в воронках озеленелых от сырости рыжиков намерзала хрупкая ледышка; рябчики свистели и бодрились по утрам; глухари шумно взлетали с осинников, взбивая вороха листьев; дрозды разбойничьими стаями облепляли рябины и черемухи в деревенских и пригородных палисадниках; улетели ласточки и стрижи; стронулась в отлет местная водоплавающая птица; грустно замерев, часами сидели на мокрых камешках кулички-перевозчики; глядя на воду, подогнув лапки, брюшком липли к бревнам и плыли куда-то серые трясогузки. Все-все в природе завершало летнюю работу и страду, готовясь ко сну, и только в мире, у людей не наступало успокоения, они все дрались, дрались, сводили друг дружку со свету.

Станция встретила меня утрюмой, молчаливой подавленностью. Порченный посмотрел больничную справку, где мне предписывалось еще два дня «домашнего» режима», и убил мою легкую безмятежность, сказав, что «домашний режим» придется отложить до после войны. Мне, Кузьме, Абросимову, и трем пожилым рабочим с промучастка велено было заняться погребальными делами. На станции отцепили от поезда, идущего с эвакуированными из Ленинграда, ледник, набитый покойниками. Ближний Березовский совхоз выделил подводы и возчиков, мы наряжены были им в помощь.

Я не стану описывать те похороны — о таком или все, или ничего. Еще живы ленинградцы, перемогшие блокаду, и я не могу присаливать их раны, ковыряться в кровоточащем сердце, пусть и чернильной ручкой.

Похороны я был не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен ими и, не выходя на работу, отправился в Березовку, в военкомат — проситься на фронт.

Краснорожий заместитель военкома, к которому я попал, прочел мое короткое заявление и уставился в меня пронизательным взглядом:

— Чего натворил? Выкладывай!

Я его не понял, и он терпеливо объяснил: сейчас, мол, добровольцами идут книгочеи, мальчишки, отчаявшиеся люди или набезобразившие мужики.

— Выкладывай! Выкладывай! — поощрил он. — Упер чего? Пришил кого? Утерять карточки? Все равно узнаю...

У меня закружилась голова — после похорон я не мог ни есть, ни спать. Схватившись за край стола, я переждал оморочь. Начальник подал мне воды и, когда я отпил глоток, удовлетворенно отвалился в кресле:

— Н-нет, карточки, вот они, — полез я в карман гимнастерки, торопливо, сбивчиво рассказывая о похоронах, о том, как мне было страшно, что я не хочу больше жить, хочу умереть, но с пользой, на войне...

По мере того, как я рассказывал о своем горе, хлюпая мокрыми губами, утирая рукавом глаза, лицо собеседника скучнело, презрение все явственней проступало на нем: «И это — воин!»

В глазах его брезжила, брезжила и, словно от волглого огня, занялась мысль, пробудился живой ко мне интерес. Я смолк, оглядел внимательно товарища начальника и очнулся: во время войны в народном фольклоре бытовали байки-загадки: «Что? Что такое сверхпрочность?

Сверхнахальство? Сверхточность?» Этот дядя был из породы «сверхнахальства» — околачивался в тылу, жрал по усиленной карточке, спал с женой фронтового офицера, стучал себя в грудь кулаком, крича: «Смерть немецким оккупантам!», и упорно искал себя в списках награжденных. Искал.

— Ты ж на брони! Вот если начальник станции подпишет...

Я схватил заявление и побежал через плохо убранные картофельные поля, по которым темными телями бродили эвакуированные, перекапывая пашню, и ветвилась грязная дорога, где, хлябаясь в выбоинах, тащились подводы к неглубокой просторной яме, торопливо выкопанной на Березовском кладбище, на отшибе от старых могил.

— Дурак! — первое, что я услышал от Порченого. — Да этот жирный битюг спит и видит, чтоб такие, как ты, к нему валом валили, иначе же ему самому придется на фронт. Какое ему дело до нужд транспорта? Что ему, хоть в опшэм, хоть и в целом, интересы Родины? Ему своя шкура...

— Все вы, тыловые крысы, друг дружки стоите!..

Иван Иванович, будто от удара, отшатнулся к стене, задел локтем телефон, поймал свалившуюся трубку и, сжав ее за деревянный наручник, глядел на меня расшибленно. Осторожно опустив трубку на рычаг, он обвис плечами и сидел, уставившись взглядом в пол, лицо его тяжелело, провисало щеками, на глазах старилось. Затрещал телефон. Начальник станции схватил трубку, смотрел на нее, чего-то соображая.

— Занят я! — рявкнул он наконец и бросил трубку с такой силой, что она спала с рычага и висела на одной вилке. — Давай! — протянул он большую, подушкой набухшую руку.

— Чего?

— Карточки давай!

Я начал торопливо доставать из кармана железнодорожное удостоверение, в которое были вложены продуктовые карточки. Иван Иванович решительно черкнул с угла на угол красным карандашом на моем заявлении: «Не возражаю», и тем же карандашом бережно, мелко написал на моих карточках: «Отоварить до конца месяца». Учинив подпись, он вздохнул и поднял на меня печальные глаза:

— Ладно — убыют, а если изувечат?..

«Да, если изувечат, кормить меня некому». Сочувствие скребнуло меня, вновь стронуло во мне злое горе, и, гордо покидая кабинет начальника станции, пропахший отгорелыми фонарными фитилями и угольным дымом, я сказал, слава Богу, хоть не вслух, а про себя: «Без соплей мокро».

Истрепанный, побитый на фронте, я съездил на станцию Базаиха в сорок восьмом году, чтобы поговорить с Порченым и хотя бы, в общем и целом, как-то загладить застарелую вину. Но за полгода до окончания войны Ивана Ивановича Королева отвезли на Березовское кладбище тоже на заемной совхозной подводе и по той же дороге, где мы возили мертвых ленинградцев и покойники выпадали с телег — такие на ней были колдобины.

Сдавши спецовку, сигнальный фонарь и флажки завхозу станции, а неуклюжие фанерные сундуки Пети Железкина и Миши Володькина — в камеру хранения, я переложил свои наиболее ценные вещи: пару рубашек, бельишко, новые штаны, голубое кашне — подарок дяди Васи — в холщовый мешок, пожертвованный мне уборщицей общежития. Картинки, снятые со стены, стираемые онучи, недоношенные «выходные» туфли, кастрюльки, ложки и прочий скарб сбросал в чемодан и тоже снес в камеру хранения. Платочек с полинявшими буквами «Н. Я.», ставший мне уже талисманом, я сложил четвертушкой, засунул в нагрудный карман гимнастерки, ни с кем не попрощавшись, отправился в город и оказался на опустевшей краевой пересылке — только что здесь была сформирована Отдельная сибирская бригада, и я едва не настиг своих корешков — Мишу Володькина и Петю Железкина.

На пересылке грузный, пухлый, по-коровьи пыхтящий писарь отнял у меня военкоматскую бумагу, опросил мое фио и занес его в какой-то форменный журнал. Коренастый сержант с подбритыми бровями разрешил мне быть свободным «пока», но совсем не исчезать. «Можешь понадобиться», — сказал он.

Я послонялся по двору, заглянул в подметенные, продезинфицированные помещения пересылки и расположился на осеннем воздухе, под забором. Вынув харчишки из крашенного домодельной зеленухой мешка с наляпанной на самом видном месте белой заплатой, я крепко покушал, умяв одну из трех буханок хлеба, выданных мне на карточки, и полбутылки топленого масла, отоваренного

на жировые и мясные талоны, и почувствовал полное умиротворение. Все мои тяготы-заботы словно бы остались за воротами пересылки, отчужденность и безразличие овладели моей душой — я еще не знал великого свойства армии, но уже чувствовал, что сам себе не принадлежу, что за меня думают, мною распоряжаются, обо мне заботятся, чтоб накормить, одеть, обуть, и за все за это надо всего лишь подчиняться.

Эка невидаль! А в школе? А в ФЗО? А на станции я чего делал? Подчинялся, выполнял команды. Да еще вкалывал, да еще голову ломал о жите-бытие, а здесь и забот-то — не уперли б сидор.

В казармах было вонько, прямо-таки удушливо от дезинфекции, на голой осенней земле я лечь побоялся — научила меня болезнь остерегаться простуды. В дальнем углу пересылки обнаружилась сорванная с гвоздя доска. Я ее отодвинул, просунулся в лаз и обнаружил уютную, травой поросшую территорию со скамейками, среди которых стоял красивый дом, у ворот — крепкий, как гриб подосиновик, флигель. Не вникая особо, куда попал, а попал я, как потом выяснилось, во двор музея Василия Ивановича Сурикова, — расположился на уютной скамье, под пожухлой, но все еще мохнатой сиренью, уснул глубоко, безмятежно и проснулся лишь на вечерней заре.

— И где этот делега с зеленым сидором и белой заплатой? — грозно вопрошал кто-то за оградой. — Найду, винегрет из него сделаю!..

Я приподнялся, глянул на мешок, положенный под голову, на все еще ослепительно белую заплату и догадался — ищут меня. Я пролез в дырку и, насвистывая, стал прогуливаться по пересылке, все время поворачиваясь так, чтоб видно было белую заплатку на мешке.

— Стой! — кто-то схватил меня сзади за мешок.

— Стою!

— Ты где был?

Я в рифму ответил где — и мешок сразу отпустили.

Передо мною, сурово насупившись, стоял сержант с подбритыми бровями, тот самый, который был в комнате писаря, когда меня оформляли. Я поинтересовался, что ему надо, и он многозначительно ответил:

— Тебя, сеньор!

— Простите, сэр, но мы с вами не так близко знакомы, чтобы сразу переходить на «ты».

— А сейчас познакомимся, и ты не рад этому бу-

дешь! — заявил сержант и с присвистом, в щель передних зубов, разрешаясь злобой и властью, распиравшими его грудь, скомандовал: — Кр-рю-хом! Н-на кухню ш-гом арш!

— Но, но, не больно... — начал было я щепериться — сержант вот-вот должен был воспламениться, он уже дымился:

— Н-на кухню! Ш-гом! Иначе я из тебя, морда, винегрет сделаю!..

— А это видел? — поднес я ему кулак под нос. И мы схватились драться. Сидор мне мешал, связывал действия, да и после больницы я. Товарищ сержант одолевал меня. Но, вспомнив удалые детдомовские времена, я изловчился и поддел его на «кумпол». Сержант сразу перестал драться, схватился за нос, посмотрел на ладонь.

— Нос разбил! — сержант еще раз поднес ладонь, еще раз посмотрел на нее и, потрясенный, прошептал: — Старшему по званию! Командиру эркэка!..

— А ты не тырся! — срывая листок пыльного подорожника и прикладывая его к носу товарища сержанта, сказал я. — Раз командир эркэка, воспитывай словами. Тебе тут не старорежимная армия — чуть чего — в рожу!..

Зажав подорожником нос, сержант подавленно молчал, потом высморкался и уже без металла в голосе тускло приказал следовать за ним.

Мы оказались в подсобном помещении пищеблока. В неоглядном зале, загроможденном бочками, ящиками, баками, было сыро и мрачно. Пахло здесь, как в доковской столовой, которую посетили мы когда-то с дядей Васей, — гнилой картошкой, очистками, квашеной капустой, несвежим мясом. В полумраке подсобки копошились бесплотные фигуры. Товарищ сержант дал мне наказ: вместе с доходягами и симулянтами, отставшими от боевой сибирской бригады, чистить картошку до тех пор, пока я не сдохну. О том, чтоб сдох непременно и поскорее, он, сержант Федор Рассохин, позаботится лично.

— Побег с ответственного участка работы расцениваю как дезертирство! — предупредил сержант, заранее уверенный, что я обязательно смоюсь из подсобки, от грязной работы.

Первое в армии наказание я воспринял с легким сердцем, даже с удовольствием. Товарищ сержант Федор Рассохин не ведал, какую тихую радость мне доставляет чистение картошек. От бабушки перешла ко мне привязан-

ность к этой работе и в детдоме закрепились. Дома, на деревенском огороде, садили почти изведенную потом за малоурожайность русскую скороспелку, розовато-нежного цвета снаружи, с розоватым кружевцем, точнее, с розоватым куржачком внутри, бодрую в цвету, терпеливую к холоду, спорую в росте и такую нежную, что едва ее ножом тронешь — сок брызжет, а коли сварится, то вся как есть потрескается, и вдоль и поперек, обнажая под кожей сахаристую рассыпчатость.

Выкопает, бывало, бабушка гнездо-другое картошек, овощи всякой надергает, с корзинами спустится к Енисею и долго булькается в воде. Сперва по отдельности помоем каждую овощ, затем, подоткнув юбку, забредет поглубже и поводит корзиной в светлой струе туда-сюда, после встряхнет над водой ту и другую корзины, но когда подденет их на коромысло, все равно из плетенок густо каплет, дырявит пыль обочь тропинки. Поднявшись на яр, еще не войдя в заулоч, бабушка певучим голосом кликала меня. Если я играл поблизости, срывался ей навстречу, она на ходу поворачивалась ко мне той корзиной, в которой зеленела мохнатой ботвой морковь, упруго топорщились листья брюквы, собравшие в разложье слитки чистой воды. И видя, какая мне радость от чистой и потому особо лакомой овощи, бабушка, лучась морщинками, поощряла:

— Бери, бери, товаришшэй потчуй! Бог уродил, Бог людям угодил, — экая благодать от земли!..

В детдоме я был самый прилежный чистильщик картошек, потому как, слушая легкий скрип ножа, уединялся от людей и пристрастился выдумывать все красивое, даже что-то похожее на стишки. Вьется, бывало, стружка картофельная, выются в голове мыслишки, вспоминается деревня, бабушка, как она даже зимой, не жалея рук и плеч, носила лишнее коромысло воды и обмывала картошку — меньше грязнятся и трескаются пальцы, и, чистя картошку, бабушка, наверное, тоже думала о всякой всячине, отдыхала от суеты и хлопот.

Знай все это товарищ сержант, так и не строжил бы — он через каждый час наведывался в подсобку и удивленно приподнимал подбритые брови: «Ты еще тут!» За полночь, преодолев строгость, велел плеснуть мне в толченую картошку черпак масла, выдал сухарь — для укрепления сил, пояснил, что наутре прибывает команда в пятьсот душ, ее приказано столовать, иначе с него снимут шкуру, а он с нас три.

Хорошо выспавшийся на музейной скамейке, разом отринувший от себя прошлую жизнь, я чистил картошку и орал на всю подсобку соленые частушки. К утру онемели руки и на брюшках пальцев от poja выступила кровавая мозоль. На трудовом посту, как выяснилось впоследствии, до победного конца выстоял один только боец — я!

По достоинству оценив мою стойкость, Федор Рассохин, сам едва державшийся на ногах, сказал мне после того, как была сделана завалка в котлы:

— Следуй за мной!

Мы вышли за ворота пересылки и скоро оказались на центральном проспекте города, возле красивого старинного дома, у входа в который я было приостановился, но сержант, почти уже заснувший на ходу, буркнул:

«Говорю, следуй» — и мы поднялись на второй этаж. Порывшись в кармане, сержант достал ключ на цепочке и долго им тыкал в узкую щель замка, врезанного в фасонно обитую черной материей дверь. Наконец он попал в щель, толкнул дверь, и мы очутились в просторной и уютной прихожей, крашенной голубой краской.

Здесь стояла вешалка с позолоченными металлическими рожками, трюмо в черной, богато отделанной раме, возле трюмо на столике флаконов, пуговиц, шутовин разных не перечесть. На вешалке красовалось голубое пальто с богатым песцовым воротником, шапочка, тоже песцовая, и много тут добра висело. Мне бы оробеть, но я так устал, что глаза мои, хоть и хорошо видели, да уже смутно воспринимали действительность.

— Ксюха! — позвал сержант, раздеваясь, и кивнул мне, чтоб я тоже раздевался.

— Ай! — послышалось из глубины квартиры. Застегиваясь на ходу, постукивая кулаком в зевающий рот, появилась красивая девушка. Она чмокнула Федю в щеку, потянулась, передернула плечами.

— Чё так долго?

— Дела. Война как-никак идет. Ты опять до четырех читала? Теперь дрыхнешь!

— А чё у тебя с носом?

— Чё? Чё? Ознобил!

— Осенью-то?!

— С такими, — Федя зыркнул на меня, — с такими и летом ознобишь!

— Это кто? — девушка ткнула в меня пальцем.

— Защитник Родины.

— А-а. — Девушка снова принялась зевать и потягиваться, глядясь в то же время в зеркало и подбивая пальцами копну волнистых волос с темным лаковым оттенком и даже каким-то мерцанием, пробегающим по ним. — Помойкой от вас от обоих пахнет.

— Помойкой! — возмутился Федор Рассохин. — Мы машину картошек очистили, солонины бочек пять перемыли, капусты...

— Ладно, ладно, не заводись с пол-оборота! Повесьте все на батарею. Защитнику родины папину пижаму выдам. Жрать будете?

— Н-не. Нам бы ткнуться скорей...

— Сей секунд, господа! — Выудив на ходу из плетеной коробки белую лепешечку, девушка сунула ее в рот и удалилась. Скоро в приоткрытую дверь были выброшены две пижамы, мне досталась большая. Феде — чика в чуку.

Переодевшись, мы вошли в просторную, светлую комнату, где зеркально мерцало вороненое пианино. На середине круглый, инкрустированный стол, далее буфет с искрящейся в нем посудой. В углу стоял ореховый шахматный столик, на котором чернел телефон. Рядом, под окном стоял диван с зеркальной спинкой, на нем раскинута была постель с двумя простынями, чистой подушкой и шерстяным одеялом.

— Ложись! — показал сержант Рассохин на диван, и, почувствовав мою нерешительность, строже добавил: — Ну, чё ты! Дави! Я к себе. — И он ушел за плотно закрытую, узкую дверь, крича куда-то дальше, в глубь квартиры, есть ли чего от папы и мамы? Издалека донеслось, что от папы была посылка с продуктами и телеграмма — он переводится из Норильска в Красноярск, от мамы — ничего...

Должно быть, уже улегшись, сержант едва ворочающимся языком не то себе, не то девушке пробурчал:

— Бросили тебя родители. И я вот возьму да брошу.

— Ну и пусть!

Тут я уснул, точнее, провалился в небытие, и о чем Федя Рассохин разговаривал с девушкой и разговаривал ли — не слышал.

Проспали мы долго, и проснулся я от голосов людей, которые не привыкли себя в чем-либо ограничивать, говорить вполголоса.

— Спровадил я твоего фунтика в сибирскую, учти, в Отдельную сибирскую бригаду! — Федя Рассохин при-

молк — чай пьют на кухне — дошло до меня. — Пусть на фронте родину любит, а то присосался, понимаешь!..

— Чё присосался-то? К кому присосался?

— К тебе! Еле отодрал! Явись мамочка, ты же выканючишь фунтику бронь — хозяйство стеречь! А тут, — Федя Рассохин громко хрюкнул, — гутен морген, гутен таг, хлоп по морде — вот дак так!

— Фе-едь! А одной-то чё хорошего?

— Ты не дави мне на психику! Не дави! Одна-а! У тя институт, книги, товаришшы...

— Товаришшы! — передразнила его, я начал догадываться — сестра, скорей всего, сводная — совершенно они не похожи друг на друга. — Где они, товаришшы? Всех ты на фронт упек! И фунтика-душечку! У-у злодейский ундер!

— Нашла о ком жалеть! Я помчался! Допризывник пусть еще часок-другой подрыхнет — и на пункт. Все! — Дверь зашуршала обивкой, и уже с порога Федя Рассохин строго приказал: — Ты мозги ему тут не запудривай. Они у него и так набекрень. Ну, я двинул. — Федя, слышал я, громко чмокнул девушку, и, щелкнув замком, дверь заворилась.

На кухне зазвякала посуда. Убирая ее в шкаф или в стол, девушка напевала себе под нос физкультурную песню, потом громко сама с собой заговорила:

— Фунтик ты, фунтик! Укоцают тебя фрицы... — Неожиданно девушка появилась в столовой с полотенцем через плечо и властно приказала: — Эй, гренадер, подымайся давай! Выдыхнешься, успеешь! О-о, да ты уже не спишь! — Она стояла среди комнаты, небольшая, но такая изящная, что казалась и высокой, и стройной. В сером серебристом халате, отделанном черным бархатом на рукавах и по бортам, подпоясанная черным же, витым поясом с кистями, в узеньких шлепанцах без задника. На шлепанцах вилась сношенная, но все еще золотящаяся нить. Волосы ее были едва сколоты шпильками, высоко колыхались над головой. В разрезе халата виднелось тонкое кружево ночной рубашки и что-то надетое на шею, какой-то шнурочек с серебрящейся кругленькой штучковиной, оттеняющей тощую, даже на взгляд ощутимо-теплую кожу. Лицо девушки разделено на две половины — никогда более не встречалось мне такого лица! Когда-то, может, еще ребенком, девушка пережила страх, быть может, ужас. Правую половину лица ее дернуло, исказило.

Ей делали операцию, под правой «санкой» виднелся припудренный шовчик, лицо поправили, но все равно чуть оттянуло глаз, губы словно бы кривило надменной усмешкой, в то же время как левая половина лица была спокойна, однако замечалась наперед, прямо-таки магнитом притягивала, не давала оторвать от себя взгляда та, живущая напряженной, нервной жизнью, половина лица, которую девушка научилась прятать, поворачиваясь «красивой» стороной к свету.

С детдома доставшееся умение не замечать человеческой ущербности, — да и какая тут ущербность, Господи! — скоро развеяло возникшую меж нами неловкость. Мы сидели в просторной, богато обставленной кухне, девушка кормила меня супом с вермишелью, болтали обо всем так, будто давно знали друг друга.

Да, Ксения — сводная сестра Федора Рассохина. Отец ее — полярный летчик. Однажды он летел из Заполярья с семьей на борту и с самолетом случилась авария. Мать и брат погибли. Отцу переломало ноги, и теперь он не летает, он ведает авиаотрядом на Севере. В момент вынужденной посадки самолета, защищенная руками и грудью матери, девочка отделалась сотрясением мозга и судорогой лица. Докторша Рассохина была безмужняя, Федя — плод ее институтского романтического увлечения заведующим кафедрой гистологии. У докторши Рассохиной жила мама, тоже в прошлом докторша, курящая, раскудлаченная, дни и ночи читавшая любовные романы. Выходив летчика и его дочку, докторша Рассохина увела их к себе домой. Получилась семья, несколько странная, диковатая, дети, предоставленные сами себе, жили хотя и в центре большого города, но росли словно в поле трава.

Дом пребывал в полной заброшенности, и пришлось Феде с детства брать на себя хозяйственные заботы. Поэтому и поступил он не в институт, а на курсы шоферов, чтоб поскорее приобрести специальность, быть полезным дому. Ксения определена была обожаемой бабушкой на филфак педагогического института, дабы «догнать и перегнать» Ушинского.

— Да и Макаренку заодно! — веселясь, заключила о себе рассказ Ксения.

Не зная, как относиться к такому откровению, испытывая чувство благодарности и неловкости одновременно, я сказал:

— Однако засиделся. Товарищ сержант, он, ух строгий!

— Жуть! — наливая из фарфорового чайника заварки, подтвердила Ксения. — Это не ты починил ему нос? — Я отмолчался. — Пей! — пододвинула она мне сахарницу. — Успеешь еще и командирам насолить.

«И в самом деле, куда торопиться?» — размешивая витой серебряной ложечкой чай, я во все глаза глядел на Ксению.

— Чё уставился? Девок не видел?

«Такую не видел!» — хотелось мне проявить решительность, да храбрый-то я среди своих, детдомовских корешей иль фэззошников.

— Ты чё молчишь, паря? Плети чего-нибудь. Ты родом-то откуда?

— Из Овсянки, Ксения, из Овсянки. Гробовоз я.

— О-ой, так близко! Я думала, из Каталонии...

— Неинтересно, да?

Она посмотрела на меня пристально:

— Слушай, волонтер! Ты какое горе пережил? Болезнь?

— Ничего я не пережил...

— Любезнейший! Я и не таких орлов наскр-розь!..

— Тебе бы в рентгенологи.

— И без рентгена наскр-розь...

— Фунтика, к примеру.

— Ишь, чё вспомнил! Футлик его фамилия. Э-эх, Футлик-мутлик! — рассеянно глядя куда-то, вздохнула она. — Ему баба знаешь какая нужна? Во! — раскинула Ксения руки, — и чтоб барахло меняла, золото скупала... А я? — она огляделась вокруг: — Папа не прилетит, Федор уедет, все тут промотаю и к маме дерну, санитаркой, в санпоезд.

— С такими ручками только урыльники и таскать!..

— А чё ручки? — Ксения посмотрела на свои руки, вытянув их перед собою, точно слепая. — Потренируюсь — и порядок! Я так-то здоровая, только ленивая... Так какое горе-то? Болезнь?

Она помолчала, выслушав меня, затем трихнула рукав моей гимнастерки:

— Держись!

— Ну, ладно. Мне пора! — заторопился я. — А то товарищ сержант...

— Да поговори ты со мной еще, о славный железнодорожник! Хоть про рельсы, хоть про паровозы... С сержантом я все улажу.

Застегнув все еще картошкой пахнущую телогрейку, с которой сыпался крахмал, я протянул Ксении руку:

— Спасибо за хлеб-соль!

— Серьезный вы человек, товарищ боец! — Не подавая руки, Ксения быстро спросила: — Кто твой любимый герой? Скоренько! Не раздумывая.

— Допустим, Рудин, — усмехнулся я.

— О-о, сударь! Вы меня убиваете! Дмитрия Николаевича я полюбила и бросила еще в школьном возрасте! — Опершись спиной на косяк двери, она прикрыла глаза и без форса начала читать: «Вошел человек лет тридцати пяти, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых, темно-серых глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос».

— Ну как? — Ксения кулаком постучала себе в темечко. — Варит котелок?

Когда она читала, перекося губ и надменный прищур были заметней, в не совсем закрытом глазу белела простоквашная мякоть, отчего лицо становилось несколько уродливым, и меня, такого неотесанного, корявого, в себе самом зажатого — это как бы сближало с нею, придавало смелости.

— А как насчет Фомы-ягненка? — подсадил я собеседницу.

— Фи, допризывник! Я ему про Ерему, он мне про Фому! Из вашей деревни небось?

— Сама-то ты деревня!

— Подожди! — Ксения ушла в комнаты и вернулась с богато изданной книгой. — На! Насовсем! Бери, бери! Там наш адрес. Может, напишешь мне о боевых подвигах? Напишешь, а?

Я не шел на пересылку, меня несло по городу. Случилось! Случилось! Я встретил девушку, какую мечтал встретить, и хотя заранее знал, что она так и останется мечтой, но «Рудин»-то со мною будет, он мне напомнит о том, что она, эта так необходимая мне встреча, была на самом деле, и долго я буду жить ощущением нечаянно доставшегося мне счастья. А девушка будет жить где-то, с кем-то своей жизнью, неведомой мне, и в то же время останется со мной навсегда.

Как прекрасно устроен человек! Какой великий дар ему даден — память!

Письмо Ксении я так и не написал, точнее, так его и не закончил, потому что писал и пишу его всю жизнь, оно продолжается во мне, и дай Бог, чтоб слогом, звуком ли отозвалось оно во внуках моих.

* * *

Федя Рассохин повертел «Рудина» и скуксился:

— Подарила так подарила...

— Вернуть?

— Чё-о? Она те вернет! Она чё спланивала? Ты с этой книжицей явишься к ней после войны, вы приятно побеседуете, и, глядишь, она совсем тебе голову заморочит!.. Ох, сеструха, сеструха! Вот горе-то мое!..

Федя Рассохин выписывал бумаги на получение продуктов и в то же время объяснял, что околачивается на пересылке из-за нее, из-за сестры, пока отец с севера не прилетит, иначе эта фифа институт бросит, на фронт умоляет либо фунтика какого-нибудь опять к дому приручит.

— Слушай! Да ну ее! Слушай! Народ понаехал из тайги — сплошь блатняки и бывшие арестанты. В карты дуются, пьют. Назначаю тебя старшим десятка. Иди получать продукты. Следи, чтоб не стырили. Завтра отправка.

— Куда?

Зачесался, замялся товарищ командир.

— Ладно! — Махнул он рукой. — Куда едешь — не скажу. Чё везешь — снаряды... — И сообщил, что команда отправляется под Новосибирск, в пехотный полк, но если я хочу подзадержаться, мы можем вместе двинуть уже в сам Новосибирск, и не в пехотный, а в формирующийся автополк — есть разнарядка на него, Федю Рассохина, он добьется, чтоб меня «прикомандировали», — и мигом железнодорожника превратят в классного шофера.

— Нет, Федя, отправляй меня с командой. Вот в Овсянку, можешь если, отпусти... попрощаться.

Утром я прихватил возле мелькомбината сплавщицкий катер. Пока он скребся вверх по Енисею на деревянной горючке, солнце поднялось высоко, пригрело обеленные утренним заморозком голые склоны гор, и засверкали горы, и дохнули знобкой стынью ущелья.

Село стояло на берегу реки, оглохлое, пустое. Крыши

домов парили, в щелях теса серебрился иней. На дверях домов виднелись старые, тяжелые замки, ворота заперты на заворины, люди ходили через огороды, собак не слышно, старух на завалинках не видно, стариков под навесами — тоже, дети не играют на улицах — все при деле, от мала до велика, все готовятся ко второй военной зиме.

Августа ушла на работу. И бабушки не было дома. Прихватив девчонок, она отправилась на Фокинский улус — перекапывать поле подсобного хозяйства, которое шалая-ваяй убирали студенты и наоставляли много картошек в земле. Отправилась бабушка по той самой дороге, которой ушел навсегда маленький Петенька, и, знал я, непременно всплакнет она о маленьком внуке, помолится о его душе, бестелесно витающей в лесах и горах, желая ей, невинной, скорее отмучиться и опасть на землю березовым листом, перышком голубиным, лепестком цветочным, белой ли снежинкой.

Никто не умеет так складно, как бабушка, причитать, никто не может всех нас, живых и мертвых, больших и маленьких, так верно помнить, так жалостно жалеть, так горько оплакивать.

Лишь дядя Ваня и тетя Феня были дома. Встретили они меня со слезами — в составе той самой сибирской бригады, которую я не застал на пересылке, братан мой Кеша отбыл на войну.

Смеясь и плача, дядя Ваня и тетя Феня рассказывали, как, дернув на прощанье водчонки, хорохорился Кеша. «Я этому Гитлеру-блядине все кишки выпущу!» Родители и невеста умоляли бойца побережь свою отчаянную головушку, но он ярился пуще того — не только Гитлера, всю его клику грозился извести подчистую!

Цена Кешину отчаянность, соглашаясь с его намерениями, невеста все же просила, чтоб хоть после боя — не все же время идет сражение — вспоминал он о родителях и хоть немного, совсем чуть-чуть думал о ней. На что Кеша выдал:

— Тут, в неревне, в нраке, чуть, бывало, зашумался — и плюху поймашь, там и вовсе нумать нековды, там, невка, зевни — пулю проглотить!..

До Гитлера Кеше добраться не довелось, но, воюя в Сталинграде командиром пулеметного расчета, искрошил он довольно противника, заработал орден, медаль и с оторванными пальцами на левой руке и на правой ноге, одним из первых вернулся в село. Я интересовался впослед-

ствии — держался за погу, что ли? Кеша, а он сделался боек на язык после фронта, отшил меня, заявив, что держался совсем за другое место и не растряс ничего, в целости доставил своей дорогой невесте.

Так и не повидавшись с бабушкой и Августой, передав прощальный им привет через дядю Ваню, я переправился на известковый завод и неторопливо побрел в город дачным местом, привычной прибрежной дорогой, проложенной моими односельчанами, натопанной рекрутами, переселенцами, мешочниками, арестантами и просто нуждой и судьбой по земле гонимым людям.

* * *

Ночью на пересылку прибыло еще несколько команд.

В казармах сделалосьлюдно и шумно. Днем началась отправка. Федя Рассохин крепко пожал мне руку и, потирая поблескивающий нос, улыбнулся, желая всего хорошего, сожалея, что не вместе едем, наказывал, чтоб я не партизанил — пехотный полк не детдом, и коли я буду себя недисциплинированно вести, из меня винегрет сделают.

Я обещал Феде Рассохину вести себя дисциплинированно.

— Да-а! — спохватился он, убежал в контору и вынес оттуда кулек. — На! Ксюха послала. Бери, бери!

В пакете оказались соевые конфеты местного производства — такими конфетами отоваривали карточки вместо сахара. Все съедобное и сладкое, что могло и должно было попасть в конфеты, на фабрике работяги слопали и унесли, пустив в производство лишь соевую муку и какую-то серу или смолу. Когда конфету возьмешь на язык, она по мере ее согревания начинает набухать, растекаться, склеивать рот так, что его уж не раздерешишь, и чем ты больше шевелишь зубами, тем шибче их схватывает массой, дело доходит то того, что надо всю эту сладость выковыривать пальцем.

Ксения получила соевые конфеты на студенческую карточку и — не выбрасывать же добро — послала допризывнику гостинец, как тонко воспитанный человек, она к пайковым конфетам сунула в пакетик горстку клубничных карамелек довоенного производства.

И вот, занявши третью полку в полупустом вагоне, я лежу, сунув мешок под голову с последней в нем бухан-

кой хлеба, да поглядываю через полуоткрытое, на зиму не заделанное окно да посасываю карамельку.

Нас отправляли в Новосибирск пассажирским поездом — этакая роскошь по военному времени!

Провожающих нет. Никто не пел и не плакал. На станции и на перроне шла будничная жизнь, война сделалась привычной, отъезд на войну — делом обыденным. Но я все же грезил: возьмет да кто-нибудь из наших, деревенских, прибежит. Или... Вот уж блажь так блажь — возникнет Ксения, да при всем-то сером, неинтересном народе руку подаст, всего мне хорошего пожелает.

От сладостных грез отвлек меня живописный, в полном смысле этого слова, человек, так много стриженный тюремной машинкой, которой не столько стригут, сколь выдергивают волосы, что голова его от напряжения сделалась фиолетового цвета. Обут он был в опорки, одет в холщовые исподники и драную телогрейку, болтающуюся прямо на голом костлявом теле. Впрочем, на голом ли? Под телогрейкой выколота майка, меж лямок ее, прямо на сердце, профили двух вождей и клятва в великой к ним любви, а также намерение насчет свободы, которою он будет дорожить и честно жить.

— Н-ну, с-сэки! — праздно фланируя вдоль вагона, сжимая и разжимая кулаки, грозился живописный парень. — Н-ну, фрицы, трепещите!

На перроне возникла и стала полнеть толпа парнишек, одетых в железнодорожную форму. Я поглядел на перронные часы — вот-вот на второй путь подадут рабочий поезд до Базаихи. Высунувшись в окно, я спросил у ребят — не из первого ли они училища, не со станции ли Енисей? «Из первого», — ответили мне.

Второй набор. Ребята позаморенней, смирней, но полностью уже обмундированные. Нам так и не выдали всю форму, мы так и не пережили до конца «организационный период» в совмещенном с ФЗО ремесленном училище ускоренного выпуска. Эти учатся уже как следует: и наглядные пособия, наверное, есть, и учебники, и тетради, и макеты, и инструменты, только кормят их еще хуже, чем нас, — война-прибериха затягивает пояса все туже и туже.

— Эй! — позвал я одного парня. — Сымай фуражку! — И когда он, недоумевая, снял и подставил фуражку, я вытряхнул из бумаги комком слипшиеся соевые коффе-

ты, саму бумагу, повременив, бросил в окно и подмигнул братьям-фэзэошникам.

— Шшашливо! — пожелал мне кто-то из них сплвшимся ртом.

Появились в вагонах и провожающие. Семья. Плотный мужик в долгополом армяке, в рубахе из домотканого холста, в древних, записелых сапогах играл на гармошке. За ним хромал мужик или парень — не понять — так заморен был и вычернен солнцем, ведя в обнимку допризывника, на котором вперед всего замечалась старенькая шапка с распущенными ушами и узкие латаные штаны с бордовыми заплатами на коленях. Чуть в отдалении за мужиками тащились молодая, но уже сильно изношенная женщина, она вела за руку бледную девочку на вид лет трех-четырех.

«Вот тронулся поес, вот тро-о-о-онулся по-о-оес! Во-от тро-о-о-нулся по-оес и рухнулся мо-ос...» — вместе с компанией ворвалась в вагон песня. Вымученно, словно по обязанности, не пели — кричали мужики и этим «рухнулся» так подействовали на меня — хоть реви тоже в голос.

Компания шумно расположилась внизу подо мной, и я порадовался тому — не набьется таежная хевра — еще в детдоме надоело канителиться с блатняками, любоваться на них.

Мужик передал гармонь призывнику, тот продолжал песню на одних басах — трудно, видать, жили и учились всему эти люди, скорей всего переселенные на оборонный завод из южных старообрядческих районов. Отец небось жизнь убил, чтоб одновременно на басах и на «пуговицах» играть три-четыре песни, коих вполне хватало на нехитрую деревенскую компанию. Призывник в семье, судя по всему, самый младший, так и не успел полностью освоить гармонь.

Вытащив из глубочайшего брючного кармана бутылку с заткнутым бумагой горлышком, хромой мужик из кармана же выковырял кружку — и забулькало, запахло самогонкой.

— Тятя! Савелий! — попыталась протестовать женщина, не смеющая подойти к столу. — Не пили бы, обоим на работу во втору.

— Цыц! — брякнул по столу кулаком отец и, отпив, передал кружку Савелию. Тот начал пить, вдруг поперхнулся, заплакал. И все трое заплакали, заобнимались.

— Да, мы можот... мы, можот, по-оследний ра-а-ас...

— Тя-а-а! — бросился ему на шею призывник. И мужики заревели громче прежнего, затоптались на месте, сцепившись мослатыми руками.

Девочка, лицо и глаза которой налиты тяжелыми, не детскими слезами, обхватив ногу призывника, жалась щекой к бордовым заплатам и с истовой бабьей страстью, со взрослым страданием повторяла и повторяла что-то. Я напряг слух, вслушался и наконец разобрал:

— Свидання! Звините! Паси бох! Свидання! Звините! Паси бох!..

Заскребло, стиснуло мое простудное горло.

Заморенных, давно спиртного не пивших мужиков развезло. Промазывая пальцами, призывник жал на басы и ревел все одно и то же, вместе с отцом и шурином: «Вот тронулся поес, вот тронулся поес, вот тронулся поес и рухнулся мос...» И маленькая девочка, схватившись за ногу дяди, по-прежнему никакого на нее внимания не обращавшего, все твердила и твердила: «Свидання! Звините! Паси бох! Свидання! Звините! Паси бох!..»

Мужики допили самогонку, наревелись, успокоились. Праздно положив руки на колени, расселись они на нижней полке. Прилепилась на краешек полки и женщина, терпеливо дожидаясь конца. Так и не успела она ни разу заплакать, заботы о мужиках не оставляли ей времени на слезы.

— Ну вот... пиши... почашшэ!.. — тяготясь молчанием, придумывая, что бы сделать ему, родителю, всегда и во всем главному в доме, знавшему, что и как должно в нем и в семье быть. — И помни дедов завет: сердцем копыя у педрута не переломишь, дак всякой-то пуле голову не подставляй... сам себя не обережешь, никто не обережет... Ах, мать-то не пришла, нету матери... Не отпустили с работы. Военно положение... Э-Эх! — Мужик поглядел в окно, и у него до шепота осел голос: — Нету, нету матери-то... — Знал мужик: будь сейчас мать, легче бы всем было, ему-то уж непременно легче, свалил бы с себя тяжесть, мать голосила бы, он бы на нее прикрикивал.

В вагоне сделалось содомно — грузились таежные во-яки. Даже для меня неожиданно, призывник остался один на просторной скамье и, отвесив губу, сидел от выпивки тупой, потерянный, педоумевающий. Что-то вспомнив, подобрался, поглядел направо, обвел взглядом вагон, задержался глазами на окне и заплакал, да так, излившись сле-

зами, и уснул в уголке, за обшарпанным столиком — первая разлука с семьей, с родным домом.

Доведется ли возвратиться? Э-эх, нету выпивки! Саданул бы и я кружку-другую — сосет у меня в груди, подмывает мое, тревогами и бедами клейменное, валенное, тертое, мятое, живое — полосатое сердчишко.

Я достал из мешка буханку хлеба, отворотил от нее ломоть, вылил остатки масла на хлеб, посолил крупной солью, поел, сходил к цинковому вагонному бачку, напился воды и скоро уснул.

Пробудился ночью, далеко от Красноярска. В вагоне было тихо и мрачно, лишь храп и бред таежных новобранцев нарушал вагонный покой и душный его уют.

Я свесился с полки к окну. В щели окна сквозило прелым осенним холодом, за окном бесконечно развевалась плотная лента лесов, тяжелое осеннее небо почти не отделялось от непроглядной, отчужденной, тесно сомкнувшейся тайги.

И оттуда, из-за вагонного окна, из иного мира, путающего холодной пустотой, словно разгоняя с пути нечистую силу, испуганно кричал паровоз: «Свида-ання-а-а-а!» А внизу, под вагоном, как бы извиняясь за слишком громкий рев паровоза, колеса, сдваивая, угодливо частили: «Паси-бох! Паси-бох! Паси-бох!»

1977, 1988

ПИР ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Сергею Павловичу Залыгину — земляку

Это было в ту пору, когда все казалось радостным и от жизни ждали одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день спешил я в родную деревню по левой стороне Енисея, по дачной местности. На правой, гористой стороне, где проходит сейчас асфальтовая дорога на Дивногорск, пути тогда были худые, за войну и вовсе задичавшие.

Я был молодой, недавно женатый, ноги мои пружинисты, душа пружиниста, голова пуста, внутри все ликовало, и от «восторгу чувств» мне хотелось петь, даже прыгнуть в еще холодные речные просторы хотелось, ухнуть в одежде, и вся недолга! Блаженненькое состояние пронизало всего меня насквозь, ветрено, вольно было, ни о чем долго не думалось, да и не хотелось ни о чем думать, и в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки не проникали, едва коснувшись ее, они, будто по круглому арбузу, соскальзывали в неизвестность.

Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригладен как он есть. Вон сытая, дородная, солнцем убаяющая корова возле светлой лывы, проткнутой иглами травы, лежала, лежала, да ни с того ни с сего и заблажила: «Ух! Ух! Ух!» — и с таким надрывом, будто по убитому мужу рыдало животное. Ей, корове, все равно, как она выразила свое коровье отношение к миру Божьему, но невдомек жвачной потёме, что чуть было не вспугнула она с моей души, резиново сжавшейся, всю благодать и

ребячество, которое я, сам того не сознавая, старательно взбадривал в себе.

Ладно, блажи, корова, кормилица-поилица, тебе можно и поблажить — рать кормится, а мир жнет, — потрудилась ты за войну, молочком попоила детей, солдаток, госпитальников, бороны потаскала и плуги, гнилую солому жевала, кровью даивалась от насады, но дотягивала до зеленой травы и снова впрягалась в работу, исполняла свое назначение — кормить и поить людей.

Пегонья птичка прыгнула из канавки и совсем уж было наладилась юркнуть в кусты, к гнезду, может, и к кавалеру, но стоило ей подлететь, как повело ее выше, дальше, и забыла она обо всем на свете, захлебнулась внешней высотой, далями, ей лишь видимыми, и пошла камешки-стекляшки сыпать, хвостом рулить, крыльями играть, перья ветрить.

«Вот интересно в природе устроено: коли птичка мастерица петь, вида она непременно скромненького. А как дармоед, прихлебатель какой, то разукрашен, расписан он природою». Но сей же момент я уловил противоречие в размышлениях, вспомнив про снегиря. Уж такой ли трудяга, этот выпик — снегирь! Так ли ему корм тяжело достается ранновешней порой, однако свистит птаха застенчиво, как бы извиняясь за беспокойство, да свистит. «Интересно знать, куда снегири деваются? Покуда снежно — висят яблоками по кустам, светятся фонариками в палисадниках, но хлынет водотечь, налетит всякой птахи, и снегири стушуются, в сторону, что ли, отодвинутся?»

Быстротекучие, случайные эти мыслишки ворохнулись под пилоткой и тут же сменились другими, не менее случайными и пустыми. «Вот взять кошку, — катились размышления дальше, — тварь хищная и подвижная». Я ненавидел кошек до войны и догадывался отчего. Жилось им всегда лучше, чем мне. Я их пинал и бил чем попало. Теперь бить не стану. Вот приду к бабушке, увижу семиковрижницу, поглажу по-девчоночьи изогнутой спине и скажу: «Ну што, шушшештвуешь, тварь?» — так и скажу — «шушшештвуешь!» — я уже вспоминал о том, что так говорил в детстве, когда у меня выпадали молочные зубы и преподобная моя бабушка Катерина Петровна все подъедывала меня: «Шушлик, пишшуженец, шопли, шушшештво».

Это я шушшештво, потому что шушшештвую! Не убило меня на войне, и я к бабушке иду, к Катерине Петров-

не. Только через порог переступлю, непременно гаркну: «Здравия желаю, товарищ генерал!» — она аж присядет и с испугу уронит чего-нибудь. «О, чтоб ты, окаянного, приподняло да шлепнуло!» — скажет. Так и скажет. Я-то уж знаю свою бабушку!

Хорошо! Правда, хорошо. Ну просто замечательно! Что хорошо? Вот и не знаю, как сказать, — что хорошо и что замечательно. Хорошо, да и только!

Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что живой вернулся с войны, и ноги мои, чем меньше становилось мне идти, тем скорее бежали. В дальних сосняках, по солнцeboким гривам доцветали сон-трава, медуница и стародубы; под заборами и обочь дороги отгорели, обуглились мать-мачехи, по оподолью гор уже занималось пламя жарков, раздувало белую пену дубровных ветрениц; прибрежные тай вызолачивало лютиком-курослепом; синие жеребчики мохнатой гривой возносились из трав, набирающих рост; первые колокольцы без звона качались на ветру. В заустенье, где до полудни холодеет роса и куда солнце падает уже горячее, гордо взнимался из ареника багровый, угарно пахнувший марьин корень.

Речки отбушевали, сделались смиренными, миротворно покурлыкивая, они катились с гор в гранитное межребрье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны, те и вовсе засохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яра в Енисей, где вода тоже шла на убыль, но река все еще кружилась, гудела и буйствовала возле быков и скал, бья в каменные оплеухи бревнами, однако и на реке вода выпустила на волю рёлки, и по ним воскресали, отряхивали струпья глины со стволов и ветвей трепанные вербочки, замытые ивняки; остро торчали из сувейно намытых песков и дресвяников лозы краснотала; дегтярно темнели черемшаньки с торопливо набухающим цветом; по речкам и оподольям шиханов черемухи отпенились, уже сорили белой чешуей, оттого и спешил островной кустарник нагнать всякую природу, и нагонит, сравняется, потому что стоек его корень, и свету, влаги, ветра теперь ему много будет с реки. По виске — так красиво зовется у нас обысхающая после водополья протока, будто для креста сложенная щепотью, припоздало всходила осока, копытень на обмысках с листом торопился, и всякий цвет, всякая травка хотела скорее занять свое место на земле, отгнать в цвету и успокоиться семенем.

Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно струилась вдоль берега. Я не удержался, спрыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней, уже чуть прогретой и мелкой, зачем-то набрал полный карман гладких камешков, огладив каждый перед этим, на иные я даже дышал, отчего они сразу делались ярче и веселей, — опять вспомнилось, как бабушка таскала за ухо, если я бегал с камешками в карманах и драл их. Ах, бабушка, бабушка! Иду я, иду!..

И опять я качу на своих двоих по-над яром, по дорожке, и опять глазею. Из лога и бочажин вода совсем почти ушла. В теплых лывах вяло плавилась мальки, ища выхода. Охотиться на рыбу мелкоту слеталось воронье. Вокруг лыв, усеянных живым крошечным головастиком, ярким хороводом пошли калужницы. Шебарша кожаной листовой, бегали под калужницами долговязые кулик с куличихой, под названием фифи, выпутывая из-под них трясогузок, бабочек, жуков и пчел. Потоптавшись под листьями, в дурманном озарении цветов, насорив желтой пыли на воду, кулик с куличихой масляно скользнули по кругу лужи, затем их как бы подхватило легким воздухом, скользящим по логу, и вынесло к Енисею. Фифи реяли над водой, работали всем телом, несясь над темными стремнинами, нежней, переливистой делалась их песня, полумесяцем изогнутые крылья, хвосты с беленькой каемочкой, пушистые брюшки с прижатыми к ним лапками, безбоязно опрядывали гиблую с виду гладь воды.

Из скал выметнуло стрелку чеглока. Он вкрадчиво запыликал — и кулик с куличихой — от греха подальше ткнулись в тень берега. Обстригая остриями крыл лохмы одинокого облака, чеглок упоенно плавал по небу, все глубже погружаясь в призрачную голубизну, вот сделался с воробья, с пчелку, с мошку величиной и наконец совсем утону в небе:

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали!

Не прячь гармонь, играй на все лады!.. —

заорал я ни с того ни с сего. Усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала:

— И чё орет, дурак! — но, увидев меня в гимнастерке, да еще и с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаясь улыбнуться.

Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски

уже спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега в казенную дачу, которую она сторожит?

И рад бы, отвечал я, да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был с сорок второго года.

И женщина сказала: чего же я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаюсь? С войны людей как ждут? — и стала отбирать у меня вязанку. Но я не отдал вязанку, донес ее до дачи, присел на краешек крылечка, огляделся и, не веря самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал:

— Вы знаете... Где-то здесь... здесь вот чуть было не замерз... до фронта...

Женщина, клеткой укладывавшая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу.

— И замерз бы. Чего хитрого? Сколько тут народу тоже погинуло-о. — Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то загнули, а может, и живы, — паходится сейчас народ, из мертвых восстает.

Но я перестал ее слушать, на меня вдруг накатило волнение: неужели тогда зимой сорок второго я мог так, запросто?... Ничего не понявши в жизни, ничего не увидев, не дожив до этой вот светлой весны? Да как могло такое быть? Несправедливо же! Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть. Как она ко всем одинаково равнодушна. «Могло быть, уважаемый, могло! По-настоящему!» — такой же ты, как и все люди, смертный. Это ведь только в юности да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тю-лю-люх, а что-то там этакое-переэтакое, и умереть не сможешь. Другие могут, ты — нет! Ну, а если умрешь, чтоб кому-нибудь досадить, то, как насладишься раскаянием обидевших тебя людей, тут же и воскреснешь, и милостиво, как Иисус Христос, простишь их всех, неумышленных, даруешь им возможность полюбить тебя, искупить перед тобой грехи малые и большие.

Мне сделалось жалко самого себя, того дураковатого фэзэошника. Умирают насовсем, товарищ фэзэошник. Насовсем! Ничего не остается. Был ты, и нету тебя! Понял? Совсем нету! Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему только теперь, давним временем, задним умом я по-настоящему испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь, в этой местности, брала за горло, давила мерзлыми перстами...

Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как устал и как

мне хочется есть. Впереди неожиданно встал забор из досок, прибитых внахлест, крашенный густой зеленой краской. Я повел по забору единственным, уцелевшим на войне глазом и обнаружил: забор уходит в глубь леса, к подгорью, конца его не видно, в загородь угодили лучшие дачи, строенные еще енисейскими толстосумами-золотопромышленниками да местной знатью. Как бы нечаянно пригорожены лучшие клинья соснового бора и колки березового леса. Меж деревьев виднелась водокачка, толсто укрытые дерном подвалы и приземистый склад — все это ограждено ниткой колючей проволоки, застенчиво-тонкой по сравнению с окопной, но все же штаны и кожу на задку порвать годной. Одним концом забор опускался в Енисей прямо в воду, с реки его было не обойти. Я решительно двинулся в ворота, из которых только что выпорхнула полуторка и, звякая бидонами, рванула к городу. Едва я сделал несколько шагов по ограде, где успела уже зарости и превратиться в тропку торенная деревенскими телегами, ногами моих односельчан, а также местными дачниками езжая дорога, по обе стороны которой были излажены теперь гряды разных форм, на них что-то уже взошло и налаживалось цвести, как услышал:

— Гражданин!

Из будки, крашенной тем же зеленым цветом, что и забор, ко мне шел утрюмый мужик в милицейской фуражке. Дверца в будку осталась открытой. Я увидел в ней столик, покрытый газетой, чайник, банку с медом, в которой шевелились комком осы-воришки. «Ух, ты! — обдало меня жаром. — На подсобное хозяйство, а может, на военный объект затесался!..»

— Гражданин! — взмахнув рукой у виска, глухо повторил милиционер. — Здесь ходить не положено!

— Военный объект? — понимающе отозвался я. Но вышло это у меня как-то игриво, потому что хоть и опечалился я, вспомнив про то, как не замерз чуть было давней порою, с души все равно ничего не сдуло — ни внешней певучести, ни ветреной легкости, и по-прежнему все вокруг казалось излаженным по моим душевным чертежам, двигалось и звучало согласно настроению моего, еще совсем молодого сердца.

Милиционер и тот начал высветляться взглядом, но, вспомнив про службу, насупился:

— Не положено, и все!

Нет, не военный тут объект — уразумел я и полез в

пузырь, не зло лез, как бы играя в гнев, напуская его на себя, забавляясь им:

— Значит, пока мы воевали, пока кровь проливали, вы тут дачки старобуржуйские отхватывали! Устраивались!

— Я тоже воевал, гражданин, — бесцветно и вяло отозвался милиционер, явно сожалеющий, что сбивает меня с намеченного пути, глушит во мне радужное настроение и должен убеждать в том, в чем убеждать ему, как можно было догадаться по тону и лицу, никого не хотелось.

— Чего ты заладил: гражданин, гражданин... Я пока не подконвойный, и ты мне не начальник!

— Вернитесь, пожалуйста, гражданин...

— Не вернусь! Стреляй! В спину стреляй! — вспыхнул и дерзко пошел по мягкой, еще не совсем заросшей тропе, которая была прежде дорогой и вела в мое родное село. Мне хотелось шуметь, ругаться, доказывать правоту, которую я ощущал в себе полновесно, законно. Ах, как нравится нам доказывать то, что в доказательствах не нуждается, что доказывать легко, заранее зная, какое внутреннее удовольствие получишь от этого. Молодой я был, прыткий, но с очень обостренным чутьем окопника, точно знающего, где могут выстрелить, где нет, где могут «качать права», а где и самому качнуть их возможно. Милиционер тащился за мной, просил вернуться, но рук не применял, сознавал, видать: руками трогать фронтовика нельзя, драка будет, бой.

— Что тут происходит? — услышал я властный, как бы худо смазанный голос курящего человека. На резной деревянной терраске старинной двухэтажной дачи стояла женщина. Одета она была в роскошное японское кимоно, на котором чего только изображено не было! Волосы женщины в крупных завитках, со лба прихвачены голубой лентой, лицо густо смазано кремом, и оттого сразу не разглядишь, что женщина уже в немалых годах, девственно-небесная лента не гармонирует, книжно говоря, с ее обличем, истасканным и несколько даже суровым. В ухоженных, пухленьких руках ее детская лейка.

— Да вот... — все так же тускло и бесцветно пояснил милиционер, глядя мимо меня, — не подчиняется гражданин, век, говорит, здесь ходили.

Женщина остановила работу, держа лейку в наклоне над узеньким ящиком, прибитым вдоль борта терраски, взглянула на меня темными, все еще горячими в глубине глазами и чуть свела брови на переносице, но, вспомнив

про морщины, тут же расцепила их. Мы лишь секунду, может, и меньше, смотрели друг на дружку, однако и за короткий миг успела возникнуть между нами неприязнь. Здесь, напротив дач, по ту сторону Енисея, возле Шалупина быка, нашли мою утопленницу-мать. Бабушка моя, тетки и дядья, братья и сестры, односельчане, гонимые нуждой и бедой, перетаскивали в котомках из города и в город по старой дороге столько всего, что поезду не увезти. Возле этих мест я чуть не замерз военной порой, идя на помощь к овдовевшей многодетной тетке. Здесь все освящено прошлой жизнью и памятью родных мне людей, а она, эта вот дама, по какому праву здесь? И от кого загордилась?

Женщина с лейкой была пронизательной, она постигла мою нехитрую мысль, и правоту мою постигла — кто поросенка украл, у того ведь в ушах верещит! — и задохнулась от бешенства, может быть, впервые осознав: всю жизнь ей беспокойно будет от таких вот, как этот молодец, прямых и правых в своем гневе, со своими первобытными требованиями, привитыми не первобытными, правда, книгами, фильмами, учителями, пионервожатыми и родителями, — жить в братстве, все делить пополам. И сама она, барственно устроившаяся в лихое для своего народа время, небось учила или учит детей — жить братством, каждую крошку делить пополам и, если придет час, — по-братски защищать Родину.

— Я здесь, — твердо вбивая каблук в травянистую тропу, уже со злостью, раздельно сказал я, — я по этой дороге на войну уходил!.. — Я еще хотел заявить, что по этой дороге и вернуться загадал, много всякой всячины наговорил бы и про войну, и про разбитые города и села, где люди, опухшие от голода, складывают камень на камень, про забитые народом поезда, общежития, тесные бараки, про госпиталь, где на палату выдавалась одна пара тапочек и один халат, раненых перевязывали старыми и плохо отстиранными бинтами, про форму «двадцать», про норму резервных полков, про голодавший Ленинград, про... про все бы сказал я, убежденный в законном праве, добытком кровью, ходить, где захочу, говорить, что думаю, требовать одинакового для всех хлеба.

Но женщина научилась осаживать таких, как я.

— Ладно, пусть идет! — тем же властным тоном разрешила она с терраски. — Да проводите его, а то еще сопрет чего-нибудь. — Не обращая на меня больше ника-

кого внимания, женщина, несмотря на ленту и роскошное кимоно, сразу сделавшаяся некрасивой, наклонила детскую лейку над ящиком, из лейки тонкими ниточками весело полилась вода, струйки виляли, падали мимо ящика, рвались на лету — нервничала все же тетенька, трепало нутро ее злобой, может, и стыдом.

Все язвительные бранные слова пришли мне на ум, как Коленке Иртеньеву, после, когда я протопал уже версты четыре. Во мне это и до сих пор, что в толстовском мальчике: оскорбление, хамство, черный поклеп расширяют на месте, оглушают до того, что я теряю всякую сообразительность. Как такой бравый, недавно женатый, с боевыми медалями на груди, с ранениями на лице и под гимнастеркой, шел я тогда под присмотром — не запомнил и не хочу помнить. Зато уж точно помню: в следующий приезд я покорно обогнул забор — длинный, зеленый, с застенчивой ниточкой колючей проволоки, обнаружил пробитую телегами и машинами круговую дорогу, сбоку натоптана была сухая тропинка новым поколением моих земляков, из которых мало кто знает, что пролегла когда-то прямая дорога вдоль берега Енисея, по ней ездили и ходили в город и из города односельчане, и почти все наши мужики ушли той дорогой и на войну, многим из них не суждено было изведать счастья возвратного пути.

На той даче — узнаю я — размещался с семейством тогдашний первый секретарь крайкома. И беседовал «по душам» я, должно быть, с его женой или свояченицей — редкая удача, жены и родичи нынешних секретарей, как и свойственники губернаторов когда-то, уже не снисходят до бесед с простолюдьем, да и не допускают посторонних «подсматривать» их жизнь надежные кордоны с телеустановками на воротах, в терем, где жируют современные сиятельства, «нет ходу никому», кроме холуев и «доверенных лиц».

Не знаю, за какие заслуги угодил этот товарищ в вожди и разика два вместе с самим Сталиным делал народу ручкой с трибуны Мавзолея во дни всеобщих ликований.

Чем-то и кому-то не потрафил он потом, и с кремлевского двора его согнали послом в Польшу, где он постепенно засох, забылся и сошел на нет.

Но дача та жива, правда, почти неузнаваема, перестроена и переоборудована она по последним достижениям архитектурной мысли и новейшей техники. Вокруг нее возведены другие, не менее роскошные дачи, и заборы

вокруг них, и охрана такая, что уж трудящиеся и дорога притиснуты к самой горе, скоро, видать, выгонят дорогу на гору, а то и вовсе закроют. У кого нет спецпропуска, тот не сунется сюда. На Енисей, особенно в протоку, нет доступа совсем, суда, лодки, самоходки привычно рулят в обход, по-за островом плавают.

Много пожировало за здешними заборами чиновного народа, все улучшающего и улучшающего свои бытовые условия. И Собакинский совхоз наконец-то обрел достойное название — «Удачный».

Время от времени проторенной дорогой из уединенных куц «Удачного» в крупные вожди следовал очередной деятель местного производства, приученно считая: «Вождю — вождеву», а «народу — народово».

Я уже давно заметил, что мошенник и проходимец, возросший на «просторах», в «среде народной», ценится у нас гораздо выше, чем столичный. Должно быть, мошенник из глубинки качественно лучше.

Да и Господь бы с ними. Сумел! Изловчился! Вырвался! Обошел! Красуйся, царствуй. Но вся беда в том, что желающих попасть в крупные вожди у нас много, а мест в Кремле мало. Вот и приходится иному деятелю местного масштаба из кожи лезть, чтоб попасть под сияние кремлевских звезд. Край, область разорит такой старатель, дыму напустит, землю под видом освоения целины в пыль превратит, реки загородит и замутит, народ оголодит, наврет с три короба, наприписывает достижений на целую Эфиопию, а все никак в Кремль попасть не может.

А уж как лизоблудствуют такие людишки, если вдруг посетит край влиятельное лицо, как угодничают, расширяются в доску, лишь бы выделили, заприметили, увезли с собою.

Старые, одряхлевшие вожди «времен застоя», хотя насчет этого слова есть у меня сомнение, поскольку, как известно, на свете ничего никогда не стояло и не стоит на месте, а обязательно куда-то движется, так вот, эти вожди гораздо были изредка навещать народонаселение отдаленных районов, чтоб еще и еще узреть праздничные, рукоплещущие толпы трудящихся, послушать радостные речи о том, какие они передовые и прозорливые руководители и скромные люди.

Как-то раз такой вождь осчастливил посещением и город Красноярск, а показывать здесь почетным гостям особо нечего, немногие архитектурные памятники и кра-

сивые строения ретивые борцы бурных лет повзрывали и срыли, город и окрестности закоптили, Енисей захламили, так возят всех почетных гостей и туристов «угощать» великим сооружением времени — Красноярской гидростанцией, которой в каскаде из двенадцати могучих гидростанций надлежит в корне преобразить дикие края Сибири.

Один из местных деятелей в порыве патриотического рвения и низкоспинного угождения затащил вождя на тот самый Слизневский утес, где я сидел в годы юности и плакал от умиления, глядя на совсем еще не преображенный Енисей и родное село. Полюбовался вождь на действительно редкостные виды, сказал, что, мол, очень красиво, «Почти как у Швейцарии», да только «лазить на утес круто больно».

Тут же товарищ из местных деятелей, особенно возмечтавший о столице, и заверил дорогого гостя, как он еще раз соизволит осчастливить его край и город своим посещением, то уж дикую эту скалу найдет преображенной и поднимется на нее без всяких затруднений.

Года два шло бурное движение и колотуха кипела на Слизневском утесе — травы, цветы, лес и гору бульдозерами искромсали, бетону убухали столько, что его на две больницы, которых в городе не доставало и недостает, или на целый участок дороги хватило бы. Увы, не довелось уже престарелым вождям все это увидеть, оценить по достоинству радение лизоблюда, и в Кремль он так и не угодил, расположился на подступах к нему. Но вот остался нелепый памятник среди прекрасной сибирской природы, памятник убогому подхалиму и дуболому, которому не дано понять, что прекрасное в улучшении не нуждается, оно само по себе прекрасно.

Но вернусь туда, в памятный день моего возвращения на родину.

Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено, покрашено, подлажено и, празднично наряженное, жило предчувствием шума радостной детворы.

Скоро по камням перепрыгнул я шумную речку Караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к Караульному быку, от которого иной раз переплывались односельчане на попутных лодках в Овсянку. И часто случалось, истомившись сидеть в заустье, возле холодом отдающей скалы, орали: «Поддай лодку!» — «Хрен тебе в

глотку!» — незамедлительно следовал ответ с родного берега. Бодрый такой ответ иной раз достигал слуха тяти или мамы, и, узнав по голосу своего дитятю, добравшийся до овсянского берега родитель первым делом за ухо вздымал вверх свое дорогое чадо и сек его до тех пор, пока у того штаны не взмокнут.

Словом, с переправой дело неясное, но я вспомнил, что в устье Караулки работал до войны бакенщиком мой двоюродный брат, сын дяди Вани, белобрысый, тощий голосом и телом Миша. Слабо надеясь, что он еще тут, подался я к бакенской избушке, маячившей на крутом носке, полагая, коли нет брата — война всех перешерстила, с мест стронула, попрошу нового бакенщика переправить меня.

Как это бывает у неустойчивых характером людей, склонных к быстрой перемене настроения, сердца моего вдруг коснулась и сжала его неожиданная печаль: Миши нет в живых, все наши повымерли или перебиты, и бабушки нету — писем-то давно я не получал из села, и вообще село мое за рекой какое-то раздетое, пустынное, дома к земле прижухнулись, низкие какие-то стали, многие без оград и дворов, темные прорези борозд из огородов вытекают прямо в улицы, к реке и на задворки. Река неслась мимо огородов и домов под размытым яром, безлюдная, злая. Головку боны рвало и одавливало напором воды, густо волокло, кружило бревна, и слепо наталкивались они друг на дружку тупыми лбами, сутились, сжатые берегом и спайкой бон. Та самая бона, о головку которой ударилась лодка, а в лодке сидела за лопашнами мама.

Почти пятнадцать лет прошло с тех пор, я вырос, на войну сходил. Но все не верится, что мамы нет и никогда не будет.

Сняв веревку, удавкой накинутую на столбик воротцев, я толкнул дверку, она по-козлиному заблеяла. Ограда косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый взлобок в устье Караулки, так и сяк вспоротый серыми швами каменных гребешков, взлобок этот — носок, мысок, бычок — называй его как угодно, был и двором, и огородом. От реки ограды у него не было, на самом пупке, на ветродуве, с воды далеко видная, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь избушки пестрели мачты: одна острая, одна крестом. На свежекрашенной крестовине колыхались, повертывались багряные знаки, и цвет их сра-

зу напомнил мне перекипелую, отгоревшую кровь. По этим знакам да по яркой белизне избушки, отделявшей ее от остального поселка, можно было догадаться: избушка и все, что в ней, на ней и вокруг есть, — не просто так существует, а находится на казенной службе.

Подмытая от Караулки, избушка зависла одним углом над яром и не падала только потому, что была подперта снизу слегами, завалина избушки укреплена каменными плитами, одна или две плиты укатились вниз, подрытая курами, избушка старчески обнажилась трухлым нижним венцом, источенным мурашами.

Памятуя, что у бакенщика всегда живет собака, и непременно злющая, я кашлянул. Из избушки выбежала белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка с дыркой на месте переднего зуба, в залатанном на локтях и на подоле платице. Она споткнулась, увидев меня, перестала улыбаться.

— Ты чья? — спросил я девочку, догадываясь, что Мишина она, наша. В родове нашей кто-то и когда-то, по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы веснушками, что мурашами, усыпаны. Почувствовав, как задержалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой, дичась меня, попятилась, запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше.

— Ну, чья ты? Потылицына, а? Потылицына? — приступал я к девочке и слышал, как рвется мой голос.

— Тошно мне, Витя!

Возле бани, тоже пошатнувшейся под утор и тоже подпертой от речки, под многостольно разросшейся вербой и косматым цевощником стоял Миша с кованным шестом в руке, все такой же тощий, белобрысый, только когда-то уже успевший сделаться мужчиной, присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы завязанными ревматизмом пальцами рук. Стоптав грядку с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал, почти ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все же распознал: хоть и не все, далеко не все, но наши живы, бабушка, слава Богу, тоже живая.

— А Ваня-то наш, Иван-то наш Иванович! — всхрипнул Миша. И еще об одном двоюродном брате, сложив-

шем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух сирот оставил брат Ваня, отныне для всех нас Иван Иванович.

Пока мы с Мишей обнимались, плакали да месили гряды сапогами, прошло, видать, немало времени, потому что, когда я оторвался от Миши, возле нас уже толклось несколько ребятишек, как на подбор веснушчатых, в стороне стояла в телогрейке, из-под которой свисал мокрый холщовый фартук, крепкая и тоже конопатая женщина.

— Моя жена. Полиной зовут, — сиплым от слез голосом возвестил Миша и, почему-то застеснявшись, улыбнулся, обводя вокруг себя рукой: — А это ребятишки... наши...

Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив руки, обняла и коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки, не чужие, дескать. И оттого, что она не повеличалась, от ее такой открытой ласки я совсем расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал:

— Гряды вон разворотили...

— Да черт с ней, с грядой! — махнула рукой Полина. — У нас их огород! Главное, живой остался!

Я сразу душевно проникся к этой женщине, потащился за нею по воду на речку и, спускаясь по крутой тропе, на выкопанных ступеньках которой лежали каменные плиты, поведал ей, как нарвался на «теплую» встречу возле дач. Полина подобрала густые, с прорыжью волосы под платок, затянула его и, сделав долгий, выразительный вздох, какой умеют делать только много пережившие русские бабы, вымолвила:

— А-а, наплюй! На горе да на слезах, как поганок на назъме, их развелось! Совесть в рукавицах у их ходит. Наплюй! Главное, живой остался.

Я попробовал помочь нести ведро с водой, Полина не дала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающуюся меж кирпичей щепу, от дыма ли, от переживания ли морщась, виновато и озабоченно произнес:

— И чем угощать гостя?

— Ничем меня угощать на надо, — возразил я, хоть и сосало под ложечкой — не объедать же ребятишек. — Вот переправить на родную сторону не мешало бы.

Полина рассердилась, дала такой разворот делу, что быстро я примолк, Миша, как солдат, вытянулся, слушая жену.

— Да это чё же тако? Мы уж и не родня ли, чё ли? А ну! — распорядилась она. — Ставь сетку! Леночка из Караулки катится, может, запутается дурак какой.

Миша хлопнул себя по лбу — он и собирался сеть ставить, да, увидев меня, про все забыл. Я же, смертельный рыбак, сразу весь запылал, затрясся. Полина велела скинуть форму, дала мне старье, через шею надела мне свой фартук, просмеивая меня при этом, сыпала прибаутки одну складнее другой: «Человек Яшка, на нем старая сермяжка, на затылке пряжка, на шее тряпка, на заднице шапка!»

«И откопал же себе где-то жену Миша! Вся в нашу родовую — зубоскалка, частобайка, заботница и работница, не только по двору судя, по числу ребятишек».

Мы с Мишей, не мешкая, набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасьями, бросая горкой берестяные наплавки.

— Не забыл? — Миша улыбнулся мне уже привычно, домашне и, чувствуя, как он рад тому, что я живой вернулся с войны и вот рыбачить с ним налаживаюсь, я, не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался, выпутывая из нитяных ячей костяной кибас:

— Что ты! — и все глядел на резво бегущую, бело заголяющуюся на камнях Караулку, на Енисей, виднеющийся в прорези распадка, на крутые хребты гор, на останцы, вознесшиеся выше их, на тайгу, сомлело замершую под солнцем. Сок уже сахарится в стволах деревьев, по стволам сера топится, шишки новые нарождаются: свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках, лес, елани, распадки — каждое место, всякий уголок земли в прыску, и над миром, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо! Под небом, высоким и чистым, по ту сторону реки горбится крышами, сверкает окнами родное село, единственное для меня на всем белом свете, село Овсянка.

— Что ты, что ты!..

Мне хочется рассказать брату, что бесчисленно видел я все это во сне иль наяву, там, в далеких, чужих краях, которые, как известно, ни глаз, ни ушей не имеют, и не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать сеть в старую, по дну чиненную жестью долбленку, услышу стук топоров и колотушек бадожников с реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном озарении; тени рыжих утесов в реке; рыбину, хлестко, будто мокрым полотном

цем, ударившую в устье Караулки, услышу и до малой малости известную, незлобивую брань чьей-то матери: «Полька! Ты моего варнака не видала?» — «Не видала, девка, не видала. А у нас гость!» — «Гость? Да но?! А кто жа?» — «Да Лидии-покойницы сын». — «Тошно мне! Здоровуший-то, приглядный экий! Ведь я его совсем махоньким помню!.. Как время-то летит, Царица Небесная! Вот бы мать-то, покойница, жива была...»

С вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас дом забывшего сорванца — бродит он в речке, пищуженцев и налимишков колет под камнями, серу колукает в лесу, пескарей на палочке жарит, зелень первую мнет — черемшу, свечки сосен, стебли медуниц и петушков, луковочки саранок, щавель, молодую редьку — много чего полезного найдет вольный, одичало живущий на природе человек. Клецей нацепляет, исцарапается о боярку, простудит ноги, побьет локти и колени, морда сгорит у него на солнце, нос облупится, глаза ушкуйной удалью засветятся...

Да неужели правда все это! Неужели я все это вижу? Слышу? И говор женщины, которая меня помнит совсем еще маленького, маму и всех наших знает, — мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить — чья она и когда переселилась из Овсянки на известковый завод? Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормозит меня, бережно набирает сеть, покашливает, но ему охота поговорить, угадываю я. Мало мы разговаривали с ним прежде — он был старше меня, рос отдельно, рано оторвался от села, все в бакенщиках да в сплавщиках. Но вот помнит, оказывается, меня, хорошо помнит, радехонек, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата, что ближе он мне становится с каждой минутой, и припоздальное раскаяние — редко вспоминал о нем, не писал никогда — охватило меня. Миша по голосу и погляду моему угадывает мою и ответную свою вину, торопится пройти ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на сплаве сошлись — муж ее убит на фронте, трое детей от него, да совместных двоих смастерили.

— Не теряли время, восполняли потери, — повинно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и встряхивая слежавшееся полотно сети. В глубине его рта нет уже многих зубов, взор притемнен усталостью, лицо впрожель от нездоровой печени или желудка, искособочен брат про-

студными болезнями. Мужик Миша, совсем мужик, в годах не таких бы и больших, да рано в работе распчатых — на лесозаготовках, на сплаву да на реке изъезженных.

— Витя! — закричала сверху, со двора, Полина — в голосе ее прорвалось притаенное озорство. — Правду говорят, что колдун на рыбу? Будто от прадеда привороты да наговоры перенял?

— А то нет!

Миша покрутил головой, ну, дескать, даете! — и кормовым веслом оттолкнул от берега лодку. Так, вперед кормой и плыли мы, перегораживая сетью неширокую, «в трубу» идущую горловину речки. Я выметывал мережу, из-за низкой заборки предбанника, подпертой зарослями шипицы, отсохшими дудками чертополоха и жалицы, украдчиво взошедшей под прелью стены, Полина, привстав на цыпочки, вытянув шею, не поймешь, понарошке иль озорую, заклинала:

— Приколдуй, колдун! Приколдуй, колдун! Леночка, тайменечка, харюзе-оночка! — бесовская баба даже притопывала. За нею все как есть повторяли ребятишки, орали и прыгали так, что волосья на головах взметывались белыми ворохами. — Таймене-он-оночка! Харюзе-оночка!.. Таймененочка!

— Нет, — остановил я действие, — колдун нынче не в почете, озевали колдунов, на мыло извели! Заветим-ка на победителя, а?! Как, народ?

— На победителей! На победителей!

— Пускай на победителей, абы поймалась! — Полина склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым и летели невидимые, лишь на мгновение загорающиеся искры. — Я все одно заводить квашонку стану — не попадется ничего, хоть с молитвой да испеку пирог!

Поставив сеть и подпернув легкую долбленную лодку на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля, вымывало каменные плитки и волосяные коренья цевощника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо, маленькая чечевица и, забывшись в труде или отдыхая от него, порой выговаривала: «Вить-витю-витю».

— Тебя зовет, — мотнул головой Миша, неслышно оборачиваясь, чтоб поглядеть на птичку.

Неторопливо, с чувством выполненной работы, курили мы с братом, переговаривались о том о сем и не услы-

шали, как спустилась к нам Полина. В левой руке ее недочищенная картофелина, в правой бритвенно-острая половинка сломанного ножа. Полина была чем-то перепугана, рот ее полуоткрыт, загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил, сделались заметней отруби веснушек.

— Мужики! — задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку Караулку.

Середних наплавков сети не видно. Один за другим в воду уныривали ближние берестяные трубочки, вытягивалась тетива, ползла змейкой хвостовина. Застрявший меж камней на берегу желтый костяной кибас подергался, подергался и булькнул в речку. «Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть, огнетает наплавки, вытягивает тетиву...» Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от нее глаз, ровно бы на самом деле озеванные, пилились мы на нее и не могли стронуться с места, заталкивали в себя, словно в мешок, поглубже мысль о дикой удаче. Этак ведется у здешних добытчиков от веку: попалась рыбина или дичь в лесу, тверди до последку: «Ох, неправда! Ничего не вижу! Ничего не чувю!» — уж целишься в дичину или тянешь рыбину, но про себя упорно повторяй: «Ох, не моя! Ох, уйдет! Ох, сорвется!» — и добыча наверняка твоей будет. Словом, чтоб не сглазить, не отпугнуть удачу, надо от нее отрешиваться изо всех сил — дело проверенное.

Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинулась в нее сама, заголившись латаной исподиной. Долбленка шатнулась, покатались по ней шесты, брякнули железки, хрустнуло стекло бакенской лампы. Миша ухватился за тетиву сети. Полина орудовала веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-длинные, короткие-прекороткие мгновения Миша и Полина вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, стало его не видно за обшитыми бортами лодки.

— Р-р-р-реби-и-и-и-и! — разнесся вопль по Караулке.

Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся встреч лодке, рванул ее так, что она у меня почти по воздуху на берег вынеслась. Полина едва не вывалилась за борт, кыркнуть на меня хотела, но времени у нее на это не было. Она перемахнула через меня — я почему-то оказался на карачках, — обдав теплом из-под подола. Миша

плюхнулся следом за нею на берег, держа в беремени что-то выворачивающееся из спутанной сети. Мишу уронило. Из мережи раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник!

«Батюшки! Таймень!»

Дальше я помнил и видел все отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкала, опрокидывала, пыталась сбросить с себя могучая рыба. И сбросила-таки, сперва сухопарого Мишу, затем Полину отшвырнула, сама же покатила вместе с сетью к воде, брэнча кибасьями о камни.

— Чё стоишь?! — рявкнула на меня моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами, вся уж как есть белая, патлатая, тяжело ноздрями сипящая. И, привыкший на войне беспрекословно выполнять команду, я тут же пал брюхом на сеть и почувствовал грудью, всем собою почувствовал упругое тело рыбы, услышал, как она меня приподнимает, увидел совсем близко сосредоточенное лицо свояченицы, вывалянного в глине братана. Он хватал кого-то руками, ртом ловил воздух иль пытался кричать что-то, катаясь рядом со мной на берегу.

Полина очухалась первая да так завезла кулаком по моей спине, что екнули во мне все печенки и селезенки, шибчей зазвенело в контуженой голове:

— А не колдун?! Не колдун, яз-зва!

Настороженно поднимались мы, отлепляя руки от рыбы, в любой миг готовые снова хватать, падать, бороться, если ей вздумается бунтовать. Топорщились огненные перья рыбы, надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно хлопаясь о сухую острию камней.

Потрепанные схваткой, возбужденные, горячие, мы неотрывно глядели на ярккрылую, покатуую тушу рыбы. Мне, еще не отвыкшему от войны, толстая и темная спина рыбы, стремительно набирающая крутизну за еще более стремительным ветровым плавником, уходящая к раздвоенному хвосту, напоминала торпеду с насечками сверкающих колец и серебрушек по округлым бокам и на утолщении, искусно пригнанных друг к дружке. Под округлостями колец и серебрушек с исподу проглядывали пятна старинных крупных монет с приглушенной временем позолотой — неуловимы, переменчивы краски на теле рыбы, в малахитовой прозелени монет мерещилась тень иль отзвук тех давних веков, когда везде были чудеса,

всюду людям мерещились клады. И вот, со дна пучин, из онемелых веков явилось нам чудо. Дотронулись мы до какой-то высшей силы, до чего-то столь прекрасного, что ощущение боязливого трепета пронизало нас, ровно бы священное что свистнули мы из храма, испугались содеянного и не ведали, что теперь с ним делать и куда его девать?

«Кликуша, — ругаю я самого себя, — накадил-то, накадил! Тайменя-разбойника в существо чуть ли не святое произвел! Фронтоник тоже мне!» — ругаюсь, но никак не могу погасить в себе какого-то особенного волнения и ощущения таинства.

Рыба в радуге неуловимых, быстро тускнеющих красок, выпалаянная в крупной дресве, в намоленном желтом песке, смотрит напаянными ободками зенков из округленных глазниц мимо нас, в свою какую-то даль, сосредоточенная мысль, нас не задевая, не касаясь, ворочается под покатым, большим ее лбом. В скобках твердого рта закушена разумная скорбь. Есть, все ж есть какая-то непостижимая, запредельная в ней тайность! В неусмирённом теле рыбы свершается работа, направляемая мыслью. Каждая клетка большого тела, от хвоста до полуразодранного удушьем губатого рта, схваченного стальной подкожной челюсти, полнится энергией, собирая исподволь в комок упрямство, силу, стремление к бунту и свободе. Реже, аккуратней, печатается веер хвоста о землю. Медленней, протяжней всосы жабер. Вот жаберные крышки распахнулись так широко, что под ними обозначилась кисельная зубчатка и арбузно спелая, тоже зубчатая жаберная мякоть. Праздничной, яркой гармошкой растянуло жабры, выпуская из мехов воздух. Хвост тайменя, гибкий, слюдянистый, всеми стрельчатыми перепонками уперся в землю и кинул упругое, дугой вытянутое тело рыбины вверх. В воздухе над берегом, выпростанная из липкой паутины сети, яростно задергалась, затрепетала крыльями плавников рыбина, засверкала каждой звездочкой чешуи, прозвенела всем золотом, серебром и рухнула на камни — последний рывок к свободе взял всю мощь упрямого, где-то и в чем-то разумного все-таки существа.

На камнях билась, рвала себя, пластала кожу, сорила чешуйками уже слепая и от слепоты беспомощная водяная тварь, большая, все еще красивая, но все-таки тварь. Рассудок ее, пусть маленький, угас, и сразу разъединилось в теле рыбы все, лишь инстинктом, одним только

инстинктом она устремлена в холодную, мягко разрывающуюся, родную стихию, где все наполнено движением, привычной тяжестью глубин, покоем беззвучия — шум воды не шум для рыб, продолжение привычного покоя. Нет там расслабляющей воздушной пустоты, забитой сверху донизу хаосами звуков и жарким сиянием усыпляющего солнца, нет небесной безбрежности, которая тускло отражалась в реке белыми тенями облаков, пятнышками звезд, сиянием круглой луны. Иногда небо полосовало по воде вспышками, но от них можно было спрятаться под камни либо вдавиться еще дальше в темень глубины, стать чутким брюхом на струю донных ключей, пронзающих тело бодрящим током ледяной воды.

Вянет тело, дрябнут мускулы, распирает воздухом нутро, мелко-мелко, по-птичьи дрожат растопыренные перья плавников, рывками дергаются жаберные крышки и, не прикрыв отверстий, все еще жарко полыхающих изнутри, замирают на полувывдохе. Совсем уж скорбно западает рот тайменя в углах, потом медленно, мертво растворяется уже не рот, а зев, в глуби которого за частоколом острых зубов виден стебель несоразмерного зева, маленького, нежно-розового языка. Исхлестанный о камни хвост ссохся до ломкости, дрожь еще раз пробежала по увядшему телу рыбы, покрытому клейковиной жира, может, и больного пота, выступившего от жары, тряхнуло каждую чешуйку, каждую отчечаненную серебришку, каждое колечко, но ни звона, ни даже тихого звука не раздалось уже, но все-таки и поверженная рыба не выглядела жалкой, сдавшейся, некрасивой. Так никому и не покорившейся, надменной, величаво скорбной — вот какой она выглядела, только брюхо, вздувшееся под грудью от заглотышей, с девственно-глубокой бороздкой у прихвостного плавника выдавало слабость, даже беспомощность рыбы, сам же плавничок был все еще петушино-яркий, но казался уже лишним на этом холодном, сером теле.

Я ладонью стирал с успокоившегося тела рыбы дресву, чувствовал плотную шероховатость чешуи, усмирительную силу, и, странное дело, при виде добычи впервые после фронта в меня вселялась уверенность покоя и мира.

Я начинал осязать мир в обыденном обличье, где не убивают, а добывают, где все-все растет, живет, поет не по команде, а по закону давно сотворенной жизни. Я проникался ощущением тишины и величия земного пространства, еще так недавно суженного, стиснутого, зажатого

щелью или царапиной траншеи. Свет солнца, блеск воды, шум тайги, глубина неба — это уже не загаснет, не оборвется от слепой пули, шипящего снаряда, воюющей бомбы, вопящей мины — это навсегда, теперь на весь твой век! На весь! Понимаешь? И в то же время из моей успокоенно работающей души и памяти прорастал корешок в чью-то чужую, призрачно-пространственную память, из недр ее отрывочные мерклые возникали видения и онемелые картины.

Во мне, как и во всяком человеке, пережившем страшные времена, гнездилась, видать, тоска по первобытной, естественной жизни. Виделась пещера, хижина ли. В ней чадил смоляной ломью костер, вокруг него волосатые люди. Глава рода в шкуре, надетой через плечо, сваливал к огню тушу горного козла. Дикой жадностью горят глаза голопупых, низколобых чертенят-ребятишек. Спокойно лицо женщины. Лишь в глуби ее взора таится гордое и дикое достоинство. Глава рода преисполнен величия, он доволен сознанием выполненной работы — он добыл пищу детям, которые есть продление его. Нет в нем иных устремлений, кроме продления себя, а значит, жизни своей в бесконечность, и страха за нее нет. Только силы небесные пугают его громами и молниями, но он уже научился отмаливать их, бросив половину добычи в огонь, полыхающий в сердце самой высокой горы.

Продолжительность его жизни восемнадцать лет!

Век многих моих товарищей, тех самых победителей, па которых мы с Мишиной семьей, как в древности, загадали добычу и так счастливо забросили ловушку, — тоже кончился в восемнадцать лет. Только жизнь их была куда сложнее, чем у древлян, и смерть не своя, насильственная смерть, и приняли они смерть от людей.

Их убили.

Так что ж, для того мучился тысячелетия человек, для того прозревал, чтобы «замкнуть круг жизни», как и в дикие, неразумные времена — в восемнадцать лет?!

А я — живой, я счастлив. Счастлив?.. Нет, нет, не хочу, не приемлю такого счастья, не могу считать себя и людей счастливыми до тех пор, пока под ногами у них трясется от военных громов не земля, нет, а мешок, набитый человеческими костями, неостывшей лавой клокочет кровь, готовая в любой момент захлестнуть весь мир красными волнами.

Но я жив! Значит, соглашаюсь со всем сущим, значит,

приемлю его, радуюсь дарованной мне жизни, желаю покоя и радости не только себе, а всем людям. Батюшки мои, как сложно-то все! И старшины ротного нет рядом — а он так просто умел разрешать все сложности и сомнения: не умеешь — научу, не понимаешь — разъясню, не согласен — накажу!

Под тенистым сырым яром сидят и смотрят на рыбу мой брат с женою. В стороне в пугливую стайку сбились ребяташки, и не ведают они, не гадают, о чем я, дурак, думаю! Ждут чего-то. Слов или действий? Иль тоже переживают печаль и радость при виде такой редкостной добычи?

— Это он пасся возле каменного порожка, — словоохотливо, освобожденно рассказывал детишкам про тайменя Миша, вытирая с лица полый телогрейки грязь и отплеывая дресву. — В слив воды поднялся, стоит за корягой, караулит. Ушлая тварина! Как с верховьев Караулки покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-царап! Да мы тоже не дремали, того дожидались!.. — перешел Миша на стих, удивился сам себе, загоготал, свалил старшего парнишку на песок, давай его щекотать за брюхо. Ребяташки боязливо тыкали пальцами в рыбину и, ровно бы ожегшись, отдергивали руки. Но когда отец начал игру, они все с визгом повалились на него и тоже давай родителя щекотать. Смех, шум, гвалт, радость. Мишу прямо-таки распирало, он не мог и минуты сидеть просто так, ему надо было что-то делать, говорить.

— Таймень — зверь чуткий! — продолжал он рассказывать, надуревшись с ребятами. — Небось чуял, как мы с Витей сеть ставили, нервничал, да не хотелось ему с кормного местечка сходить. Не один день, поди, жировал, пообвык тут. Но сбрыкали кибася, шест звякнул. Полька орет! Ребяташки-шпанята заклик декламируют... Жу-уть! И не выдержал таймеха страхоты такой, хватанул из речки, да рылом-то в сеть! Пробил ее бы, запросто пробил — сетчонка старая, прелая, но я тоже соображаю кой-чего, режь к ней подвязал! И влип, бродяга, биться в сети начал, а она с двойной стенкой, он, боров жирный, сдуру-то и запутался! Совсем! И теперь ему, — Миша значительно поднял указательный палец, — теперь ему одна дорога — в пирог!

— В пирог! В пирог! — захлопали в ладоши и запрыгали ребяташки, тощенькие, костлявые, как и все дети во-

енной поры, радуясь добыче больше всех нас, и снова кучей малой повалились на отца.

— Надо же! — удивлялась Полина, вытряхивая платок и повязываясь. — Надо же! Только закинули сетку!.. — поглядела на меня и засмеялась, обнажив большие белые зубы. — Экие обормоты! Извалялись! Избились! Куда бы он из сетки-то девался? Витя ладно, давно рыбы не видал. А мы-то, ты-то, рыбак, едрена копалка! — стукнула она Мишу по затылку. — Ну, как он его!.. — Полина задышалась от смеха. — Как он мотырнул баканшыкà, токо у него сбрыкало!..

— А самуё-то! Самуё! Ладно, брякать нечему, акромья языка! — Миша плюнул под ноги, махнул рукой, нажил, дескать, я с вами греха, и занялся делами: привязал лодку, хотя привязывать ее было незачем, шест ли, весло ли искать взялся, обнаружил, что кисет с табаком вымочил, принялся пушить все на свете, заявил, что он падину эту, тайменя, выбросил бы обратно в реку, если б тот еще мог плавать, бабу свою заодно утопил бы — не скалила чтоб зубы, когда мужик подыхает без курева!..

Обретая деловитость, Полина прервала выступление мужа:

— Кончай давай попусту дорогие такие слова изводить! — и распорядилась: — Руби зверюгу пополам. Половину в Овсянку плавь — на вино. Половину сами ись будем. В деревне и табаком разживешься. Наших всех зови. Ох, и гульнем же!..

* * *

Три дня и три ночи шел пир, хоть и не на весь мир, однако известковый поселок был гульбою взбудоражен. Случилось в нем несколько инвалидов и только-только демобилизованных бойцов. Братство нас объяло, гулянка пошла вширь. Мелькали лица, раздавались поцелуи, лились слезы, трещали кости от объятий, гнулись половицы от пляски, была пробита западня, и один боец сорвался в подполье, но ничего не переломал в себе и на себе, благополучно извлечен был наверх, всем сделалось еще веселее. Миша пришел западню гвоздями на живульку, ударил в нее пяткой, проверяя стойкость, — можно плясать дальше. Вчерашние вояки ревели боевые песни, подавали команды, рвались рассказывать каждый о своем, но некому их было слушать; солеными частушками сыпали мои

земляки, озоровали бабы, и пуще всех выкомуривала Полина:

— На море, на океане, на острове Буяне, — складно колоколила она, угощая гостей пирогом с таймениной, — стоит бык печенай, в заду у его чеснок толченый, с одного боку режь, с заду макай да ешь!

— Полька! Штабы ты язвило! Да где ты набралась-то всего? Где наострилась?

— В ниверситете! — подбоченивалась Полина.

— Где тот ниверситет-то? — глуша раздражающий груди хохот, гости ждали ответа.

— За трубой, знать, на пече, на десятом кирпиче, возле тятина оплужника, у общественного нужника! Одним словом, девки, ниверситет тот и вы знавали — сплавна запань на Усть-Мане да леспромхозовский барак на таежной деляне.

И куда чего делось? Сникли бабы, головами затрясли, платками заутирались:

— Да уж, ниверситет дак ниверситет, будь он проклятой! Есть чё вспомнить! До горла в снегу, на военной пайке-голодайке... Мужички чембары подпояшешь, топор-пилу в руки — и на мороз, в трещебник!.. Слез-то сколько пролито, горя-то сколько пережито...

— Эй, бабоньки, эй! На печали не сворачивай! Как говорит матушка Екатерина Петровна: «Бабы печали нас переживут и поперёд нас от могилы убегут». А ну-ка, девоньки, а ну-ка, подруженьки, подняли, подняли! Седня праздник, жена мужа дразнит, шаньги мажет, кукиш кажет: «На тебе, муженек, сла-а-аденький пирожок, с лучком, с мачком, с пе-е-ерчи-ко-ом!»

Взбудораженные гулянкой ребятишки заглядывали в окна и двери, смеялись, передразнивали пьяных, что-то таскали со стола. Их кто-нибудь пугал понарошке, топотя ногами, они с визгом сыпались под яр и там спасенно хохотали.

Все наши, кроме бабушки, перебивали в Мишиной избушке, даже пароход какой-то прибудился. Оказалось на нем обстановочное начальство — намеривалось крепко взгреть Мишу, но, узнавши, по какому случаю идет пир, не только смягчилось, даже от себя посудину выставило. Под пирог, под уху с таймениной да под толченую черемшу хорошо нам пилося и пелось. В особенности удалась нам заваливающая песня: «Горит свеча дрожащим светом, бандиты все спокойно спят, а мент решетки проверя-

ет — замки железные звенят...» Дальше в песне наступало жалостное: «Один бандит, он всех моложе, склонивши голову на грудь, в тоске по родине далекой не может, беденький, заснуть...»

Вся компания «уливалась» бы тут слезами, я подвергнулся бы особенно активной нежности по причине моего сиротского положения в родове, отныне еще и оттого, что на войне поувечен. И все пошло бы дальше дружно, жалостливо, согласно. И наплыло на меня красным семафором паскудное слово «мент», и поведал я застолью, братьям и сестрам своим, как подвергнулся унизительному задержанию на уединенной даче современного губернатора.

Женщины, как им и полагалось, все истолковали по-земному: «Да у нас отродясь ворья в родне не было!»

Мужчины, среди которых особое рвение выказывал Миша, человек, в общем-то, отроду смирный, но чувствующий себя неловко, как «тыловик», похватали кто чего и двинули походом за Караулку. Братан прихватил дробовик и патронташ; мы выламывали из огорода тынины. Впереди всех катил под гору полководцем на звенящей коляске затесавшийся в компанию городской инвалид.

Набравши разгон на войне, еще не остудившейся в нас, все мы, в первую голову недавно бойцы, распались, кричали, грозно потрясая дрекольем. Люди в ближних избах стали запирались на засовы. Не знаю, что бы мы натворили, скорее всего до цели не дошли бы, схватились бы с кем-нибудь другим, но бабы, наши российские бабы, твердо знающие свою задачу: хранить мужиков от бед, напастей и дури, стали боевым заслоном у речки и за водный рубеж нас не пускали, бесстрашно вырывая дреколье, расталкивали по сторонам. А мы, чем они нас больше унимали, тем шибче ярились. Какая-то из баб умывала инвалида в речке — он не удержал ходу, скатился с крутика, опрокинулся вверх колесами и разбил о камни нос. Какая-то, вроде бы Полина, щелкнула мужа по загривку, которая-то кричала: «Навязались на наши головы! Чтоб вы пропали, кровопивцы!» — «Упрись, Гаранька, в кутузку тащат!» — дурачился босой мужичонка с известкового поселка, понарошке оказывая сопротивление жене.

Которая-то из наших баб-песельниц, в обнимку уводя по тропе остывающих мужиков, направляла их на мирную рельсу, продолжала как бы не прерывавшуюся пес-

ню: «С та-а-аско-о-ой по р-ро-оди-ине-е-е-е-е дале-о-о-окой...»

Тут же все с готовностью подхватили песню и потащились по дороге в косогор. Лишь инвалид разорвался еще возле речки: «Смерть фашистам-оккупантам! Гр-р-рами захватчика н-на месте! Десантники пленных не бер-р-рут!..»

Помню ясно еще один момент: кто-то подал мысль забраться на Караульный бык, чтобы обозреть с высоты родные просторы, за которые так люто все мы сражались, и чтоб я, как Стенька Разин, крикнул с утеса в честь Победы что-нибудь складное. Но бабы, опять же бабы! — разве они понимают воспарение мужицкой души?! — «Сорветесь ишшо к язвам с утеса-то!» — сказали и никому нас не пустили.

Очнулся я на низенькой сарайке, в прошлогоднем ломком сене, под односкатной амбарной крышей, прогретой пуще русской печки. Всего меня сеном искололо, потому что с половика-подстилки, с подушки я скатился. В волосьях, совсем еще мало отросших, в ушах и в носу щеко-тало от сенной трухи, позывало на чих, каяться перед людьми и Богом хотелось, либо укрыться в леса навсегда, в крайности, хоть на ту сторону реки, спрятаться у бабушки Катерины Петровны — она даст хорошую баню, выволочку сделает и, глядишь, легче жить на свете станет.

И еще хотелось пить.

Я прислушался: внизу, под крутым яром, курлыкала, бурлила, плескалась как ни в чем не бывало речка Караулка. «Э-эх-хо-хо-о-о-о!» — вырвалось из моей груди многоступенчатым вздохом.

Я спустился вниз, на землю, по углу сарая, а спустившись, заметил лестницу, прислоненную к стене. «Допировался, — презирая себя, сказал я, — по углам уж лазить начал! Скоро по потолку пойду...»

Гряды в огороде истоптаны, спущены. Народу никакого не слышно и не видно. Я поплелся в распахнутую избушку.

Миша лежал на старой деревянной кровати, на голове его комком лепилось мокрое полотенце.

— Здорово живем! — сказал я, отыскивая взглядом Полину.

— Чё-а? — погибельно откликнулся Миша и пошевелил себя, тужась выдать шутку. — Плохо, Тереха, хило, Вавило, да?

— Мы чего-нибудь натворили?

— Да нет навроде. Гуляли! Хорошо гуляли. Драки не было.

«И то слава Богу!» Я смотрел на Мишу. Братан лежал, вытянув руки по швам. А я все смотрел, сам не знаю зачем? Надо было к речке идти, попить, умыться, но я сидел и смотрел. Миша вроде бы стоял по команде «смирно» и так вот, не меняя позы, упал на кровать спиной. За уши ему текло с мокрого полотенца. От полотенца падала тень на глубоко ввалившиеся, тускло мерцающие глаза. Кости скул, и без того крутые у нашей родовой, вовсе выперли наружу, щеки ввалились, под глазами, то и дело в бессилии закрывающимися, залегли желтые тени. Чахлая, засушливая борода взошла на лице брата. Заметил я: у пьяных людей борода скорее растет, и вообще лицо у человека во время пьянки быстро дичает, приходит в запустение.

Миша заглушенно стонал. Я не хотел воскрешать в памяти — кого он мне напоминает. Оно, воспоминание, само спазмою подкатывало к сердцу и оживало в моем оглушенном нутре. Миша походил на немца, убитого мною на войне! — вот отчего заранее болела память, от которой я отрешивался, оттирал ее в сторону. Немца того, тотального, я по глупости лет, ходил глядеть после боя. «Отринь, отринь, Господи! — пытался я вспомнить одну из самых мощных бабушкиных молитв. Но где там! — голова тяжела и пуста. — И расточитесь врази Его!..» — скорее подогнал я конец молитвы. Неточный конец-то, скомканный, однако он все равно маленько успокаивал. Не очень-то еще вобрала меня и мучила тогда глубь, точнее, бездонье вопроса о смерти, и оттого сразу мне удалось думать о другом: «Расточатся вот врази, вытянет бабушка по хребту батогом — и сразу все расточатся! Мише, как главному союстителю, тоже перепадет».

— Пропадаю к язвам! — завел Миша. — О-о-о-ой, матушки-и мои! О-о-ой, голубоньки мои. Ты-то как?

— Живой, — малярийно просвистел я губами, — пока...

— Ниче-о, ниче-о-о-о, — Миша сунул ком полотенца в чашку с водой, стоявшую на полу, и шлепнул его обратно на лоб. — П-о-оль-ка!.. — контуженно пропел он. — По-о-олька баканы потушит... в деревню после опохмелиться... рас... рас.. старается... О-ох, матушки мои! О-ой, голубоньки мои! Кто это вино придумал?

— Люди. Кто ж еще?

— 'Оне, оне... Кы-ы-ышь, коршунье! — шмягнул он комом полотенца в куриц. Несушки беспечно разгуливали по избе, не считая за человека поверженного похмельем братана, раскрепощенно оправлялись где попало, нагло при этом кокотали, наращивая яйца. — Кы-ышь, — схватился Миша с кровати, забежал по избушке, замахал кулаками. На задку Мишиных кальсонешек цветочная заплатка, давно не стриженные волосенки сосульками висели, уши сделались лопушистей и бледнее. Курицы базарно кудахтали, летая по избушке. Раздался звон, посыпались стекла лампового пузыря на стол, рухнула кринка с полки, закружился крахмал или мука, луковая связка развязалась на печи, луковицы рассыпались по избушке, с окна упал цветок, обнажив клубком свитые корни. Одна совсем уж шальная курица выхлестнула заслонку, в печь попала и закричала там человеческим голосом — в печи еще было горячо. Миша ринулся выручать курицу, но она сама из печи соколом вылетела, братана на пол опрокинула и приземлилась на угловик, где должна быть икона. Вместо иконы там стоял репродуктор и вазочка с древними своедельными цветочками, квитанции хранились, справки и всякие казенные бумаги. Репродуктор повис на проволоке, заговорил с испугу. Бумажки, сохлые вербы, три желтые рублевки и всякое добро разметала по избе курица, все продолжая орать панически. Другие хохлатки не отставали от нее, летали, разметая все, что можно разметать, базланили дружно, неумно.

— Ну не курвы, а?! — чуть не плача, произнес Миша и, одним усилием преодолев удрученность, глянул на стену — ружья нет. Тогда он выхватил из подпечья кочергу, ринулся в схватку и одну курицу зацепил. — А-а, потаскушка! — издал вопль ликования братан. — Ты чё думала?! На меня уж какать можно, думала!.. — Голос Миши сошел на нет, укорным и несколько повинным сделался — курицу он не хотел убивать, он поугаать ее хотел и вот такое дело получилось. Оплыл братан, кисет взялся искать, дрожащими руками сигарку крутил, но от первой же затяжки его замутило, он заплевал недокурочек, прижал ладонь к груди и заполз обратно на кровать. — Поймали два тайменя, один с хрен, другой помене... — сглатывая воздух, толчками, будто рыба на берегу, молвил он. — Сдохнуть бы, токо разом.

Я хотел ему возразить — нечего, мол, попусту смерть намаливать, не предмет она для суесловия и шуточек, не

видел ее близко, вот и брякаешь языком, но в это время появилась Полина.

— Вот так нахозяевал хозяин! — обнаружив, какой разгром в избушке получается, всплеснула она руками. — Вот так навел он порядок! — и мимоходом постучала Мишу кулаком по лбу: — Взяло кота поперек живота!

— А чё оне тут летают! — буркнул Миша. — Я их всех перестреляю! Похмелиться приплавил? — вздымая себя с кровати, будто со смертного одра, Мишка спускал ноги, стеная и ругаясь при этом, как пехотный генерал на позициях.

— Охотник какой! Куриц по избам стрелять. Иди в лес да и понужай рябчиков, копалух ли... Эко, эко!... Курчонку на божницу загнал. Одну вроде и насовсем зашиб — глаза закатила! Щипать придется. Ну, бес! Ну, бес! Хуже дитя! Нельзя одного оставлять, чего-нибудь да нагрезит, — выкладывая чего-то из мочальной сумки, жучила мужа Полина.

— Опохмелиться, спрашиваю, привезла?

— Я тя опохмелю! Я тя опохмелю! — выставив на стол бутылку, заткнутую бумажной пробкой, погрозила Полина кулаком Мише, а мне сказала: — Тебя баушка Катерина уже потеряла. — И снова к Мише: — Болит башка-то, болит? Так тебе и надо! Моей башке вот и болеть нековды — нет радости вечной, как печали бесконечной. Я тоже опохмелюсь. А тебе вот! — показала она Мише кукиш. — Этот квас не про вас!

Братан отвернулся, обиженно засопел, сучок из стены выковыривать припался. Я спустился в речку, и, когда, немного освеженный, вернулся в избу, все в ней было утоено, подметено. Миша сидел за столом, все еще в кальсонах и босой, но уже с ополоснутым лицом, причесанный. Полина налила щей со старой, перекишшей капустой, наполнила две граненые стопки, подумала, поглядела на мужа, потрясла головой сокрушенно, налила и третью:

— На уж, враг! Ради гостя! Будем живы, мужики! — Полина подмигнула нам, сделала вдох и выпила рюмку до дна. Мы последовали ее примеру. Я поверх самогонки хлебнул капустного рассола, потом за щи принялся. Выпив рюмашку, братан ткнул в соль вехоткой свернутые стебли черемши, пожевал, еще одну выпил и затряс головой так, будто водворял на место раскатившиеся детали.

— Не пей больше, — предостерегала его Полина. — Человека плавить. Баушка Катерина костерит нас.

— Ей чё, нашей баушке? Ей покостерить внуков дорогих — праздник! — оживленно сказал Миша, после чего набрал воздуха в грудь, глаза на меня вытаришил и пронзительно закричал: «Ах, пое-еди-им, кра-а-асо-о-от-ка, ката-а-а-а-аться-а-а! Да-авно й-я тибя-а-а-а ажи-да-а-а-ал...»

Полина подтянула мужу, я ей, и так вот, с песнями спустились мы к лодке, потоптались еще на берегу, пообнимались, почеломкались и поплыли с братаном в Овсянку. Я сидел на гребах. Миша хлопал кормовым веслом. Покачивая, несло нас к Енисею по узкой, швами бурунов простроченной горловине Караулки. Вода уже высветилась в речке, тальники из воды на мысу, как и на релках, выпростались, целили стрелами листьев в небо. Весь заливчик ровно бы смеялся от солнечной щекотки, лучезарно морщиясь, пятна по нему ходили желтые, плавилась мелкая рыба в уловах и под тенями яров, за ней щуки и таймени гонялись, один вылетел из-под самой лодки, ровно дурачась, вывалился ярким боком наверх, хлопбыстнул хвостом так, что во все стороны брызнула мулява, вода ли не разберешь. Миша мотнул головой, видал, дескать, чего делает, бродяга! Ловить его будем, пироги печь! Такое время пришло: промыслять рыбу, зверя, отстраиваться, откармливаться, девок любить, детишек копить.

Ты правишь в открытое море,
Где с волнам не справиться нам... —

песлось вдогон лодке, и еще долго слышался голос Полины. Она вышла на самый носок, взобралась на валун и махала нам снятым с головы платком.

Лодку выметнуло в Енисей, подхватило, понесло, норовя обернуть. Пьяненьких да лопоухоньких любит испытывать родимая наша река. До того иных доиспытывает, что окажутся они на холодном каменистом дне. Но бакенщик же, братан мой, привычен с рекой управляться, погода-непогода, быгть ему на ней, засвечивать огни. Он только с виду испитой, братан-то. На самом-то деле мужичонка жилистый. Уперся ногами в кокору, посадил весло в воду, что тебе в масло, голову наклонил и правит лодку наискосых, почти встречь течению, да еще и кричит при этом: «Узнай же, изменшык коварнай, как я доверялась тебе...»

Мы проходили середину реки, самую стремнину. На-

зывают ее стрежнем, селезнем, зёрлом, стрелкой, струной и еще как-то, не вспомню, но слова-то все какие — одно другого звучнее! Это тебе не «берег левый, берег правый» с черной пропастью меж них, налитой черною водой — ни дна под тобой, ни крыши над тобой, ни рыб, ни птиц, ни камешков — холодная пустота, бездонная, всасывающая, и надо вырваться из пустоты, преодолеть ее, не дать повязать себя страхом по ногам и рукам, не попасть еще и в объятия тех, кого навечно вбирала в себя беззрачная, бездушная темень пустоты.

На плацдарме я не раз вспоминал от старого, заезжего солдата слышанное: «Войну нелегко слышать, но во сто крат страшнее войну видеть». Через неделю стали всплывать трупы. Их таскало по тиховойдной реке, в мыльно пузырящейся пене. Всему послушные, куда несет, туда плывут, безгласны они, а уши тех, кого лично стерег Господь Бог или другая какая сила, все еще рвет крик: «Ма-а-а-а-а-а!» — клочок берега, без деревьев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанный кровью, раскрошенный взрывами, клочок берега, где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненные, — все равно кажется райской обителью...

Стрежень, селезень, зёрло, стрела, струна — я и забыл про эти слова, а они ведь были, и река вот эта, стремительная, веснами яростная, совсем непохожая на ту, была, катилась, шумела, кружилась, но для меня она могла остановиться. Да, она все так же текла бы, кружила бурунами, завихряясь у скал, грохотала по весне, но во мне ее не стало бы, она умерла бы вместе со мной, перестала течь...

Мы приближались к Овсянке. Я хлопал лопашнами и, хотя сидел к берегу спиной, слышал и словно бы даже видел деревню, берег и все, что было дальше: во дворах, в огородах, в ближнем лесу, иль мне все блазнилось? Вот петух возле сидоровской бани проорал: от двора Шимки Вершкова столкнули лодку по гремящим камням; под берегом побрякивает боталом корова, отбившаяся от табуна; визжат ребятишки, терпеливо грея воду, чмокают сплавные бревна, сталкиваясь друг с дружкой окорелыми боками; в чьем-то дворе, кажется, у припадочной Василисы, ширкает пила; высоким голосом кого-то пушит баба. Мужика, конечно, кого сейчас еще бабам пушить? Поддал небось мужик с утра пораньше, вот бабе и раздолье, до-

ждалась с фронта бойца, в схватку с ним вступила. Молча держит осаду опытный вояка, выжидает момент для боевого броска.

Продернуло нас, протащило мимо прорана боны, худой я стал гребец, да и задумался, заслушался, рот открывши, — перетаскивать через бону лодку придется. Я поднял весла. Встречь нам катился звонкий голос Малой Слизневки, вон и белая жилка ее трепещется в распадке, на нас наплывал слитный шум великой тайги и откуда-то сверху, с дальних хребтов размеренный, протяжный колокольный гул.

Я обернулся — не слышно Полину, но коренастенькая ее фигура все еще видна на сером бычке, за ней, за женщиной, и за беленькой избушкой, отсюда кажущейся скворечником, отдаляясь, вырастали горные перевалы и вершина самой высокой горы наших мест — Култук — расплавилась в жарком и жидком солнце. Она-то, гора эта, и гудела от жары по всему небу колоколом. Леса зелеными полосами и проплесками стекали по Култуку к реке, и плавал белый от черемухи остров напротив деревни, тот самый, куда мы когда-то с Санькой и Алешкой храбро подались палимничать по дурной, веснопольной воде. Пещеры, как и много лет назад, целят с другого берега, из каменных стен орудийными дулами в наше село. Карательный бык тоже как бы оплавлен с боков огнем молодого еще, но уже напористого лета. Отчетливо видна на отвислой глыбе полоса высокой, напряженной воды, идущей в межень, — отметина еще одной весны.

И в сердце моем, да и в моем ли только, подумал я в ту минуту, глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность — мы так много истребили зла, что имели право верить: на земле его больше не осталось.

1974, 1988

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН

Задами пробрался я к нашему дому. Мне хотелось первой встретить бабушку, и оттого я не пошел улицей. Старые, бескорые жерди на нашем и соседнем огородах осыпались, там, где надо быть кольям, торчали подпорки, хворостины, тесовые обломки. Сами огороды сжало обнаглевшими, вольно разросшимися межами. Наш огород, особенно от увалов, так сдавило дурниной, что грядки в нем я заметил только тогда, когда, нацепляв на галифе прошлогодних репьев, пробрался к бане, с которой упала крыша, сама баня уже и не пахла дымом, дверь, похожая на лист копки, валялась в стороне, меж досок проткнулась нынешняя травка. Небольшой загончик картошек да грядки, с густо занявшей огородиной, от дома полотые, там заголенно чернела земля. И эти, словно бы потерянно, но все-таки свежо темнеющие грядки, гнилушки слани во дворе, растертые обувью, низенькая поленница дров под кухонным окном свидетельствовали о том, что в доме живут.

Враз отчего-то сделалось боязно, какая-то неведомая сила пригвоздила меня к месту, сжала горло, и, с трудом превозмогши себя, я двинулся в избу, но двинулся тоже боязливо, на цыпочках.

Дверь распахнута. В сенцах гудел заблудившийся шмель; пахло прелым деревом. Краски на двери и на крыльце почти не осталось. Лишь лоскутки ее светлели в завалах половиц и на косяках двери, и хотя шел я осторожно, будто пробегал лишку и теперь боялся потревожить про-

хладный покой в старом доме, щелястые половицы все равно шевелились и постанывали под сапогами. И чем далее я шел, тем глуше, темнее становилось впереди, прогнутей, дряхлее пол, проеденный мышами по углам, и все ощутимее пахло прелью дерева, заплесневелостью подполья.

Бабушка сидела на скамейке возле подслеповатого кухонного окна и сматывала нитки на клубок.

Я замер у двери.

Буря пролетела над землей! Смешались и перепутались миллионы человеческих судеб, исчезли и появились новые государства, фашизм, грозивший роду человеческому смертью, подход, а тут как висел настенный шкафчик из досок и на нем ситцевая занавеска в крапинку, так и висит; как стояли чугунки и синяя кружка на припечке, так они и стоят; как торчали за настенной дощечкой вилки, ложки, ножик, так они и торчат, только вилок и ложек мало, ножик с обломанным носком, и не пахло в кути квашонкой, коровьим пойлом, вареными картошками, а так все как было, даже бабушка на привычном месте, с привычным делом в руках.

— Што ж ты стоишь, батюшко, у порога? Подойди, подойди! Перекрещу я тебя, милово. У меня в ногу стрелило... Испужаюсь или обрадуюсь — и стрельнет...

И говорила бабушка привычное, привычным, обыденным голосом, ровно бы я, и в самом деле, отлучался в лес или на заимку к дедушке сбегал и вот возвратился, лишку подзадержавшись.

— Я думал, ты меня не узнаешь.

— Да как же не узнаю? Что ты, Бог с тобой!

Я оправил гимнастерку, хотел вытянуться и гаркнуть заранее придуманное: «Здравия желаю, товарищ генерал!»

Да какой уж тут генерал!

Бабушка сделала попытку встать, но ее шатнуло, и она ухватилась руками за стол. Клубок скатился с ее колен, и кошка не выскочила из-под скамьи на клубок. Кошки не было, оттого и по углам проедено.

— Остарела я, батюшко, совсем остарела... Ноги...

Я поднял клубок и начал сматывать нитку, медленно приближаясь к бабушке, не спуская с нее глаз.

Какие маленькие сделались у бабушки руки! Кожа на них желта и блестит, что луковая шелуха. Сквозь сработанную кожу видна каждая косточка. И синяки. Пласты синяков, будто слежавшиеся листья поздней осени. Тело,

мощное бабушкино тело уже не справлялось со своей работой, не хватало у него силы заглушить и растворить кровью ушибы, даже легкие. Щеки бабушки глубоко провалились. У всех у наших вот так будут в старости проваливаться лунками щеки. Все мы в бабушку, скуласты, все с круто выступающими костями.

— Што так смотришь? Хороша стала? — попыталась улыбнуться бабушка стершимися, впалыми губами.

Я бросил клубок и сгреб бабушку в беремя.

— Живой я остался, бабонька, живой!..

— Молилась, молилась за тебя, — торопливо шептала бабушка и по-птичьи тыкалась мне в грудь. Она целовала там, где сердце, и все повторяла: — Молилась, молилась...

— Потому я и выжил.

— А посылку, посылку-то получил ли?

Время утратило для бабушки свои определения. Границы его стерлись, и что случилось давно, ей казалось, было совсем недавно; из сегодняшнего же многое забывалось, покрывалось туманом тускнеющей памяти.

В сорок втором году, зимою, проходил я подготовку в запасном полку, перед самой отправкой на фронт. Кормили нас из рук вон плохо, табаку и совсем не давали. Я стрелял курить у тех солдат, что получали из дому посылки, и пришла такая пора, когда мне нужно было рассчитываться с товарищами.

После долгих колебаний я попросил в письме прислать мне табаку.

Задавленная нуждой Августа отправила в запасной полк мешочек самосада. В мешочке оказались еще горсть мелко нарезанных сухарей и стакан кедровых орехов. Этот гостинец — сухаришки и орехи — собственноручно зашила в мешочек бабушка.

— Дай-кось я погляжу на тебя.

Я послушно замер перед бабушкой. На дряхлой щеке ее осталась и не сходила вмятина от Красной Звезды — по грудь мне сделалась бабушка. Она оглаживала, ощупывала меня, в глазах ее стояла густою дремою память, и глядела бабушка куда-то сквозь меня и дальше.

— Большой-то ты какой стал, большо-ой!.. Вот бы мать-то покойница посмотрела да полюбовалась... — На этом месте бабушка, как всегда, дрогнула голосом и с вопросительной робостью глянула на меня — не сержусь ли? Не любил я раньше, когда она начинала про такое. Чутко уловила — не сержусь, и еще уловила и поняла, видать,

мальчишеская ершистость исчезла и отношение к добру у меня теперь совсем другое. Она заплакала не редкими, а сплошными старческими слабыми слезами, о чем-то сожалея и чему-то радуясь.

— Жизнь-то какая была! Не приведи Господи!.. А меня Бог не прибирает. Путаюсь под ногами. Да ведь в чужу могилку не заляжешь. Помру скоро, батюшко, помру.

Я хотел запротестовать, оспорить бабушку и шевельнулся уж было, но она как-то мудро и необидно погладила меня по голове — и не стало надобности говорить пустые, утешительные слова.

— Устала я, батюшко. Вся устала. Восемьдесят шестой годок... Работы сделала — иной артели впору. Тебя все ждала. Жданье крепит. Теперь пора. Теперь скоро помру. Ты уж, батюшко, приедь похоронить-то меня... Закрой мои глазоньки...

Бабушка ослабла и говорить ничего уже не могла, только целовала мои руки, мочила их слезами, и я не отбирал у нее рук.

Я тоже плакал молча и просветленно.

Вскорости бабушка умерла.

Мне прислали на Урал телеграмму с вызовом на похороны. Но меня не отпустили с производства. Начальник отдела кадров вагонного депо, где я работал, прочитавши телеграмму, сказал:

— Не положено. Мать или отца — другое дело, а бабушек, дедушек да кумовей...

Откуда знать он мог, что бабушка была для меня отцом и матерью — всем, что есть на этом свете дорогого для меня! Мне надо бы послать того начальника куда следует, бросить работу, продать последние штаны и сапоги, да поспешить на похороны бабушки, а я не сделал этого.

Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня. Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон.

И живет в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед бабушкой, я пытаюсь воскресить ее в памяти, выведать у людей подробности ее жизни. Да какие же интересные подробности могут быть в жизни старой, одинокой крестьянки?

Узнал вот, когда обезножела бабушка и не могла носить воду с Енисея, мыла картошки росой. Встанет до свету, высыплет ведро картошек на мокрую траву и катает

их, граблями, будто бы и исподину росой стирать пробовала, как житель сухой пустыни, копила она дождевую воду в старой кадке, в корыте и в тазах...

Вдруг совсем-совсем недавно, совсем нечаянно узнаю, что не только в Минусинск и Красноярск ездила бабушка, но и на моление в Киево-Печерскую лавру добиралась, отчего-то назвав святое место Карпатами.

Умерла тетушка Апраксинья Ильинична. В жаркую пору лежала она в бабушкином доме, половину которого заняла после ее похорон. Припахивать стала покойница, надо бы ладаном покурить в избе, а где его нынче возьмешь, ладан-то? Нынче словами везде и всюду кадят, да так густо, что порой свету белого не видать, истинной правды в чаду слов не различить.

Ан, нашелся и ладан-то! Тетка Дуня Федораниха — запасливая старуха, развела кадку на угольном совке, к ладану пихтовых веток добавила. Дымится, клубится маслянистый чад по избе, пахнет древностью, пахнет чужестранством, отшибает все дурные запахи — хочется нюхать давно забытый, нездешний запах.

— Где взяла-то? — спрашиваю у Федоранихи.

— А бабушка твоя, Катерина Петровна, царство ей небесное, когда на молитвы сходила в Карпаты, всех нас надела ладаном и гостинцами. С тех пор и берегу, маленько совсем осталось — на мою смерть осталось...

Мамочка родная! А я и не знал такой подробности в жизни бабушки, наверное, еще в старые годы добиралась она до Украины, благословясь, вернулась оттуда, да боялась рассказывать об этом в смутные времена, что как я разболтаю о молении бабушки, да из школы меня попрут, Кольчу-младшего из колхоза выпишут...

Хочу, еще хочу знать и слышать больше и больше о бабушке, да захлопнулась за нею дверь в некое царство, и стариков почти в селе не осталось. Пытаюсь поведать о бабушке людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали они ее и была бы жизнь моей бабушки беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта, — да от лукавого эта работа. Нет у меня таких слов, которые смогли бы передать всю мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею.

Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет. И никогда не будет.

И некому прощать...

КОНЧИНА

Умерла тетка Агафья. Сергеевская Агафья — так звали ее на селе. Жизнь прожила она длинную и трудную, как и многие овсянские бабы. Рано овдовела, пробовала «устроить жизнь», сходилась с Шимкой Вершковым, помогла ему вырастить ребятишек, но совладать с Шимкой, сделать из него путнего хозяина не смогла, и как-то постепенно, у всех на глазах, расплзлись они по своим избам и доживали век порознь. Шимка покинул овсянские пределы давно, и могила его успела потеряться, уже и парни его кончили дни свои: Володя утонул по пьянке в Енисее, Василий, мой ровесник, умер от болезни, Люба живет где-то в городе.

Последние годы тетка Агафья ходила, налегая на батоги, вытянувшись широкой, будто столешница, надсаженной спиной. Все ниже и ниже долило ее к земле, все дальше вперед выкидывала она струганный березовый батожок с неокоренным концом. Чистенькая, в белом платочке, повязанном под подбородком, на пробор, аккуратно зачесанная, вытянув голову, словно на плаву, не шла, а медленно тащила она себя по деревне.

«Здравствуй, тетка Агафья! Как здоровье?» — «Здравствуй, Витенька, здравствуй, батюшко, — приостановившись, с облегчением навалившись грудью на кулаки, сжавшие конец батога, отзовется она. — Како здоровье? Дотаскиваю вот век свой...»

Ни жалобы, ни стоны, ни упрека. Обыкновенный разговор, привычные слова, и все Витенька я для нее. С тех

самых пор, со смерти мамы — Витенька. Почти шесть десятков минуло, а я так и остался для нее и для других «низовских» баб маленьким мальчиком-сиротинкой. Сидят на скамейке шесть старушек, шесть штук, как они посмеиваются над собой (уже трое осталось), идешь мимо, издали уже смотрят, ждут, улыбаются. «Здравствуйте, невесты дорогие!» Они руками замашут, засмеются, у тетки Агафьи заалеет лицо, ямочки на щеках обозначатся. «И правда что невесты! Посиди с нами». Иногда посижу, но чаще мимо, мимо, все некогда, все черти куда-то гонят.

Тут, на скамейке, «невеста» и перегрелась на летнем солнце, помаялась всего неделю. «Кровоизлияние», — почтительно сообщили мне ее подружки-старушки.

Пришел я в дом к тетке Агафье, попрощаться. Меня пропустили, приветливо табуретку поставили и упятились на кухню. Перекрестился, сел, поклонившись. Шепот из кухни: «Чужой, а попрощаться пришел!» — «Да какой же чужой?! — чей-то шепот в ответ. — Мы все тут на нижнем конце свои. Она его любила, завсегда ему, маленькому, шанежку, пряничек ли сунет. И седого почитала. Завсегда, говорит, Витенька поздоровается».

«Вот до чего мы дожили! — в смятении думал я. — Уже и обычное человеческое приветствие за доблесть почитается...»

Лежит тетка Агафья еще без домовины на двух лавках. Прибранная, спокойная, выпрямленная, вот и спину ее наконец-то «отпустило», в черном вязаном платочке, белой тюлью прикрытая. Свечи обочь головы горят, в углу, под большой застекленной иконой, лампада светится.

Тихо, грустно, плакать хочется.

Я давно не бывал в избе тетки Агафьи, но ничего тут не изменилось. Горница и кухня — вот и все апартаменты, в которых отвековала тетка Агафья. Все свежепокрашено, выбелено, чистота кругом, бедный порядок и уют. На окнах неслышно осыпаются цветы. Зашла сестра Агафьи и каким-то наитием или еще чем отгадала мою мысль о цветах, сунула палец в один, другой горшок: «Ой, полить-то забыли...» — и быстренько собрала горшки, банки из-под консервов, в которых росли нехитрые деревенские цветы, унесла их на верандочку и вернулась, вытирая мокрые руки о фартук.

— Миленькая ты моя! — запричитала она. — Витенька пришел тебя попровеждать, попрощаться, скажи ему словечушко... — И тут же концом мокрого фартука стала

подтирать подоконник и рассказывать, что все Агафья «для себя» припасла, справу всю, тюль, тапочки, одежонку, покрывальце, денежек на книжке двести с лишним рублей, да еще под подушкой тридцать шесть: — На первую пору, на первый расход, пока в Дивно-то-горскую кассу съездишь да оформишь документы и по завещанию получишь на похороны... Вот и все богатство! Все тут, — обвела рукой сестра, — ломила, ломила...

— Она хорошую, чистую жизнь прожила. Жалеть чего. Всем бы так, — роняю я, чтоб успокоить сестру, но она закатывается в судорожных рыданиях, тянет скомканный фартук к лицу.

— Да уж для добра жила, с добром в сердце, с добром к людям. Кого только не обогрела, кого не обласкала... — И, отрешенно глядя в окно мокрыми глазами, жалуется: — А племяннички-то? Внушеньки-то! Гос-споди! К тому, к Тешке-то, приехали в город: «Лелька заболела». Дак ведь не спросил, как, чем заболела, может, помочь? Нет, он сразу пылить: «Лелька умерла, дак не раздумайте без меня избу продавать. Я, падла, так всех отпугаю, что родная тетя вас на том свете не опознает!» А этот, — махает она рукой за окно. — Миня-то! Утром ворвался, ни здравствуй, ни прощай... «Стопку мне чичас! Ребяткам на опохмелку по стопке. Ковды яму выкопал — шесть зеленых и закусь, как полагается». Шакал и шакал! Дали. Кому-то надо копать. Налили, поди-ко, глаза-то? Выкопают ли могилу?..

Кто такие Тешка и Минька — я уже не знаю, не помню, но раз наши, деревенские, я должен их помнить, по разумению сердобольной женщины.

Распоряжается всем ее муж, деловито стучит палкой с набалдашником, брякает протезом, усталый, потный инвалид со старыми, еще матерчатыми колодками на мятом, засаленном пиджаке. По всему видно, с раннего ранья он в ходу, в хлопотах, на лбу и на верхней губе у него выступил немощный пот.

— Ты бы хоть поел, да передохнул бы. Может, выпьешь маленько?

— Потом, потом. Значит, там за домовиной Толька поехал, венки заказали, продукты в Дивногорском бабы получают. Вот с транспортом как? Нужна грузовая машина, автобус. Маленький или большой автобус?

— Да уж какой в дозе (Овсянский деревообрабатывающий завод) дадут. Лучше бы большой. Что, как народ

соберется? — и снова всхлип и переход на причитание: — Ее люди любили...

— Ну, ну, погодьте причитать-то, потом зальетесь. Та-ак, чего-то я забыл? Ты не вспомнишь, чего я забыл?

— Да навроде все предусмотрели, заказали... А-а, оркестр!

— С оркестром морока. С оркестром трудно. Да и денег, пожалуй, не хватит.

— Соберем. С родни соберем, с соседей, продадим чего, может.

— Ага, ага, счас само время торг открывать.

Сошли на полголоса, о чем-то посоветовались, и вот самая храбрая из распорядителей, опять же Агафьиная сестра, потоптавшись на кухне, вступает в горницу и на правах старой уже моей знакомой виновато спрашивает: «Виктор Петрович, ты у нас человек большой, грамотный, подскажи ты нам насчет оркестра. Нам денег не жалко, ниче для нее, голубушки, не жалко, да ведь не осудили бы люди...»

Без назидания, терпеливо стараюсь втолковать захлопотанным, старым, горьким людям, что смерть, тем более смерть деревенской старухи, скромно, в трудах прожившей век, никакого куражу и шуму не требует. Не надо бы никакой суматохи и потехи. И вообще, худая это, куражливая мода хоронить деревенских крещеных стариков с оркестром. Сама тетка Агафья, провожая товарок в иные дали, пела за гробом молитвы, и мою тетку Апраксинью Ильиничну, свою соседку, провожая, читала и пела особенно проникновенно: «Братиям и сродникам нашим даруй спасение, прощение и жизнь вечную» — или что-то в этом роде, аж за сердце хватало...

— Слава Богу. Слава Богу! — крестятся с облегчением старые люди, инвалид устало оседает на скамейку:

— Мы уж, честно сказать, иззаботились. А молитвы читать и петь мы найдем, найдем... В верхнем конце села старик один еще много молитвов помнит. Он уважит...

Ну все, пора и честь знать! Обвожу прощальным взглядом небогатое убранство избы: старое зеркало, обтянутое черным, пошатнувшийся, грубо прихваченный гвоздем к стене, гардероб, на верх которого в спешке набросано какое-то барахло, бумаги, старая копилка с выбитым меловым задом, на желтом серванте белеет кружевная накладка, по ней вразброс: старая гребенка, чернеющий изломом цветной камешек, узкогорлая шутовина, похожая

на кувшинчик, в которую сунуто три давних бумажных цветка, хрустальная вазочка, в ней открытки: с Первым маем, с Октябрем и с Новым годом, здесь же, в вазочке, наперсток, катушки с обрывками ниток, иголки, пуговицы, головные заколки, ломаная новогодняя игрушка...

На стене забыто лепятся два портрета в плоских деревянных рамках послевоенного образца. В одной рамке двое: курносый мужичок, стриженный под раскольника, с небольшой черной бородкой, баба с грубым массивным лбом и тяжелым подбородком, меж которыми запало, потерялось все остальное — глаза, брови, губы, и только нос не дал себя погасить и спрятать, из ничего возникший на вымахе, непокорно вознесся он.

— Дядя Лукаша и тетка Акулина, царство им небесное! — крестятся на портрет женщины.

Я уже с напряжением вспоминаю, что были они самой близкой родней тетке Агафье: не то он — ее старший брат, не то она — старшая ее сестра. Сидят вон парой много лет на стене деревенской избы. Тетка Агафья поминала, чтילה их память, на святые праздники свечи ставила. Кто их теперь вспомнит?

— А это вот она сама.

В разошедшейся рамке, крупная, броско красивая, зрелая женщина. Даже мимоходная послевоенная перепечатка, скверная фотобумага, грубая рамка не смогли принизить и затушевать гордую осанку, прямой открытый взгляд женщины, ямочки на щеках, правда, исчезли, видно, несолидными, легкомысленными они показались фоторемесленникам, может, и не давался им такой тонкий штрих лица? Очень похожа на этом примитивном портрете тетка Агафья на любимую мою киноактрису Нину Русланову и на всех гордых русских женщин похожа, даже грубое платье или кофта — заношенный бедный обряд не унизили ее красоты, не погасили осанку славной женщины. Фотографировалась она на сплаве, с коллективом ударниц, когда мужика угнали на работу в Игарку и вернулся он оттуда расшибленный, цинготный. «С общей фотографии и увеличена покойница на портрет», — охотно пояснили мне.

Изба с нехитрым и необходимым имуществом, верандочка, на которой с визгом включался и разболтанно, что кинопередвижка тридцатых годов, стрекотал холодильник «Ока», начищенный самовар, посуда, ухват, сковороды, чутунки. Кладовка заполнена скарбом, банками с варень-

ем, лампами, давно вышедшими из обихода, фонарь без стекла, ссохшиеся пыльные обутки, бутылки с какой-то жидкостью, пересохшие пучки трав, рукавицы, топор, щипцы. Свежепокрашенное крыльцо заметно сгнило на торцах и обломалось; надворные постройки скособочились — уже давно нет на дворе ни мужика, ни скота, да и кошки не видно.

Но за обветшалыми постройками, за едва держащейся на жестянке дощатой калиткой, пестреет огород, старательно ухоженный, светлой водой окропленный сибирский огород, не раз урезанный и обсеченный. В нем поместилось все необходимое для жизни: картофель, свекла, репка, капуста, редька, бобы с горохом, по привычке ткнутые в бока гряд, да несколько брюковок. Даже цветочки есть — ноготки, астры, желтыши, настурции — для радости, для украшения посажены, может, и для похорон, чтоб не было лишних хлопот родственникам, чтоб зря капиталы не тратили. И неуклюже, тяп-ляп — не отставать же от моды! — махонькая теплица сооружена, крытая мутными клочьями полиэтилена. В тепличке долговзые помидоры мучаются, огурчишки по кольям ползут, в щели, наружу вылезть норовят. И подсолнухи, подсолнухи! Вот-вот они зацветут и осветят радостным светом этот клочок родной земли. Уже без хозяйки, без саженицы будут они цвести и свидетельствовать, что душа ее здесь, нетленна она до тех пор, пока есть этот, ею возделанный огород, ее родная деревня, эти горы, леса, великая река, водой из которой омыта она была в детском корытце, когда родилась, и этой же водой обмыта, когда снаряжали ее в далекий, вечный путь.

Какое же это редкое и великое, по нынешним временам, счастье — прожить почти девяносто лет на своей родной земле, в родной деревне, в своем родном углу, в сельском мире, с детства близком и бессловесно любимом. Прожить, пусть в тяжких трудах и заботах, не ведая разлук и тоски в чужеземье, не поддавшись соблазнам и отраве городской жизни, прожить с покоем и прибранностью в душе и кончить своей век с достоинством, уйти с тихой молитвой на устах туда, откуда ты явился гостем на сей свет с назначением творить в меру сил, тебе данных, добро и успокоиться с сознанием до конца исполненного долга.

ЗАБУБЕННАЯ ГОЛОВУШКА

Мой отец, снова исчезнувший с моего горизонта, объявился в краях совсем неожиданных, в Астрахани, на Каспийском море. Большой это загадкой было для меня: как сумел переместиться родитель с холодных заполярных земель, с тихих вод Енисея в бурные волжские стихии, аж из конца в конец страны!

Все оказалось просто, как просто и непостижимо доступно бывает лишь в судьбе человека, живущего в Стране Советов, полной сказочных чудес и превращений.

Папу переместили из дали в даль за казенный счет.

Когда было остановлено строительство мертвой дороги, часть трудового подконвойного контингента отсюда была перегнана на возведение волжского гиганта — Куйбышевской ГЭС. Народу там, по слухам, собралось аж полтора миллиона, но дело шло ни шатко ни валко. Когда лопнуло терпение у мудрой партии и не менее мудрого правительства, откомандировало оно туда правительственную комиссию дознаться, отчего это не только досрочно не заканчивается строительство очередного гиганта, но и в сроки не укладывается, хотя посылается туда самое идейное, самое целеустремленное руководство и рабочих не велено жалеть.

Папа мой редко вслух вспоминал про тюрьмы и лагерь, больше он про них пел и плакал. Но в какой-то исповедальный час он все же рассказал о том, как очутился на Каспии и какое там с ним вышло приключение.

— Комиссия меня вызывает. Захожу, руки по швам,

честь по чести, имя, отчество, фамилия, докладываю, что тяну срок по указу Сталина от одна тысяча девятьсот сорок восьмого года, статья такая-то пунхт такой-то, подпунхт десятый. За столом комиссия сидит, самоглавный комиссар в кожане, точь-в-точь как на портрете Шшэтинкина, героя сибирской войны. Прицелился он на меня, востро так поглядел и говорит: «Петр Павлович, сколько лет вы находитесь в заключении?» «Шесть лет, семь месяцев и четыре дни. Часов не подсчитал, часов у миня нету». «Та-ак, — произнес комиссар. — А сколько ж вы пролежали в больнице?» «Ровно четыре с половиной года», — снова отчеканил я. «Во-он! — заорал комиссар и стукнул кулаком по столу. — Во-он со стройки! Чтоб духу не было!..». И миня как миленького помели со стройки — иди куда хошь со справкой о досрочном освобождении. Ну, таких, как я, много помели. Братва загуляла, и я с ей загулял, да куйбышевской милиции велено было вылавливать нас и в Гурьев направлять — там наборный пункт Кас-рыб-килька-холод-флота. Миня, как рыбного спеца, сразу на судно назначили. Капитаном. Я двоих наших, куйбышевских, матросами прихватил и поплыл по морю. Миня весь Каспий знал, сам начальник пароходства Назаров...

— Но, папа, Назаров — это на Енисее...

— Все правильно, Назаров, Иван. Утопил половину флота в Енисее, статья семисят пята, пунхт «д», подпунхт «в» — десять лет с лишением права голоса.

— Но, папа, Назаров здравствует в Красноярске и еще книжки пишет.

— Книжки? Пишет? В натури? Я бы ему, курве, написал!.. — И папа, скрипнув зубами, сжал кулачишко, на картошину похожий, ткнул им в окно, грозя аж за Уральские горы. — Я ишшо и глаз ему выбью.

За что про что он выбьет глаз человеку, который его со своего высокого руководящего мостика и не видел никогда, папа и себе не мог бы объяснить.

Отдышавшись от войны на Урале, обретя какое-никакое жилье и двух ребятишек, с трудом и приключениями отыскал я моего единственного родителя и призвал к себе в гости.

Папа откликнулся жизнерадостной телеграммой и посулился скоро быть. Пришла еще телеграмма, длинная, непонятная, с номером поезда, какой через станцию Чусовскую и не ходил.

Пассажирских поездов здесь следовало тогда не так много, мы давай к каждому ходить всем семейством. Расставляю я детей и жену у одних ворот, сам встану у других, стою, жадно всматриваясь в шествие пассажиров. Нет папы! И день нету, и другой нету. На третий день я к поезду не пошел — работы много было. Утерялся родитель. Снова утерялся! Непокойно на душе, сплю и прислушиваюсь — папа ж человек пылкий, увлекающийся, мог нашу станцию и проехать, что как прибудет в неназванный час?

Так оно и получилось. В три часа ночи слышим стук-бряк в дверь сеней, говор, голос с хрипотцой, но до звонкости промытый. Я к дверям, жена меня за рубаху — на окраине на темной живем, почти в овраге, мало ли что.

— Да папа это, папа! — вырываюсь. Открываю дверь в сенки, спрашиваю, как обычно, кто там, а сердце колотится, бьется на последнем радостном взлете.

— А здесь ли проживает мой любимый сын Виктор Петрович Астафьев?

— Господи! Сколько лет, сколько зим!

Срывая кожу на пальцах, открываю крючок, а он никак не открывается, нашариваю какой-то предмет на полу, выбиваю крючок из скобки, дверь распахивается — на крыльце, освещенном тусклой лампочкой, стоит моложавый мужичок с усиками бабочкой, во всем моряцком, одетом пахнущий, фуражка с кокардой набекрень, белый шарфик вдоль бортов шинели.

— Папа!

Обнялись. Плачем. Сзади семейство толпится, череду ждет, жажда облобызать единственного оставшегося в живых из всей родни старика. А он и на старика-то не похож. Этакий добрый молодец, представившийся капитан-директором, хотя был всего лишь шкипером на барже, развозившей пресную воду по Каспийскому морю для рыбаков, затем морским дебаркадером ведал, но упорно и всегда на звании том высоком настаивал.

Отчего же не встретили родителя-то? Он, как всегда, самонадеянно полагал, что яйца курицу не учат, что грамотней его быть невозможно, что «масла» в его голове вполне достанет любой документ обмозговать и составить, даже в пределах всего Каскилькохолодрыбфлота не подкопаешься, а какую-то там плевую дорожную телеграмму написать — вовсе разговору нету. Прежде чем ее, ту телеграмму, отбить, папа поддал для вдохновения, вот и пе-

репутал все, что только можно перепутать. Число, номер поезда и вагон. Искал нас по городу с самого вечера, на окраину угодил, увидел дом, где окна светятся, гармошка звучит — крестины там шли — вошел, разговорился, зашелся, забыв, зачем и для чего он в этот город прибыл. Соседи же, сказав: «О вас ведь беспокоятся», с почтением, под ручки препроводили капитана-директора через ручеек, текущий по оврагу.

Не признавая своего дорожного поражения, папа убеждал нас:

— Железная дорога! Она, она, курва, напутала. Я чесь чесью телеграмму составил, хоть министру ее отбивай. Я ишшо ворочусь в Астрахань и глаз начальнику станции выбью...

Дивилось мое тихое семейство на новоявленное чудо. У няньки нашей, деревенской девки, рот как отворился, да так и не закрывался во все время пребывания моего родителя в нашем доме.

Стол был накрыт уж два дня, и, хотя шел четвертый час утра, мы сели, по стопарику подняли. Папа начал речь, но, дрогнув голосом, махнул рукой, пустил слезу и выпил за всех родных людей сразу, которых видел впервые и которых едва помнил по прошлой жизни. Сынок мой клевал носом, его скоро отправили спать. Дочка, бойкая в ту пору девочка, ластилась к гостю, к боку его прижималась, трогала светящиеся пуговицы на мундире и нарядные нашивки на рукаве, явно восхищалась таким редкостным дедом. Почувствовав родственную душу, папа звенел: «Ерина! Ерина!...».

Утром мне надо было передавать материалы на областное радио, где тогда я трудился, бумаги ждали на столе, голова трещала. Я отправился на покой. Скоро и жена пришла, легла рядом, вздохнула украдкой в темноте восторженно и печально: «О Господи!...».

...Подскочили мы разом от бурных звуков музыки, топота, выкриков: в горнице дочка моя, учившаяся в музыкальной школе, грохала на пианино, папа босиком отплясывал и кричал моей ошарашенной жене, поверженной в изумление няньке, испуганному сынишке: «Маня! Мила Маня! Секлета! Андрюша! Учитесь, пока я живой! Ах! Ах! Ах! Жарь, матр-росы! Пр-равь, мор-ряки! Нам никака волна не страшна! Ах, милка моя, шевелилка моя! Я к тебе при-ышол, тибя дома не наше-ол! Ах! Ах! Ах-ха-ха...».

Любил ли я этого человека? Наверно, любил. Больше-

то ведь некого было любить. Может, это и не любовь, а тот зов крови, о котором мы говорим мимоходом как о чем-то малозначащем, пустяковом. Нет, это не пустяк. Это болезненная привязанность, счастливую горечь которой ныне дано испытать уже далеко не всем. Когда я вижу, как девчушка или парнишка толкнутся возле грязной пивнушки, плача, вытягивают из канавы упившегося до бесчувствия отца, а он еще и куражится, ругает, толкает ребенка, это ж ведь то же самое, пусть и по другому поводу сказанное: мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю...

Ну ладно бы я, хоть и отщепенец, но все же живал с отцом, маленьким ласку от него отцовскую знал, пусть натерпелся и настрадался от него и вместе с ним, но братья мои, сестры, от мачехи рожденные, они-то, почти отца не видевшие, с ломаными-переломаными судьбами, они-то что ж по нему тосковали? И зывали ко мне, старшему брату: «Да привези ты его, привези! Охота папку увидеть...».

И я решился.

Должен заметить, слово «решился» вставил я в строку не случайно. Как и в прежние годы, папе было трудно управляться с собой, а мне и всем его знающим с ним. В Астрахани папа познакомился с Варварой Ивановной, она работала на дебаркадере матросом, папа ею командовал, руководил и доруководился. Снова папе в жены угодила женщина крупная, добрая, многотерпеливая. И что они, русские бабы, в маленьком, ветреном, больном мужичонке находили — загадка природы.

После первого посещения нашего дома папа бывал у нас, но нечасто. С обретением же пенсии и полной свободы от трудов он приезжал из Астрахани на все лето в деревушку Быковку, где я приобрел дом. Забравшись в деревушку, властями и Богом забытую, часто оставаясь в совсем его не угнетающем одиночестве, папа куролесил там так, что вся эта тихая деревушка, воспрянув ото сна и угасания, начинала жить шумной и даже раздольной жизнью. Здесь, в углу лесном, безмагазинном, почти безмужичном, находил он способы добытия выпивки, собутельников сыскивал, даже и ухажерок. Особое, можно сказать, душевное отношение к нему испытывала Паруня, здешняя одинокая баба с одним зрячим глазом, человек не просто добрый, но какой-то, я бы сказал, космической терпеливости и безбрежного добродушия. Она

опекала папу, таскала ему дрова, воду, ломила тяжелую работу, выпивала вместе с ним, когда папа не мог найти собеседника помоложе и поболтливей. Обитатели Быковки, да и мы всей семьей подсмеивались насчет этой дружбы, намеки прозрачные давали. Папа, жестикулируя перстами и двигая головой своей, аккуратно причесанной, возмущенно отбивался: «Да мне ее судом присуди — на дух не надо!..». Лукавил папа. Нужна была ему Паруня и как добровольный батрак, как выручка в бедах и сиделка во время его хворей. Союз этот был не обоюдолобовный, но крепкий.

Как-то приехал я в Быковку внезапно: двери в избе и окна настежь, занавески на ветру полощатся, ветер по чисто убранному помещению гуляет. Папа до самой смерти был во всем опрятен и чрезвычайно этим гордился. На столе сковородка с картошкой, хлеб, огурцы и недопитая поллитровка. Хозяина нету. Понял я, что папа, будучи под градусами, возжаждал общения и подался за речку Быковку к бабе Даше — «на беседу». К бабе Даше приехал младший сын, тоже большой выпивоха и страшный охотник, да и Паруня тут случилась. Охотники до того добеседовались, что папа не мог уже самостоятельно перейти речку по трем жердям, положенным вместо мостика. Паруня взвалила папу на загривок и понесла. И вот вижу я картину: схватившись за шею женщины, папа едет на ней верхом и кроет ее при этом из души-то в душу. Паруня, не реагируя, перенесла папу через речку и швырнула на траву к моим ногам: «Возьми своего тятю! Надоел он мне!..» И погреблась через бурьян по бывшим быковским полям и усадьбам ко своей избушке.

Пагуба эта, пьянство, много бед и несчастий семье принесшая, как-то легко, словно с гуся вода, сходила папе. Пьяненького, болтливого, порой и срамного на слово, его никто не бил, не гнал. Не раз мне подавали его на руки из вагона какие-то случайные спутники, сдружившиеся с ним за дорогу, даже и в родственные чувства впавшие, крутя головой, говорили давно мне знакомое: «Ну и забавный у вас папа!» — и я сердился, говорил про себя, но когда и вслух: «Вам бы такого забавного», чаще же просто махал рукою, не желая людям того зла, которое причинил жёнам, мне и всем детям своим мой забавный папа.

В Быковке папу баловали. Дети мои подросли, играть с дедом взялись: то кепку на брус полатей повесят, и папа, смешню подпрыгивая, достает ее и достать не может, то

предмет ему под задницу подsunут, когда он садится. Так ведь и он теми же шутками отвечает. Была у папы любимая певица Великанова. Пилат дрова дед с внуком, в избе радио гремит. Внук настораживает ухо и говорит: «Дед, Великанова поет». Папа снимает рукавицы, отряхивает опилки со штанов, заходит в избу, а по радио Штоколов орет на всю ивановскую про куму и про судака. Дед внуку пальчиком грозит: «Ну погоди, погоди, варначина! Я тя тоже на чем-нибудь прикуплю!».

Так вот и жили да были. Дед старился, здоровьем все больше слабел, заедая вино и похмелье лекарствами, любыми, какие есть в аптеке. Один раз даже обнаружили у него таблетки для укрепления коры головного мозга, и я вздохнул: чего укреплять-то? Я был не прав. Папа был умен, но умен «для себя», однопартийно как-то — вся жизнь его и потехи все служили ему только в ублажение, для удовлетворения прихотей и страстей его.

Мы всей семьей переехали с Урала в Вологду. Я купил избу в такой же, как и Быковка, убогой и угасающей деревеньке Сибле, потому что природа здесь, как и вокруг уральской деревушки, была замечательной. Папа мой начал удивлять и пробуждать полусонную Вологодчину. Снова давно, в прах, казалось бы, изношенные шутки и прибаутки: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам!» — открывали ему двери во все избы, и снова стих: «Гимназисток нам не надо, нужны дамы в вуали, па-а-ц-илуй прекрасной дамы, абъиснения в любви!» — ввергал женщин в трепет.

Здесь, в доброй, травой заросшей либо снегом заваленной деревушке Сибле, я много работал, часто и подолгу оставаясь вдвоем с папой. И наконец понял, почему некоторым бывшим зэкам удалось выжить в наших губительных лагерях и не к ним приспособиться, а приспособить их себе, обмануть самую надувательскую систему, даже самого Сталина надуть, построив Беломорканал досрочно, за два с половиной года вместо пяти, но и на два почти метра мельче против проектной мощности, что обнаружилось только в войну во время проводки черноморских подводных лодок в Балтийском море.

В Сибле на просторном моем участке я к старым тополям и березам посадил много всякого леса, в том числе и сибирские кедры. Тополя здесь росли серые, мужицки грубые, с корявыми ветвями, но по-мужицки же плодовые и приветливые. Птиц всегда на тополях бывало и пе-

вало множество. К стволу одного тополя я попросил ребят прибить скворечник. И его прибили самокованным крупным гвоздем с фигурной шляпкой. И в этот именно гвоздь, в эту шляпку угодила молния. Я, как это не единожды со мною бывало, некстати заработался, за окном гроыхает так, что изба качается, из трубы русской печи на шесток глина с сажей валится.

— Ты чё сидишь? Ты чё там пишешь? Ты погляди, чё деется! погляди! — вбежав в избу, всполошенно закричал папа.

Я спустился в сенки, открыл дверь — весь огород был в белой щепе, и расщепленный повдоль тополь, обронив ветви, словно в изорванной после драки рубахе, поверженно болтал на ветру мокрыми лоскутьями.

Папа почти все лето собирал по огороду щепу, складывал возле стены избы поленницу, иногда чего-то перерубая или ножовкой ширкая. При этом папа наряжался в мою старую охотничью телогрейку, изодранную до того, что она уж и в починку не годилась. Из-под телогрейки до колен свисала тоже моя изношенная, но когда-то фасонистая клетчатая рубаха. На голове старая кепчонка, на ногах истрескавшиеся калошишки — это чтобы всем было видно, как бедному-пребедному старику живет, да вот еще работой неволят, кусок хлеба добывать велят, выпить коснись, не допросишься. Чем жить? Зачем жить?

Отложив ручку, я наблюдал за работой папы в окно. Он все волочил и волочил одну долгую щепку, вертел ее так и сяк — она не ложилась в поленницу. Садился, курил, соображал, как ему управиться с этой клятой щепкой. К обеду управился-таки, распилил ее ножовкой. Шаркая калошами, поднялся папа в избу, хлопнул рукавицы на шесток:

— Н-ну, туды твою мать! Во дал! Во устряпался! Ране, бывало...

Вот такой мне наглядный пример был, как научились работать подневольные люди.

Меня еще после первого приезда папы из заключения с великой стройки Беломорканала имени товарища Сталина среди многих потрясло одно его сообщение. Схватившись за голову, он отчаянно кричал: «А-ааа-аб-ни-сен стеной высокай Александровский цынтрал». Ну, что такое «цынтрал», я уже знал к той поре — это ружье центрального боя. Но непонятно было — «нигде соринки не найдешь». Зачем соринки да еще в ружье? Но мне пояс-

нили: двор это, двор и... «подметалов штук по двадцать в каждой камаре найдешь». Двадцать подметал на один двор! Конечно, чисто будет.

Но вот на сегодняшний день и двадцати подметал мало, всюду по Руси грязь, сор. И в головах мусор. И все метут, но чаще призывают мести, а дело же ни с места. Хитрую, поучительную ленинско-сталинскую науку мы прошли — шаг вперед, два шага назад, шаг влево, шаг вправо и... ни с места!..

Самопожиранием это называется.

Папа от рождения был артистом и, пройдя такой массовый тюремный театр, вовсе уже перестал ощущать жизнь «в натуре», заигрывался даже порой до умопомрачения, и все ведь со смыслом, все, как ему казалось, кому-то потрафляя.

Собираюсь я в Сибирь на пятидесятилетие Игарки и говорю:

— Ну что, папа, передавать от тебя приветы Гале и Вовке?

— Какой Гале? Какому Вовке?

— Да твоим детям, дочери и сыну.

— Какие дети? Какая дочь? Какой сын? Ты насочиняешь!..

Гадкая черта, приобретенная в заключении: жить сей минутой, предавая всех и все. Папа забыл, но скорее делал вид, что забыл деревенские законы, среди которых главный — почтение к родным людям. Он почему-то решил, что предавая забвению детей, рожденных мачехой, угождает тем самым мне. Для него главное было в пьяном азарте сделать детей, а они уж пусть, как трава под забором, сами растут и сами опохмеляться соображают.

Вот оттого я не сразу решился откликнуться на призыв братьев привезти к ним дорогого папу.

Из Красноярска я должен был по командировке журнала ехать на юг края, папе ж надо было двигаться в северную сторону. Собрал я его в дорогу, купил родичам подарки, дал денег на жительство и на обратную дорогу, просил, молил не пить в пути, вести себя пристойно в Ярцеве — брат мой, его сын Коля, болен, живет скудно.

— Пожалуйста, папа, не осложняй и без того нелегкую жизнь человека!

— Да чё я, маленький чё ли? Чё я, не понимаю?

Все понимал папа. Все, что ему надо, прекрасно помнил и знал. Угораздило меня погрузить папу на теплоход

«Композитор Калининков». На «Калинникове» том главным механиком работал еще один наш Колька, покойного дяди Васи сын — «в натури» по папиной родове уродился гуляка, форсун удалой. Только отвалил теплоход от пристани, от причала, только отзвучал прощальный марш, как из судовой радиорубки раздался призыв:

— Главный механик Астафьев Николай Васильевич, вас просит зайти в каюту номер такую-то ваш близкий родственник!

Механик, как я уже заметил, нашенской породы, на подъем и на ногу скорый, стриганул на зов, широко открыл каюту и, заранее дрожа голосом от закипающих слез, возгласил:

— Да уж не дядя ли Петя?!

Схватились дядя с племянником, обнялись крепко-накрепко, грудь друг другу слезьми омочили, тут же сдали билет — еще не хватало такому большому начальнику таких дорогих родственников за деньги возить! Это пусть писатель наш по билету ездит, коль у него денег много. Племянник пересадил дядю в свою каюту, и загуляли ж они, запели, заплясали! В Ярцеве чуть тепленького передали сыновьям, невестке и внукам дорогого гостя. Колька-механик еще и в рупор с капитанского мостика кричал: «Дядю не обижать, хорошо его питать, опохмелять! И вопше!...».

Удивил папа и Ярцево, большое село, — покуролесил вдосталь, денежки все прокутил, подарки отчего-то не вручил, потерял или пропил, — кто знает, обманул сына, сказав, что на обратную дорогу «тот деляга» — это, значит, я — денег не дал. «Откуль ему набраться на всех на нас денег-то, ты уж давай под займи или как». Тогда же, вдруг вспомнив про дочь Галю, собрался было двинуть в любимое Заполярье, в Игарку, но уже от долгого оглушительного пьянства заалел папа, обострился его вечный спутник — псориаз.

Кое-как, с трудом, с канителью отправили его из Ярцева домой. Долго потом мой брат крутил головой: «Забавный у нас папа!».

Прибыв домой, отец надолго завалился в привычную больницу. Я подумал: раз папа проявил такую решительность и пожелал увидеть родную дочь свою, попрошу-ка я Галю заехать в Вологду. Свезил ее в Сиблу, где папа жалостно произнес:

— На баушку на мою, на твою прабабушку Анну походит Галька-то. Помету-то нашего. Белинькая!

Папа часто нам писал из Астрахани старательные письма, подробно повествуя, как и чем он болен, сколько месяцев пробыл в больнице, как плохо стало с рыбой на Каспии, начальство совсем заворовалось, утопило три судна, одно прямо у причала, на Балде — так зовется протока, — и ничего ему, начальству-то, не привлекают ни по какой статье, а его вот ни за что ни про что упрятали «за суровую железную решетку».

Всем дружным семейством поплыли мы от Перми до Астрахани на теплоходе.

Жил папа с Варварой Ивановной в одноглазой глиняной пристройке, прилепленной ко множеству каких-то пристроек и строений во дворе. Каютой звал свое обиталище папа, в нее входили кровать, стол да плита об одну дырку. Эта квартира с окошком во двор, видом, но не просторами напоминающая сибирскую стайку для скота, принадлежала хозяйке, папа здесь был примак, но чувствовал себя царем.

Ночевали мы в квартире богатеньких евреев, живших здесь же, но не во дворе, а выше, над двором, в доме с террасой. Хозяин квартиры, Яша, работал зуботехником, Роза, хозяйка, вела дом, дочь училась в музыкальной школе, собиралась в консерваторию и хорошо играла на рояле. Папа водил с этим тихим семейством дружбу.

С рыбой уже в ту пору было в Астрахани плохо. Варвара Ивановна, коренная астраханка и морячка, где-то все же покупала рыбку, говорила, на причалах, и потчевала нас. Скудное и тесное жилье, папа, загулявший в честь нашего приезда и начавший, как всегда, куролесить, сократили наше времяпрепровождение в Астрахани. Через несколько дней мы отбыли обратно и в каждом ответном письме просили папу не хлопотать, не беспокоиться насчет рыбы, ее в ту пору в Вологде было больше, чем в Астрахани, да и сам я добычливо рыбачил. И хотя каждое письмо папы заканчивалось, как доклад Иванушки из «Конька-Горбунка»: «В общем, все благополучно», мы не очень этому верили, просили папу не пить, пожалеть свое здоровье и Варвару Ивановну, однако нет-нет и получали вопль из Астрахани: «Заберите, ради Бога, своего отца. Больше не могу!...».

Однажды Варвара Ивановна в глиняной каморке своей гладила белье, упала, уронив утюг на живот, и умерла. Сломалась еще одна русская многострадальная женщина. Надо было забирать папу к себе. Он после длительных и обильных поминок залег в кожный диспансер. Я подал ему телеграмму, чтобы он выписывался из больницы и собирался в дорогу. Папа сей же момент метнулся с телеграммой к главврачу, уже хорошо его знавшему, тот отпустил его с Богом, и папа, вернувшись в свою «каюту», тут же и загулял.

Явился я в узкий, без единого куста, без единой травинки двор, среди которого плескалась грязная лужа и за нею мерцала одним глазом папина «фатера», на которую имела виды и наконец дождалась своего угла племянница Варвары Ивановны. В благодарность она, видать, поставила папе выпивку иль деньжонок дала. Вылетел папа мне навстречу в одной майке, по телу его незалечимые, на пятна от банок похожие алые кругляши. Папа с объятиями, со слезами, с расспросами о здоровье внучат, жены, друзей, а сверху доносится:

— Возьмите-таки этого старого хулигана! Увезите подальше от нас!

Папа кулачишком грозит, кроет сверху живущих, был, говорит, там один честный человек, Яша, да еще Роза с дочерью, но и те за море уплыли, поскольку дочь кончила бесплатную консерваторию и теперь могла выгодно реализовать свои таланты. Сердится папа на астраханских евреев давно и непрощающе, хотя раньше водился с ними, лечился у них, сиживал в одной камере и рассказывал из тюремной совместной жизни много развеселых историй.

И рассердился-то из-за сущего пустяка.

Мне очень сложно с моим почерком и быстрописью подобрать перо для работы. И вот кто-то на день рождения подарил мне дорогую по тем временам китайскую ручку с золотым перышком. В руку пала ручка, сама писала, но от многоупотребления сносился наборный механизм, серенький корпус потрескался, лишь перо работало все так же мягко, неизносимо, и, перемотав ручку изоляционной лентой, я макал ее в пузырек, измазывался чернилами, как школьник. «Давай ручку-то в Астрахань увезу,— сказал папа, собираясь из Быковки на Каспий,— у меня полно знакомых мастеров-евреев, сделают все чesь чesью». В середине зимы из Астрахани вернулась ко мне ручка совершенно растерзанная, и вместо золотого пе-

рышка торчало в ней старое ученическое перо с обломанной шишечкой. Должно быть, папа привычно хвастался, что сын у него писатель, что ручку надо сделать первым сортом, что за ценой он не постоит, и даже не открыл коробочку после ремонта. Какая поганая, какая мелкая насмешка над непутевым стариком!

Едва утащил я со двора разгневанного родителя, прося извинения за его «нескромное поведение», — наша это домашняя поговорка такая, доставшаяся от папы и до сих пор бытующая в семье. Куролесит, куролесит папа, приходит пора ему уезжать, расцелуется со всеми, постоит, помнется у порога и молвит, пуская слезу: «Маня, Витя, Ерина, Андрюша, Толя, Секлета! Простите меня за мое нескромное поведение...». И нас в слезу вобьет. «Да чего уж там, поезжай с Богом, ждем будущим летом».

В Астрахани, где зима короткая, в теплом климате, в солнечной стороне, у папы было лучше со здоровьем. Но года и вино брали свое, псориаз все чаще и чаще валил его на больничную койку.

Утащил я, значит, папу со двора в глиняную клетушку, там у него гость, квадратный мужик с квадратным лицом, с руками квадратными, с носом квадратным, со лбом квадратным, под названием Евланя, Евлампий, значит. Сидит Евланя, заняв пол-фатеры, перед ним на столе несколько бутылок, и все недопитые. Кусок раскрошенного хлеба, сморщенный помидор, селедка, от которой остались одна голова да молоки, по клеенке размазанные. В клетушке духотища, мухи, постель смята, пол грязный. На оконце, вмазанном в глину, сваяла, осыпала листья герань, и похожие на окурки стерженьки ее высохли. Придя из больницы, папа не прибрался, некогда было. «Чего это ты совсем распустился!» — хотел я прикрикнуть на родителя, но всякие слова были тут бесполезны. Папа налил мне, себе и Евлане в стаканы, провозгласил тост в честь прибытия дорогого сына и вдруг взъелся ни с того ни с сего на своего «лучшего друга», как он представил Евланю мне. Сжав бойцовские губы и кулачишко, папа замахивался, целя Евлане в глаз, и сквозь стиснутый рот грозился:

— Я те счас как забубеню, так ты и якорь бросишь!..

Евланя, жизнь свою промантуливший грузчиком в астраханском порту, испуганно загораживался ручищами и с почти натуральной жалостью умолял:

— Ой, Петка, не надо! Не надо, дорогой! Зашибешь, тебе-то чё, а у меня дети, внучата, жана...

Евлаша вышел на пенсию, гулял, развлекался, озорывал себе в удовольствие. Все это папа называл точно и емко — «тиятр», хотя никогда он в театре не бывал, но по любому поводу: о ссоре семейной, о потасовке на барже или на пристани, даже о том, как учаливается судно под названием «Урал» к сылвенским берегам, — качал головой, уютно посмеиваясь, говорил: «Ну тиятр!». В Быковке, счастливо избегнув укусов растревоженных соседских пчел на пути к колодцу, папа кричал мне, глядя на народ, в панике мечущийся по улице: «Ты погляди, погляди, какой там тиятр!» — и тут же, замахав руками над головой, бросался в избу, думая, что его преследует пчела. Комары папу не ели — из-за мазей на теле, он уверял: из-за проспиритованности организма; пчелы же, наоборот, люто его преследовали.

В Вологде мы раза два или три брали папу в театр, в том числе и на премьеру спектакля по моей пьесе. Папа к любому выходу на люди готовился тщательно: надевал выходной костюм и новую рубаху. Выбор рубах у него был такой, какого он прежде не знал: отходила мода на нейлон, и все мои дети и друзья дарили папе блестящие рубахи на день рождения. «Ну как?» — спрашивали мы папу после спектакля. «Ничего, — помедлив, отвечал папа, — помещение хорошо, артисты молоды, артиски красивы...». В подтексте, в скепсисе, глубоко упрятом, папа давал понять: он и учалить теплоход, и пилу развести, и сыграть в театре, и сочинить мог бы получше, да зачем же у людей кусок хлеба отбирать... Папа до самой смерти был в совершенной уверенности, что по охоте, по обработке рыбы, также и по грамоте мало ему равных людей на свете, потому как ходил он когда-то в первых грамотеях села Овсянка и уверенность эту, также удовольствие от своего превосходства над остальным людом не хотел утрачивать.

Псориаз — кожный лишай — съедал папу заживо. Ему нельзя было жить в Заполярье, есть что попало и когда попало, нервничать и пить водку, тем более какое-либо подкрашенное зелье. Но он втянулся в свою жизнь, ненавидя ее, проклиная, голосом раненого кричал по утрам, не в силах разогнуть суставы — кожа трескалась в локтях, под коленями, под лопатками и в паху, белье присыхало к сплошь пораженному телу, из-под серых пластущин выдавливалась темная нездоровая кровь: «За-астрелю-у-сь, к е...й матери!».

Но был он непобедимый жизнелюб; измазав пяток банок вазелина на кожу, отмякал, отходил, не пил какое-то время — болезнь, струпьями сходя с кожи, отступала, и он забывал о недавно перенесенных страданиях. Папа снова начинал глядеть вдаль, за реку, и придумывать, как ему смыться из дому, чего еще продать, променять на выпивку. Желания и страсти всегда были выше его воли, беспокойность, егозливость характера губили его жизнь. И кабы только его!

К слову сказать, папа был уверен, что болезнь он добыл в юности, когда помогал деду Якову на мельнице, постигая хитрое и сложное дело мельника. Еще в молодости, размачивая новопомольную муку, начал он попивать с помольщиками, как это делалось на всех российских мельницах, прогоняя колесо. В рот не берущий зелья дед Яков лупил внука нещадно за губительную привычку, загоняя его в холодную воду — «ковать колесо». «Там, там, на родной меленке, набродил я эту кожу», — заверял папа. Но я встречал людей, страдающих этой неотвязной болезнью, точнее ее назвать наказанием Господним, которые мельницу и в глаза не видели и в холодной воде не бродили. За излечение жуткой болезни под названием нездешним, чужим в каком-то заморском городе, вроде бы Стокгольме, сообщил папа, лежит миллион награды, один американский богатеи всю жизнь маялся кожей и перед смертью сказал: «Кто эту болезнь излечит — тому и отдайте миллион». До сего дня, заверял папа, премия не востребована.

И вот забыто губительное Заполярье, разбросаны дети по свету, не отлетела еще душа, не выветрился еще дух хозяйки из жалкого человеческого прибежища, по габаритам точно именуемого каютой, а папа уже представляет с забудыгой дружкой «тиятр». Уяснив, что игра эта, незатейливый пьяненький кураж закончатся не скоро, я сказал отцу, чтоб кончал пить, собирался бы в дорогу, и подался устраиваться в гостиницу. «А чё те здесь-то не живется? Фатера в полном нашем распоряжении...».

С уличного автомата я позвонил давнему моему знакомому, ныне уже покойному писателю Юрию Селенскому, тот связался с местным Союзом писателей, и меня пообещали устроить, если я выступаю в каком-то техникуме вместе с хорошим поэтом и славным мужиком Михаилом Лукониным, прибывшим на открытие памятника

своему отцу, боровшемуся в Нижнем Поволжье за советскую власть и еще за что-то.

Юра предложил нам сходить в ресторан «Поплавок» и отведать настоящей ухи из осетровой головы. Попали мы в довольно замызганную, к бетонному берегу прислоненную, в натуральном говне плавающую забегаловку, громко, как и все наши кормильно-поильные дыры, именуемую рестораном, и с удовольствием узнали, что уха из осетрины здесь в самом деле производится. Сидим, ждем, напряженные, не до конца верящие, что в наши дни среди такой вот воды еще можно поймать осетра и предложить из него уху своим соотечественникам. Луконин по случаю торжеств в буржуйский костюм кремового цвета нарядился. Юра при галстукке, я разодед в только что приобретенный женою не где-нибудь, а в самой Вологде французский костюм цвета привядшего сена, в белую рубаху, в новые носки, туфли. Был я тогда еще при фигуре, в годах нестарых, сижу, сам собою и астраханскими женщинами люблюсь, ногой, обтянутой узкой туфлей, подрагиваю, новости столичные слушаю, поскольку Луконин был писательским начальником, то новостей знал много, и были они одна другой занимательней, не то что ныне — быть, не быть Союзу писателей? жить, не жить на свете русским писателям? Уезжать, не уезжать всем за границу на прокорм? Да ведь не возьмут всех-то, стары больно, и писать умеем только по соцреализму, будто по портняжному лекалу выкройки делаая. Но зачем, скажите на милость, соцреализм и соцреалисты нужны буржуйам? У них своих дармоедов девать некуда и всяких реализмов допдна, реалисты там попронырливей наших, и литфонда, который можно всю жизнь доить, как казенную корову, тоже нету.

Неуклюже ступающая, изрядно поддтая баба в ржаво-оплесканной куртке, которая еще в первой пятилетке была белой, разносила уху в щедро наполненных тарелках, из которых торчали аппетитные осетровые хрящи. Принесла Луконину — ничего. Юре принесла — тоже ничего. Но как пошла ко мне, тревожно мне сделалось: совсем развезло бабу, едва ковыляет, вцепившись в тарелку, погрузив оба больших пальца в горячее варево. Нарывают, видно, пальцы-то, врачи велели их в теплом держать. «Ой, кабы не облила она меня!» — подумал я, и только так подумал, баба хлесь мне уху на брюки, на французские-то. Угодила точь-в-точь ниже живота... Я вскочил, пету-

хом закукарекал, брюки горячие оттягиваю, чтобы спасти что еще от войны осталось, а баба мне: «Расселся тута, как хер на именинах!..».

Идем в гостиницу, уху не похлебавши. Молчим, потрясенные достижениями советского сервиса, я газетой «Правдой» ошпаренный перед прикрыл, ребята даже и не острят. Перед-то ладно, может, еще и заживет до свадьбы до серебряной, но вот как без штанов жить и папу домой везти?

По большому благу, активно и широко развитому в городе Астрахани, велеречивый Юра Селенский и неотразимо обаятельный поэт Луконин устроили мои штаны в сверхсрочную чистку за сверхвознаграждение. Луконин жил в люксе, там у него затеивался прием в честь героического отца. Весь вечер вместе с многочисленными гостями просидел я при галстуке, во французском пиджаке, прикрывшись бархатной скатертью с кистями. Меня норовили вытащить на танцы, я говорил, что танцевать не умею, что было сущей правдой, и вообще как мог отбивался от дружных гулеванов. С горя и досады хорошо наклюкавшись, печалился я о прошлом, о героической жизни нашего семейства, зимогорившего, где и медведи бурые уже не живут, потому как не всякий даже самый лохматый зверь там выдерживает...

Например, между исчезнувшими ныне станками Карасино и Полой в дровозаготовительном бараке, строенном на скорую руку и на большую артель. Папа время от времени выезжал из барака то на охоту, то за боеприпасами, то за вазелином, необходимым ему ежедневно, бросив в тайге на произвол судьбы молодую жену на сносях с двумя детьми, из которых я, старший, добывал удочкой рыбу и кормил мачеху и Кольку до тех пор, пока кормилец и глава семейства не вспоминал наконец о нас.

До дровозаготовительного пункта — темного и сырого барака, рубленного на одну зиму, потому как полусухой тонкомерный лес здесь будет подчистую выпластан на пароходные дрова и другой зимой заготовки пойдут в другом месте, — жили мы в станке Карасино, где папа начальствовал на засольном рыбном пункте. После длительной разлуки да и от хорошей возбудительной пищи мигом он сотворил новое брюхо потерявшей бдительность мачехе. Всего же он пятерых детей произвел на свет, не считая меня, шестого. Слава Богу, ни одному из нас не передалась страшная папина болезнь — псориаз, но вот

тоже неизлечимый недуг, или тяжкий российский порок, — алкогольное замыкание прошло через голову. Одного брата уже смыло хмельной волной и унесло в могилу, младшая, самая красивая и боевая дочь папы, изображая из себя альпинистку, упала с приенисейских скал; Коля умер от рака. Осталось нас на свете трое: Галя, Володя и я. Иногда младшие советуются со старшим, слушаются его, иногда — нет, живем-то далеко друг от друга и жизнью разной.

Колька после лютой игарской зимы и голодухи в Карасине обывался, качал неуклюжую деревянную кровать на дугах так, что она на волне бьющимся кораблем валилась с борта на борт, порой малец вываливался из нее, бился головой об пол, орал на весь станок. Не раз мне за него попадало, поскольку, вернувшись под родительский кров, я снова был определен на старую должность — в няньки — и одновременно на новую, более ответственную — в сторожа при рыбоделе.

А мне хотелось бродить по лесам, удить и стрелять. Когда не очень донимали комары, я брал за руки восстановленного почти из мертвых братана, вел его на Енисей, забрасывал удочки. Колька пулял в воду камни, пускал щепочки и добытую мной рыбу, восторженно заливаясь, хлопая в ладоши, радовался, если, отдышавшись, рыба уплывала восвояси. В моей рыбе никто не нуждался, поскольку в папином распоряжении был рыбодел, полный стерляди, осетра, нельмы, муксуна, чира. Случалось, папа сдавал по пять-шесть бочек икры, тоннами соленую и живую рыбу. Пил рыбный начальник напропалую и в конце концов согнан был с кормного места, из начальников угодил на самую захудалую должность дровяного караульщика и на совсем-совсем нищенскую зарплату.

Еще когда мы жили в Карасине, я развлекался с малым братиком на берегу, пел на всю речку «с подтрясом», как артист, заверял папа, учил Кольку бодрым песням той поры, также и матершинным частушкам, которые он усваивал лучше, чем патриотические песни, — удался и этот малый в нашу залихватскую породу.

Петь-то я, значит, пел, но и природу наблюдал.

...Часу во втором мертвенно бледной заполярной ночи от острова Тальничного через Енисей тянул одинокий, молчаливый гусь и садился на нашем берегу по-за станком Карасино. Я выследил, куда он садился, встрепенулась во мне охотничья душа, стал я кланчить у отца ружье и патроны. «Ты знаш, что тако добыть гуся? Да ишшо

летошного, гнездового? Надо масло здесь иметь! — звонко постучал себя по голове папа. — И стрелять, как я стреляю! Р-раз! — и ваша не пляшет!» — отец покуражился, поораторствовал, и, безнадежно махнув рукой, разрешил взять ружье, но наказывал припас беречь, патронов много не жечь.

И вот, уторкав Кольку в старой лодке, вытащенной на берег, сижу я в кусту тальника, сросшегося с ольхою, жду заречного гуся. Давно жду. Тишь накрыла округу. Комары меня едят, как им хочется. Енисей перестал блестеть под солнцем, как бы в тень отодвинувшись, солнце, зависшее по-за островами, сморилось, никуда больше не катится, маревом его окутало. Убавляясь в ярости и размере, светило задремало, серым гусиным пухом окутавшись. Стоп! Пух есть, солнце, пусть и сонное, есть, но где же гусь-то? Не продремал ли я его? Только так я подумал и увидел в небе сером точку. Она возникла там, в истаявшем, но все еще прозрачном крае неба, вылетела из-за острова, из-за солнечного кругляша и, пошарившись в нем, словно малая пчелка в подсолнушке, молча и величаво потянула над рекой.

Чувствовалось, что енисейские просторы гусю родны, подвластны, что зовут они его, радуют и томят прохладными ночными далями. Из комарика, пчелки, малой серой птахи превращаясь в размашистую, как бы из тлена прошедшего дня народившуюся птицу, шел гусь все так же спокойно, все так же величаво, сваливаясь к карасинскому берегу. Коротким гармонным перебором поприветствовал гусь наш берег, может, предупредил кого, сторожко огибая куст, в котором я сидел, может, себя взбодрил, и полетел над прибрежной полосой так близко, что я увидел прижатые к светлomu животу рябиново-алые лапы, даже заметил, что одну лапу вроде бы как отогнуло ветром на сторону. Широко размахнутые, остро изогнутые крылья с нарядным окаймлением из зубчатого пера, походившим на девичье кружево, пронесли надо мной птицу, и вроде бы опахнуло мое лицо воздухом, вроде бы даже просвистело над моей головой что-то.

В утихом мире сделалось совсем тихо, когда, бесшумно паря над водой, птица пошла на снижение, на посадку, и гусь, легко тормознув крыльями, опустился на мысок в устье небольшой безымянной речки. Отшумев в половодье, речка эта заснула среди кустов, заилилась, густо заросла травой, превратилась в стоялые лужи. Там в надежном

крепе водяного сора, в непролазной шараге росла, набиралась сил, обзаводилась чешуей, колючками мелкая рыбешка, утята ныряли, кулички плясали, и всякая водяная и лесная тварь, нуждающаяся в изобильной пище, в надежной ухоронке, чувствовала себя здесь как дома. Когда речка кипела и угорело неслась в Енисей, намыла она в устье своем бугор. Енисей встречными волнами нахлестывал сюда песка, ила, камней и запечатал речкин ход, остановил ее. В этом-то бугорке, в высохшем песчаном русле рылся гусь, выбирая чутким расплюснутым клювом всякое добро, за тем и летал сюда каждую ночь.

Прежде чем начать кормиться, гусь, вытянув шею, постоял недвижно, вслушиваясь в ночь, повертел головой, оглядел прибрежные кусты, реку: не плывет ли в тени бесшумная лодка с охотником, не притаился ли в утении кустов песчишка линялый либо другой какой коварный зверь? Переступив на месте, как бы разминая лапы, коротко, успокоенно гагакнув: «Добро-добро», гусь пошел вверх по руслу, кланяясь, шевеля наносный сохлый ил.

Подбираться к птице было далеконоько. Сбросив башмаки, чтобы не стучали, пригнувшись, побежал под берегом, меж летошных побегов тальника, ольхи и смородинника. Как и всякий с детства избегавшийся парнишка, был я скор на ногу, легок телом от не особо обременительного харча, но гусь все равно что-то почуял, взнял голову от водомоины, насторожился, и тогда я решил ползти. Берег реки, как и всюду в Заполярье, был лестницею. Ближе к подмытому обрыву и лесу, уроненному водой, ступени узкие, с крутым взъемом, затем лесенки ниже, травянистей, в камешнике, где сиренево цветет береговой лук, пиканник, кровохлебка, шире, шире ступени, ниже и ниже уступ, нет уже ни бурых камней, ни кустов, ни даже луку дикого, одни хвощи да редкие травинки.

Отступая после весеннего половодья, вливаясь в меженное русло, Енисей оплодотворял природу, стелил по берегам намытую бурной водой почву, разносил по ней семя и успокаивался чистой, промытой полосой песочка, словно в горнице, застеленной желтыми половиками, млея, нежился, пошевеливался, потягивался, вздыхал, дымкой светлого песка шелестя, катался туда и обратно, вымывал мелкую разноцветную гальку; прибрежная кормная полоса кипела сплошною тучкою пугливых мальков, которые пригоршнями взлетали над водой, чего-то испугавшись, возле берега мелководье искрило, светилось, расходилось круж-

ками, и шептало, умиротворенно шептало отштормившее, бородастое, морщинистое лицо Енисея, будто он, батенька, никого и не губил никогда, только жаловал да привлекал.

Я решил ползти под укрытием средней ступени, не самой высокой, но все же способной укрыть человека, если он постарается ползти, совсем ужавшись в землю, почти сделавшись землею. Над ступенькой этой густо росли хвощи, цветом схожие с моими волосами, хитро все я продумал, даже кепку снял, чтобы гусь, глядя на мои волосы, верил, что это никакая не голова человечья, а хвощи пошевеливаются от легкого дуновения с реки. Комары грозovým облаком ворочались, клубились надо мною, ели меня дружно, безнаказанно, потому как я даже и отмахнуться от них не мог. Чем далее в ночь, в безветрии, в волглый морок, тем более налетало этой заразы, но мне было уже не до комаров, не до боли и крови своей, от которой липла рубашка к спине и шее. Не встревожился бы гусь от пирующего комара. Марал вон, зверина, лишь чуть-ем и бегом спасающийся, замечает и загустевшего над человеком комара.

Я приближался к гусю.

Он вальяжно, враскачку вышел из водомоины, щипал желтенько цветущую узорчатую травку, зовущуюся гусятником, которой сочно заросли бугристые полянки понад высохшей речкой. Гусь кормился, но бдительности не терял, все время вскидывал голову, смотрел, слушал, и смотрел-то все в одну и ту же сторону, в мою! Стало быть, не надо и вовсе головы поднимать, пугать птицу алчным человечьим взглядом. Улетит гусь — значит, жить ему, не улетит — на верный уж выстрел подлезу, и тогда, как молвит мой папа, «ваша не пляшет».

Подлез!

Приподнял голову, раздвинул носом хвощи — вот он, голубчик, вот он, красавец ненаглядный, стоит, смотрит, глаз круглый видно, в глазу ядрышко золотое сверкает, значит, солнце просыпается, из пуху из гусяного-то распеленывается. С солнцем гусь кормиться перестанет, улетит. Но еще будут туманы наутренние. Если туман поползет густой, островной гость тоже не останется на нашем берегу, подастся к себе домой. Возьми его там, достань. Хитер, зараза!

Я разговариваю сам с собой, пережидая, когда уймется мое сердце. Мне кажется, птице слышно даже, как оно

бухает. Но нет, не слышит, не чувствует меня гусь, опустил голову, стрижет вкусную травку, аж слышно, как причмокивает от сладости и удовольствия зеленую сочащимся клювом: га-гак, га-гак.

Не тревожа и песчинки, без шороха просовываю ружье в хвосты. Чтоб не щелкнуло, курок я давно уже взвел, вытер глаз, которым целить, от пота о плечо, долго-долго, напряженно целюсь в бок гуся, чтобы не промахнуться, чтоб уж наверняка, в крылатый, не одним, а двумя иль тремя резными кружевцами украшенный бок, да еще и сине-зелеными перышками подкрашенный.

«Ну, Господи, благослови!» — облизав губы, соленые от пота и крови, молвил я и дакнул на собачку, так опять же папа называет курок, и еще до дыма, до гула выстрела увидел, как огнем снесло перед моим лицом полосу русских хвостов и разбрызгало с дальних травинок росу. Выстрела я отчего-то не услышал, только ощутил толчок в плечо от сильного заряда и увидел в черном ворохе дыма оседающую в траву, быющую нарядным крылом крупную птицу, рвущуюся в небо. Крик, напоминающий звук все той же родной, но уже надвое разорванной старой гармонии, крик отчаянья, прощальный крик оглушал берег дохлой безымянной речки, заманившей, прикормившей дальнего гуся.

Крича: «Есть! Есть!» — я подбежал к гусю, схватил его. Он еще пытался бить меня целым крылом, поднимал голову, еще глаз его с гаснущим ядрышком света глядел на меня с ужасом и упреком. Я прижимал тугую, горячую птицу к груди, зарывался носом в холодное перо. Гусь зазевал судорожно, предсмертно, шевеля в клюве окровавленную травку, с которой реже и реже капало, пока наконец не выдулась в две дыхательные дырки на клюве пузырястая пена. Клюв беспомощно открылся, черная от крови выпала травинка, что-то клекнуло в горле птицы, она уронила голову, и с клюва длинно потекла жидко окрашенная слюна. В разнятых перьях шарилась комары, вязли в красном мокре, пытаясь улететь. Под моими пальцами тише и реже стучало, все глубже утопая в птичье перо, вольное и сильное сердце, скребло мне в брюхо лапами, дрожало у моего подбородка изнемогшее крыло.

Не жалость, нет, восторг добытчика сотрясал меня, мое сердце рвало счастьем, меня звало прыгать, кричать: «Вот! Я сам! Сам добыл гуся!..» — наверно, и кричал и прыгал, потому что надо мной кружили чайки и орали, ворохами

взмывали утки с насиженной поймы речки и, панически kloхча, неслись куда-то, ударяясь в навислые кусты.

— Вот, смотри!..

Папа сонно глянул на меня, подержал в руках птицу, взвесил, заметил, видимо, еще во время весенней охоты перебитую, криво сросшуюся лапу — отчего и отстал гусь от стаи, отчего и жил бобылем, кормился в одиночку.

— В натуре гусь. Из тюрьмы лытал,— небрежно сказал папа, так и сказал презрительно, по-блатному,— не «летал», а «лытал». Заметив по моему лицу, что ляпнул не ко времени остроуту, миролюбиво зевнул и добавил: — На пороход завтра продам, рубаху тебе куплю.

Я бережно, как это делают настоящие охотники, заложил голову птице под крыло, унес ее в кладовку, убрал в ларь, закрыл железную накладку, и подумав, просунул в петлю накладки палочки, чтоб ни собаки, ни кошки, ни какая другая тварь не добралась до моей добычи.

Усталый, в кровь объеденный комарами, но счастливый, полез я на чердак спать, сладко думая, какой я удачливый, какую папа купит мне рубаху на вырученные за мою добычу деньги. Если хорошо, с умом и выгодой продаст папа гуся, может, и на штаны сойдется. Сапоги он мне сулит сшить давным-давно, сапоги я заработал на рыбоделе еще до приезда Кольки и мачехи, днем пластая рыбу, ночью сторожа рыбный склад. Папа мне уже показывал кожаный фартук, выданный в качестве спецовки на рыбодел. Из фартука выкроются переда и голенища, оставался сущий пустяк — достать подошвы и найти сапожника, папа сапожника знает в станке Полое, пьяница, конечно, как и все сапожники, но зато первого класса сапожник, вот время подходящее наступит, сплавает в Полой папа, закажет сапоги, тогда совсем все хорошо будет.

Лафа моя детдомовская кончилась. Пожил я на всем бесплатном, поел бесплатные харчи, поносил бесплатную одежду всю-то зимушку. И довольно! Хватит государство обирать! Раз родители объявились, пусть платят за содержание в интернате, одевают, обувают своего ребенка. Государству есть кого кормить и содержать, оно большое, и пароду в нем много живет, тем более государство не обязано содержать такого неслуха, варнака, у которого нет никакого порядка ни в поведении, ни в учебе. По

половине предметов сплошные отличные оценки, по другой половине сплошные очень плохие оценки. Без всякой середины! Этот всем надоевший ученик только разлагает здоровый коллектив, дурно влияет на детей и явно метит в бродяги иль в преступный мир.

Поскольку папа в интернат, объединенный с детдомом, за меня не платил и платить не собирался, то мне там из сердобольности отдавали обноски детдомовцев. Явился я под родительский кров в ветхой рубахе, в дражных штанах и ботинках, которые просили каши. Только кепка на мне была новенькая рябенького, птичьего цвета. Кепку ту я выменял на горсть урючных косточек и зажошку у одного плахинского паревана. Очень я гордился этой ценной вещью и берег ее, но вот одежонку разбил до того, что мачеха уж и не знала, с какого боку ее чинить. Обновы, которые сулил мне папа, были бы совсем не лишние.

Проснувшись среди дня, первым делом забежал я в кладовку посмотреть на моего гуся, но его в ларе уже не было. Мачеха крикнула из избы: пристал пароход и отец унес мою добычу продавать. Что-то заняло во мне от нехороших предчувствий.

Пароход прогудел и отчалил. Папа домой не возвращался. Ждет, когда магазин откроют, чтоб рубаху мне купить... — со слабой уже верой в справедливое дело утешал я себя. Не было папы до обеда и после обеда. Вернулась мачеха и, отводя глаза, сказала мне, совсем упавшему духом:

— Не жди. Продал и пропил он твоего гуся... — Потрясла головой, отвернулась и добавила: — Да еще и глаз сулитсся нам обоим выбить. В натуре.

Мне казалось, давно, еще в раннем детстве, я выплакал все слезы, но в ту ночь на карасинском чердаке, забитом комарами, зарывшись в дряхлую постеленку, я так горько плакал и так еще оказалось много слез, что обессилили они меня, просветлили и тяжело успокоили. Я решил уплыть от отца своего и больше никогда к нему не возвращаться, навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Ах, мальчишка, мальчишка, наивный человек! Жизнь по сильнее, поизворотливей твоих твердых рвений и намерений. Жить да быть тебе еще с отцом, никуда вам друг от друга не деться — так судьбой и Богом велено.

Летней, сенокосной порой папа отбыл из барака в сторону станка Полой с попутчиками, братьями Губиными, дровозаготовителями из соседнего, верстах в пяти ниже по течению Енисея расположенного дровяного табора. День, другой, третий — нету родителя. Рыбой питаемся, она уже приелась, горчит, как трава. Колька выплевывает рыбу, орет, хлеба просит. Мачеха сказала, слава Богу, перстун лодку не забрал, велела мне плыть, искать родимого кормильца. Мачехе страшно было оставаться в тайге одной, помня, что по берегам Енисея идут беглые арестанты из Норильска, да что же делать-то, голод неволит. И кроме того, никто ведь наш дровяной склад не освобождал от дел и служб. На обрывистом берегу было сложено тысяч пятнадцать кубометров дров, заготовленных зимою. Приставали пароходы, загружались дровами, топливом, выписывали квитанции, накладные и всякие бумаги, в которых надлежало расписываться о сдаче продукции дровяному начальнику, и он это делал с большой охотой, расписывался-то, важно вынося на берег папку с бумагами и карандаш за ухом. Меня и мачеху начальник записал в списки работников дровосклада, в наши обязанности входило спускать с крутояра по деревянному лотку к воде поленья дров, но мачехе, ходившей последние сроки, уже было не под силу делать эту довольно тяжелую работу, я же был склонен больше стрелять и удить, затянуть песню на весь Енисей с подтрясом, а не заниматься хлопотным делом. Поленья, катясь по лотку, часто в нем застревали, доски катка, сколоченные уголком, сваливались с козлин, и надо было бегать снизу вверх, сверху вниз ликвидировать технические прорухи. К приходу парохода надлежало стаскать от табора кубометров двести-триста, а табор с каждым днем отдалялся в глубь смятой, иссеченной тайги, потому как поленицы, будто стены храма, разбирались, исчезали, сгорая в утробах пароходных ненасытных котлов, и к осени здесь не должно было остаться ни единого полена.

Приставали к нашему табору чаще всего буксирные трудяги, сопровождающие вниз по Енисею огромные матки-плоты до Игарки, и вот, пристав и не найдя на берегу приготовленного для себя топлива, пароходные капитаны и матросы сами выполняли назначенную нам работу, по лотку спуская дрова, или, ругаясь, уходили к другим дровяным складам, или составляли акт на дровяного начальника, не выполняющего свои прямые обязанности, неиз-

вестно куда исчезнувшего, к пароходу на зов гудка не являвшегося. Словом, папе, а значит, и цашей семье, грозила новая беда — потерять и это таежное рабочее место, и ту жалкую зарплату, что отец получал как руководитель, те рублишки, что выплачивались нам с мачехой за подхватный труд на вверенном ему объекте.

И вот мачеха оставалась при ответственной должности выполнять обязанности дровяного начальника, а я, штатный грузовой трудяга, впряг собаку под названием Полюс в бечевку и начал правиться вверх по Енисею, зорко высматривая на его просторах лодку с непосредственным дровяным начальником, но нигде его не видно было, ни на водах, ни на суше. Начальник снова загудел, кинув свой объект и забыв про ответственность. Переплыв через реку на лодке в станок Полой, ходил я от избы к избе, вслушиваясь, внюхиваясь, как хорошо натасканная собака лайка, старался взять след родителя. И взял! В новом дощатом доме, в развеселой компании лихо отплясывал мой родитель, пятками об пол стучал, пальцами прищелкивал, ахал, охал, посказульки озорные выдавал. Лицо его было вдохновенно, несколько отстраненно и серьезно — все видели, на какой высокой волне волнующего искусства пребывает он, в какие недостижимые выси захватило и занесло редкостно талантливого человека. Некрасовского толка и могущества братья Губины с соседнего участка, не способные ни к какому искусству, только в ладоши хлопали да завистливо глядели на развеселого своего товарища и, видно по лицам, сообразить не могли, как же вот с такими-то выдающимися артистическими данными человек на дрова угодил?

Папа, как когда-то в овощном ларьке, долго не замечал меня и не узнавал, но все же наконец выделил взглядом из публики, недовольно поинтересовался, отдыхаясь, вытирая пот со лба: «Ты! Зачем ты суды приплыл? Кто те велел? Она?..» — и тут же посулился выбить мачехе глаз, но, отдохнув и выплеснув с досадой в себя рюмаху, решил оба глаза ей выбить, всех нас, в натури, перестрелять, поскольку навязались мы на его «горькую головушку», мешаем ему везде и всюду, путаемся в его ногах.

Однако, как тут же выяснилось, стрелять папе было уже не из чего — он пропил ружье, нашу последнюю надежду и выручку. Жены братьев Губиных, бабы бывалые, всего навидавшиеся за свою вербованную жизнь, обшарили папин пиджак, добыли какие-то мятые рублиш-

ки, велели мне бежать за хлебом, пока не закрылся магазин. Я купил полный мешок хлеба, да еще и на кило сахару для малого Кольки выгадал. Завернув мешочек с сахаром все в тот же кожаный фартук, предназначенный для сапог, продукцию я тайком и поскорее снес в лодку. Предстояла боевая и трудная задача вытащить папу с гулянки из Полоя домой, к дровяному объекту, подманить к лодке Полюса, который сорвался с поводка и убежал в селение.

На Енисее тем временем подразгулялась волна от крепчающего к ночи ветра. Много времени я потратил на поиски двух беглецов, и когда поздней уже ночью решился бросить их и плыть через Енисей к мачехе и ребенку, по реке катили беляки. Ночь летняя северная хотя и светла, но хмарна, и мне показалось, что под другим, высоким, каменным, как говорят на Севере, берегом волна еще не крута, стоит мне перемахнуть туда — и я в безопасности.

Ширь реки возле Полоя версты четыре, может, пять, может, и больше, годиков же мне было всего тринадцать, с весны с будущей пойдет четырнадцатый. К тому же без сна и отощал на рыбе, рыская по Полою в поисках беглецов, выдохся, и силенок моих не хватило на всю реку. На середине ее начало захлестывать лодку, обвялыми руками, из последних сил держал я лодку носом на волну, безволие охватило пловца, хотелось бросить весла, не сопротивляться. Утону, так утону, экая потеря! Но там, в забитом комарами и кратким мороком лесу, ждали меня молодая женщина и ребенок, ждали, сжавшись от горя и страха, запершись на крючок. И пароход за дровами должен вот-вот подойти, по низкому лесному окоему уже растягивало, трепало дым из пароходной трубы...

Бился я, боролся с волной до потемнения в глазах, пока со стоном и плачем выгребся за середину реки. Под каменным берегом волна и в самом деле была не такая навальная, как на стрежи. Течение валкое, но не быстрое. Меня медленно сносило и сносило на пониз реки, к дровозаготовительному бараку. Я лежал в носу лодки, прикрыв собою мешок с хлебом и кулек с сахаром для брата малого, собираясь с силами и пытаюсь выловить корье, плавающее в полузатопленной лодке, чтобы снова прикрыть хлеб от хлестких брызг. Фигурку в белом платке, которая металась по берегу, махала мне, звала, я и увидел на берегу не сразу.

Меня несло мимо барака.

Где, у кого, каких еще сил я набрался? Всевышний,

должно быть, и на этот раз мне пособил. Выбился я под высокий берег, снова ушел из-под волны, все более звереющей, в совсем отяжелевшей лодке. Скребусь к берегу, плачу, кашляю, мачеха в ледяную северную воду забрела, за нос лодку ловит, диким голосом кричит и не мешок с хлебом, меня под мышки волочит из лодки, волочит и целует, целует в мокрую голову, повторяя: «Царица Небесная! Господи, батюшка, помог! Милостивец!...». И на утор, на утор, в теплую баню, одежду срывает с меня, но я уже большой, зажимаюсь. «Да не стыдись ты меня, не стыдись! Мать я тебе, мать!...».

Потом уж, сквозь тяжкую муть и смертельный сон, доносило до меня слова мачехи, научившейся говорить с самой собой: «Сахар-то, сахар-то обернул, бечевкой обвязал! Вот откуда чё берется? Пустобрехом рожон...». И про хлеб что-то успокоительное напевает: подмокли булки-то, да мы их подсушим, которые совсем раскисли, перемесим, перестряпаем на лепешки... «Не-э пропадем, ребята, не пропаде-ом!...».

Явился папа, больной, трясущийся, со спекшимся черным ртом, и сразу в наступление, почему я уплыл, бросив его одинокого на чужом берегу? Почему не купил ему «визилину» и табак? Денежки вот из кармана выгresti догадался, жульман городской, но о больном человеке не подумал! И в наказание приказал мне идти на соседний дровоучасток к братанам Губиным за ружьем.

Не пропил, а променял он ружье — старую, заслуженную двустволку — на одноствольный дробовик, поскольку нужны были деньги на продукты и вазелин, и ему дали придачу братья Губины, да еще какую придачу! Мозга у него шевелится, масла достаточно, чтобы обмозговать выгодно обменную операцию. Выходило, папа на полойском берегу не пил, не гулеванил, за копейку бился, сожалел, как нас, дармоедов, дальше и лучше содержать. Голова его от забот поседела, мы же не только не ценим его радений, но и ведем себя черт знает как — недостойно, вольно, во вред ему и не на пользу общественному делу.

Вегер все еще не унялся. По Енисею шла уверенная волна, комаров с берега сдуло, загнало в прибрежную шарагу. Светлой ночью, под незакатным солнцем босиком шлепал я по мягкому приплеску, и вольно мне было.

Никуда я не торопился, никого и ничего не боялся, пел песни, ел ягоды смородины, пил воду из ключей, пулял камнями в чаек, кружащихся надо мной, и не знал еще, что поход тот останется во мне на всю жизнь таким ярким озарением. Я озорно торжествовал, когда от берега вплавь бросилась врасплох застигнутая утка с выводком, выедавшим на отмели мулявку и всякие корешки, выброшенные волной. Утят, будто пробочки, подбрасывало на волне. Я хлопал в ладоши, путал пташек, утка, изображая из себя предсмертно раненную, больную птаху, бултыхалась на воде, кружилась на прибрежном урезе, где ходила мутная вода, отманивая меня от выводка и одновременно командуя, чтоб детишки не лезли в круто бьющую волну. Поняв, что весь «тиятр» этот разгадан, утка, сердито крикая, летала над моей головой, прогоняла меня вон, обрызгала водой с крыльев и даже целилась обкакать, но я увернулся; глухарь, тоже подбирающий на берегу корм и камешки, уже сменивший перо, но не окрепший крылом, под шум волны не услышал моих шагов и, застигнутый врасплох, по-мужицки пьяно почесал от меня в чащобу, и я чуть было его не настиг; сидящие на чисто выдутом песчаном осередке гуси перестали кормиться, тянули шеи вверх и, словно на собрании или в кино, вдруг радостно загорготели обо мне — он без ружья, он же так, для испугу глаз щурит и палкой целит. Одного нашего брата угробил зазря, отец все равно потом пропил добычу, теперь вот и ружье пропил, и бояться нам стало вовсе нечего и незачем.

Гагару, вылетевшую на Енисей проветриться, надо мной забазарившую и плюхнувшуюся на мелководе, пугал я, бросал в нее камешки. Способная занырнуть при выстреле от дробы, гагара не улетела. Бесстрашно играла со мною, поныривала, мелькая юрким задом, и я говорил гагаре: возьму вот у братьев Губиных дробовик да пальну, узнаешь тогда, как баловаться.

В одном месте в логовину налило штормом воды, набило туда рыбешки, и над гибельно обсыхающей лужей густо, будто бабочки боярышницы, клубились чайки, трепетали, суетились, дрались, играли и жрали, жрали. Весь уже песок обгадили, но не давали прожоры приблизиться к корму воронам, возмущенно орущим с вершин леса, по которым они расселись и, глядя сверху, страдали, что ничего им не останется от дармовой трапезы. Я снес не-

сколько пригоршней рыбешек в Енисей. Да разве спасешь тут всех, вычерпнешь руками гибельный водоем?

Братья Губины шибко удивились моему явлению: никакого ружья они папе не обещали, наоборот, он им остался должен, поскольку спяну положил цену за свое ружье ничтожную. Так уж и быть, долг они прощают. Однако ж поговорят с моим отцом при встрече — сделан был договор, при народе ударено по рукам, и нечего этому артисту клепать на них напрасно. Сердобольные бабы братанов Губиных покормили меня, дали поспать в пристройке.

Папа шибко гневался на меня и на братьев Губиных, мачеха гневалась на папу. Трепло несусветное, говорила она, мало что склад на произвол судьбы бросил, парнишку чуть не утопил, так еще его же и за пропитым ружьем послал и теперь вот «тиятр», в натури, разыгрывает. Папа упорно стоял на своем: он, увидите, еще разберется с этими братанами Губиными и даже которому-то из них выбьет глаз. В натури.

Подлая, унижающая привычка посылать мачеху и меня кланчить взаймы деньги, выглядывать куски, жаться по чужим углам сохранилась в папе на все время, пока мы были с ним, а он с нами.

Там, в дровозаготовительном морхлом бараке, я доходил до того, что иной раз, боясь себя, думал, не выдержу и зарублю, застрелю иль зарезу папу. Мачеха молода, издергана жизнью, однако хорошо битым и тертым бабьим чутьем улавливала неладное.

— Не надо, парень, не надо! Ты что задумал? Бог с тобой — прижимая к округлому, горячо пекущемуся животу, гладила она меня по голове. — Не связывайся с ним. Характер твой потылицинский, чижолый, нерва издергана, сгребешь его да и уконтромишь. Мне не отобрать, я вот-вот растелюсь. И пойдешь ты по отцом проторенной дорожке, по тюрмам да по этапам и погибнешь там. А воротиться? Таким же, как он, и воротиться, испортишь чью-то бабью жисть, может, и не едину, как он мою жисть испортил, загубил, подлец. — Глядя отрешенно в мутное, сплошь покрытое окроветелыми комарами, паутами да мухами окошко, мачеха вздыхала. — Лучше уж я сама. Терплю, терплю да и ухоньдехаю этого плясуна-блядуна. С бабы какой спрос? Да ишшо с брюхатой?

Мачеха неуклюже, но по-женски умно отводила от меня беду и говорила, чтоб терпел я до осени, там, Бог

даст, в Игарку уеду, люди добрые, Бог даст, снова не оставят на ветру, снова в интернат определят на казенное содержание.

— Тебе бы лучше было у бабушки остаться. Аль уж одному скитаться. Каки мы тебе родители? Сами свою жисть запутали, хоть в петлю лезь.

Годы минули, жизнь папина прокатилась по земле, он ее почти и не заметил. Сидит вон в гудящем самолете, клюет носом с тяжелого похмелья и не до конца понимает, куда опять, зачем влечет его бурная судьба, да и понимать не хочет, не приучен он отвечать за себя и за кого-либо.

Перед улетом побыли мы на астраханском кладбище, как и всюду по Руси, довольно запущенном, захламленном. Была там лишь одна достопримечательность, ее показывали всем гостям Астрахани, и папа, конечно же, мне показал. Скульптура из белого девственного мрамора, излаженная под греческую пышнотелую и пустоглазую матрону, стыдливymi ладошками зажавшую голую письку, — памятник юной любовнице, доморощенная прихоть какого-то здешнего купца. На новом кладбище среди множества ничем друг от друга не отличимых могил, плавающих в вязкой глине, виднелся голый холмик с привязанными по кресту двумя до бледности промытыми дождем венками — здесь покоилась последняя жена папы.

Покаянно склоняясь головой, сиротливо стоял отец над холмиком. Ни о чем не обмолвившись, сделал мне отмашку, отойди, дескать, и мелко-мелко затрясся, шепча что-то, затем пошлепал по глине, не выбирая сухого пути, швыряя носом, утирая платочком лицо. Не крестясь, не прочтя ни одной молитвы, навсегда простился с близким человеком. До самой смерти он оставался неприканным безбожником, да и молитвы он давно все перезабыл.

В отдаленном московском аэропорту Быково народу не протолкнуться. Папа совсем плох, сидит на рыхло увязанном узлище, прижав ногой бечевкой перепоясанный чемодан, просит глоток водицы. А за водицей той, точнее за мутным соком, наливаемым прямо из пузатой банки, очередь в сотню человек.

Пока я сидел в астраханской гостинице без штанов, папу в дорогу собирали Юра Селенский и лучший друг папы Евлаша. Навязали они всяческого барахла, хотя просил я взять с собой самое необходимое. Однако по старо-

давней привычке деревенского жителя ценить каждую тряпку и показать нам, что явился он с нажитым добром, собрал папа подушки, ватные одеяла, недоношенную обувь, портреты со стены, альбом с фотокарточками, что-то из вещей Варвары Ивановны в подарок жене и Ерине — так в России повелось издавна, раздавать вещи покойного живым. Всплакнув, попрощался папа с опустевшей конурой, положил ключ под крылечко — для племянницы покойной жены — вышел на середину двора, остановился возле вечной астраханской лужи, скульптурно отразился в ней, стащил с головы кепчонку, поклонился направо, налево: «Прощайте, люди добрые, и простите меня за мое нескромное поведение».

Никакого ответа ниоткуда не последовало, лишь послышался вдогонку волосатый бабий бас: «Езжай-таки, езжай! Да не портишь своим детям нервов, как ты их портил нам продолжительное время».

Э-эх, папа, папа, забубенная головушка! Как теперь-то с моей-то доблестной семьей жить станешь? Непростая семейка-то, ох непростая. Но папа уже едва шушкает, в узел уткнулся, ртом обсохшим шевелит, да не жалуется — на этапах, видать, бывало и хуже ему.

Вся надежда на девчонок, работавших в Быкове. Были они в те поры в Богом и «Аэрофлотом» забытом авиапорту вконец отчаянные, озорные, невозмутимые, почти бесстрашные, но все еще к народу сочувственные. Как и вся наша советская бытовая обслуга, клиентов не любили, но по христианскому завету жалели, поскольку сами вышли из того же народа. Не раз и не два выручали меня быковские девушки на пути в Вологду, не требуя никаких воздаяний, на торопливое «спасибо, спасибо» дружелюбно махали рукой: «Лети, дяденька, домой, свои люди!» Одна проводница, Зина, прониклась ко мне особенным участием. У Зины той, в общем-то красивой, фигуристой девахи, от судороги иль испуга был перекошен рот, у меня на фронте покорябало лицо, и эта деталь иль с детдома доставшееся понимание чужой доли — несчастья и ранимости, из-за физического изъяна никогда «не замечаемых» собратом по несчастью — пожалуй, и сблизило нас. Да и видал я уже девушку с таким-же повреждением в сорок втором году в Красноярске перед отправкой на фронт и даже влюбился в нее односторонне, без всяких, впрочем, последствий для жизни и судьбы.

«Господи! Помоги мне увидеть Зину!» — взмолился я

и уже через минуту вижу — спешит она по залу, запруженному пассажирской клейкой массой, за рукава ее цепляющейся. Я приветливо заулыбался на всякий случай, да много тут таких приветливо-то, заискивающе улыбающихся. Ловко набрался я наглости и окликнул ее. Глянув критически на меня и на папу, Зина покачала головой: «На вологодский? С таким багажом?! Да и посадка заканчивается».

Папа мой, совсем было суксившийся, вдруг воспрянул для борьбы, сказал девушке, что он в голову ранен на войне, в натури, болен опасной неизлечимой болезнью, ему середь народа долго находиться нельзя. Зина сказала: «Я сейчас узнаю» — и умчалась куда-то. Смотрю, тем же наметом мчится обратно, издали рукой машет. Стреб я узел, чемодан да и за Зиной к самолету. Тот уж под парами, турбинами нетерпеливо визжит. «Дедушка, дедушка, скорее, миленький, самолет задерживаем!» — вскричала Зина и, под руку моего папу поддев, поволокла его к трапу. Заскочив в подпрыгивающий, лапами шевелящий самолет, бросил я узище, чемодан в багажном отсеке и навстречу папе кинулся, чтобы схватить его за шкуру, втянуть наверх, — вижу, капитан мой, директор, непобедимый зверобой, плясун на карачках ползет по выдвижному трапу, хватаясь за ступеньки. «Счас коньки отброшу, счас коньки отброшу», — повторяет.

Тут на глиной припачканных, скользких ступеньках самолета вскипело, рассиропилось мое траченное российское сердце, и простил я папе все и навсегда.

Сколько потом было всего и всякого в нашей совместной жизни — не пересказать. Папа пил, гулял, паясничал, невзирая на преклонный возраст, пытался завлекать женщин, поиспортил отношения со всеми моими домашними, даже с дочерью, больше других его обожавшей. Однажды я пробыл в Москве вместо суток четыре дня. Хозяйничая дома с моим папой и с больным ребенком, дочь моя с порога заявила, что с этим идиотом больше никогда ни на час не останется домовничать. Я в сердцах заявил в ответ, что всем бы вам, современным деткам, хоть с годик побыть в обществе моего папы, вот тогда, может, все вы лучше почитали бы родителей своих.

Все чаще и чаще надолго сваливался папа. Предчувствуя смерть, просил меня уже не для «тиятра», не для того,

чтобы разжалобить: «Увези меня в Сибирь! Хочу быть похороненным возле жены моей Лидии Ильиничны в Овсянке». Я уже готовился к переезду с Вологодчины в Сибирь, просил папу хотя бы какое-то время не пить, поберечь себя и тогда непременно свезу я его на родину, к родным могилам.

Был я в Сибири в творческой командировке, когда пришла мне телеграмма из дома о том, что отец находится в тяжелом состоянии. Если б было не опасно и терпимо, меня не потревожили бы. Билеты на самолет из Красноярска, как всегда, достать было трудно, я не вдруг вылетел домой. Папа мой, меряя весь свет и всех на свете на свой аршин, сказал жене: «А что, Витя бросил нас?». Жена его успокоила: мол, если раньше, когда помоложе был и поздоровее, не бросил, то теперь, Бог даст, подобное происшествие уже не случится. И в больнице возле папы дежурила она, моя отходчивая сердцем жена, которой он тоже успел причинить многовато обид, да кто ж на умирающего человека обижается. Что папа умирал, было достаточно одного взгляда — сделался весь желтый, почти коричневый, речь его сыпкая, звонкая заторможена, сжевана от снотворных и обезболивающих лекарств, но голосок, но манеры, все не унывающие, все юноше под стать. Попросил папа, чтобы мы подняли его с постели и поводили по палате. Идет, обнявши меня и жену, ноги его плясовые-то, бегучие, нетерпеливые ноги отстают, сзади волокутся. Я и говорю: «Папа, тебе сейчас в самый раз сплясать». Он мне с потугой на озорную улыбку: «Не сплясать, а сбацать».

Главный хирург областной больницы отозвал меня, заговорил насчет операции. Папе стукнуло семьдесят восемь, и я спросил хирурга, в чьем ведении он ныне, в медицинском или в Боговом. «Больше в Боговом», — честно признался хирург.

— Не надо мне никакой операции, — оставшись со мной наедине, повел «мужицкий разговор» папа. — Наступил конец моему пределу. — Подышал, отвернулся к стене и как бы сам себе молвил: — Хватит с меня хворей, больниц, тюрем, лагерей, скитаний.

Без сознания он был совсем недолго и умер во сне от распространенного ныне среди пьющих наших мужиков недуга — цирроза печени. Легко жил человек. Нетрудно в отличие от других моих родичей ушел в мир иной.

У гроба отца сидючи, я думал о том, что не прав был,

когда говорил ему: Господь, мол, избавил маму от него, пусть и такой мучительной смертью. Конечно же, не прав. С годами эту неправоту ощущаю все больше. Папа — крестьянский сын, пусть из бурной, непутевой, но деревенской семьи. Я знаю доподлинно, что мама любила его, и не он, а она несла бы свой крест насколько хватало сил. По распространенному на Руси верованию, весьма и весьма редко исполняющемуся, может, и человека бы из него сделала, если б сама не сломилась прежде.

Деревня не терпит баловства и ветрогонства. Здесь надо жить трудом и заботами о семье. Главное в деревенской жизни — постоянство, остойчивость, надежность. Сшибленный, сжитый с Богом ему определенного места, несомый по земле, что выветренный осенний лист, папа, не то придуриваясь, не то основываясь на жизненном опыте, не то политически выламываясь, на вопрос, кто во всем виноват, неизменно отвечал: «Ворошилов виноват!».

Других вождей он, видать, не терпел, не хотел помнить, воссоединял их всех в образе первого маршала, но есть тут и моя личная догадка: дался тот Ворошилов папе потому, что шибко они пошибали друг на друга лицами и носили одинаковые усики.

Так вот и остался папа на чужой стороне, в неглубокой вологодской могиле, заваленной мокрыми комками, так и не додюжил до Сибири, где могилы роются такие, что «не вылезешь и не сбежишь», заверяла моя покойная тетка Апраксинья Ильинична, в жизни. — Апроня, покоящаяся вместе с Кольчей-младшим и моей дочерью уже на новом овсянском кладбище, среди березового леса, где были до коллективизации деревенские пашни, но потом земля стала ничья.

От папы остался альбом с фотокарточками, увеличенный фотопортрет и записная книжка. В книжке текущие впечатления, записи погоды, стихи, которые он таил от меня и доверял печатать на машинке только жене моей. Надо заметить, что стихи нисколько не хуже тех, что еще совсем недавно широко печатались и печатаются по нашим газетам, альманахам, даже в столичных журналах. Немножко бы папе грамотешки добавить, непререкаемости же в образованности своей поубавить, и он вполне мог стать в ряды членов Союза писателей СССР, пить и кормиться с помощью поэзии, как это делает легион отечественных стихосложителей.

Самая знаменательная в записной книжке папы ока-

залась последняя, крепко засекреченная запись: «У Любки фамиль Ковалева». Развеселое мое семейство доподлинно установило — Любка эта работает продавцом в «сорокашке», стало быть, в вологодском железнодорожном магазине номер сорок, располагавшемся через улицу от дома, в котором мы жили. В «сорокашке» папа частенько разживался винишком. Любка Ковалева на шестьдесят лет моложе папы, и какие он имел на нее виды, никто уж и никогда не узнает.

Говорят, и в последнее время довольно часто, что родину не выбирают. От себя добавлю: родителей тоже. Да и детей не выбирают, они на свет являются сами. Готовых угланов только в род- и детдомах отсортировывают и выбирают, точно овощ и фрукт, но все остальные со дня миротворения живут по велению судьбы и природы.

Она, природа, и Создатель подарили мне моих родителей, родители подарили мне мою жизнь, отечество родное — судьбу мою сотворило. Не судья я им, и не указчик, и не идейный наставитель. Лишь вздохну, помолюсь и молча вымолвлю: «Пусть тебе, папа, спокойно будет хотя бы на том свете. Блатные, помнится, пели в твоё время: «Выпьем, хлопцы, выпьем тут, на том свете не дадут!..»

Трезвый же ты непременно углядишь своим зорким охотничьим взглядом среди несметной молчаливой толпы молодую рослую женщину с одной косой — другую у нее оторвало сплавной боной, когда она плыла к тебе в тюрьму с передачей. Ступая босыми ногами по облакам, она непременно пойдет навстречу тебе, ведя за руку маленьких ангелочков — узнай их, это жена твоя из дальнего далека вместе с детьми и внуками твоими, покинувшими сей свет раньше тебя, спешат соединиться с тобою на блаженном небесном покое. Полюби же и пожалей их всевечной любовью, коли здесь, на шатучей земле, во взбаламученном мире, времени и сердца на нас, на детей твоих, у тебя не хватило.

ВЕЧЕРНИЕ РАЗДУМЬЯ

Но хаос, однажды выбранный, хаос
застывший,— есть уже система.

Александр Солженицын

Прошло одиннадцать лет как я возвратился на родину, купил избу в Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного и дедушкиного дома, и стал ждать, чего ждут и не могут дожждаться многие люди,— возвращения прошлого, прежде всего детства. Но когда-то я ставил к первому изданию «Последнего поклона» эпиграф из стихов замечательного поэта Кайсына Кулиева: «Мир детства, с ним навечно расставанье, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминанья все чаще возвращают нас туда...».

Однако и воспоминания иссякают. Так, какие-то вспышки далеких зарниц, отголоски прошлого, печаль о прожитом и пережитом еще настигнут в этом дерганом, шумном и суетном пути, по ним, по этим озвученным памятью дальним звукам, всколыхнется, воскреснет что-то, и «недаром мне вздыхалось сладко в Сибири, в чистой стороне, где доверительно и слабо растенья никнули ко мне». Да, верно, еще вздыхалось, еще никнули растенья, люди, песни, воспоминания, и написал я здесь, уже в родной деревне, несколько глав, вроде бы не утратив звука и строя повести, но почувствовал тогда же: книгу пора заканчивать, надо жить дальше или доживать и перелистывать другие страницы, в этой же книге настало время ставить точку.

А жизнь в последнюю главу, словно в угасающий костер, все подбрасывает и подбрасывает хворосту. Таково свойство ее, жизни; и материалу — только в записях, пись-

мах, документах, воспоминаниях моих читателей — накопилось, пожалуй, на целую книгу, но, вероятно и скорей всего, — на книгу совсем другую.

В первые годы, когда в селе моем жило и было еще много гробовозов и оно не превратилось в придаток пригородных дачных поселков, я любил поздним вечером, «после телевизору», пройти по спящим улицам, сделать круг, посмотреть, повспоминать, подумать, подвести итоги жизни вот этого вот села, в котором от бывшего скоро останется лишь название.

Из Овсянки вышли академик, два майора и один полковник, несколько приличных учителей и врачей, два-три инженера, много шоферов, трактористов, мотористов, механиков, три-четыре пары мастеровых людей и много-много солдат, polegших на дальней стороне. Но сколько же оно породило за мой только век убийц, хулиганья, воров, стяжателей, кляузников, сплетников и просто людей недобрых, кроме зла ничего на свете не сделавших и не оставивших... Много, слишком много мешающего утвердительно говорить о разумном смысле человеческой жизни. Люди в моем селе не столько жили, сколько мучались и мучали. Тропа народная с котомками в город и из города так до сих пор и не заросла, потому как камениста она да и полита солеными горькими слезами, на которых, как известно, даже трава не растет.

Какую же память оставляет за собой мое родное село? Чего и кого оно помнит?

Никого и ничего, кроме близкого горя, оно не ведает.

В поссовете нет ни летописи, ни документов, ни метрик, ни бумаг о том, откуда село взялось, кто и как основал его, почему так назвал. Оставшиеся еще в живых гробовозы помнят дедушку и бабушку, редко — прадеда и прабабушку. Новожители не помнят, не знают и знать не хотят никого и ничего. Рожденные с тюремной моралью «умри ты сегодня, а я завтра», они живут сегодняшним днем, с растренированной памятью, угасающим сознанием, и только жажда наживы и поживы еще руководит их инстинктами, движет к близкой цели. Даже собаки повыводились, вместо благородной труженицы лайки бродят по улицам и переулкам трусливые, грязные чудища, в которых смешались все собачьи породы и земные эпохи. За сахар, за кусок послаще служат, голос дают. Во дворе гремят цепями, на звук шагов бросаются псы, стерегущие добро, повиснув подбородком на заплоте, храпят, слюною

брызжут, сжирая человека кровью налитыми глазами. Иногда им удается сбежать. С обрывками цепи на шее, будто каторжник, рванувший из руд, пес лезет в кусты, в крапиву, чего-то там нюхает, фыркает, скалится на встречаемых собачонок, готовый в любую секунду перекусать их, затрепать до смерти.

Пока не вымерли мои погодки — инвалиды Отечественной войны, повествовали они об одной яркой странице жизни села.

Было это еще до перекрытия Енисея, в пятидесятых годах. Шел из города в село грузовик с бормотухой, шел уже весной, в распары, чтобы помочь народу перед праздником Пасхи и Первомай взбодриться, магазину выполнить квартальный финансовый план. Шел, значит, шел грузовик с бормотухой, миновал уже Собакинский совхоз, который, полностью перейдя на изготовление и производство продукции «без химии» для руководящей элиты, обрел наконец надлежащее название «Удачный». На самом подходе к цели опрокинулась машина в водомоину, и почти весь ее груз вывалился на лед. Шофер на машине был овсянский, он донес до родного села печальную весть о погублении ценной продукции, принялся звонить в город, чтобы помогли ему выручить хотя бы машину.

Ночью гулкой, все еще студеной, на верхней стрелке по другую сторону Енисея возле острова Собакинского, по-собачьи позорно поджав лапы и оголив промежность с задним мостом посередине, напоминающим собачьи же мужские принадлежности, пьяно лежала на боку орсовская машиненка, не раз чиненая-перечиненая как поверху, так и понизу.

И начался пир на весь здешний мир! К машине — кто бегом, кто пешком, кто на санках, кто на костылях, кто на инвалидной коляске — спешил народ со всей округи, прежде всего из Овсянки, из двух слизневских рабочих поселков, с известкового завода, из совхоза, тогда еще Собакинского. Когда весть докатилась до подсобного хозяйства и манского сплавного поселка — толпы народа уже не просто пили и лежали вокруг машины, они уже жили здесь, жгли костры из ящиков, тащили крашенные заборы от ближних дач, катили вытаявшие сплавные деревья. Где-то вблизи, не иначе как с совхозной фермы, гуляки сма-
рали, без лишних слов приволокли на место пиршества

предсмертно кричащего подсвинка, почти живьем его опалили и пустили на закуску.

Поначалу в ящиках, вывалившихся из машины, старатели находили целые бутылки, и оглашал тогда окрестности победный крик, затем пили вино из битого стекла, резались об него, и весь лед вокруг поверженной машины был красный, где от бормотухи, где от крови — не разберешь. Наконец дело дошло до того, что лопатами, ломами и всяким другим железом выдалбливали лед, таяли его в сподручной посуде, не умеющие терпеть и ждать крошили зубами сладкие комки. Машину, чтобы не хлопотать насчет костра, ослабевшие гуляки подожгли. Хорошо им было, даже жарко возле такого пекла, но шибко закоптились да и от пьянства почернели мужики. Когда дети пришли за папами, жены с палками за мужьями, чтобы побить их и увести или унести под родимый кров, то где чей папа и муж — узнать они уже не могли.

«Но-но-о, парень, дали мы тогда! Во погуляли дак погуляли!..» — и годы спустя с восторгом вещал мне мой однокашник по школе и детским играм. «Что ж, кто-то замерз и помер?» — «А как жа! Как жа! Поспи-ка пьяный на леде, да этъ и сосали его, лед-то, в брюхе холодно, трясет всего, но голова проясняцца, дух бодрее! Дядя Егор помер сразу, даже не успел опохмелиться, бедолага. Ишшо на том конце деревни, за речкой, два мужика, слышно, концы отдали. Совхозный тожа, говорят, и слизневские, которые не поднялись, на известковом двое моих корешей-инвалидишек скосопузились... Да и сам я едва обygался, собак ел, барсучье сало горячее пил, медвежье тожа, месяца четыре подряд кажин день в баню гонял, до-олгонько животом и лехкими маялся... Но ничё-о, ничё-о, снова в строю, поставишь — опохмелюсь...».

Внимаю товарищу детства моего, обрюзгшему от пьянства и безделья, а из проигрывателя с подаренной мне записи современный монах плаксиво ведет: «Мир тебе, одиноко бредущий, и тому, кто тебя приютит...».

Вот у этого мужика или старика была тетка. Про нее говорили жуткое: родив двоих детей, остальных она при родах давила в ногах. Везде хотела быть эта женщина первой, азартна была до того, что когда брала ягоды, сикала в штаны, чтоб не терять времени, не отвлекаться по пустякам. Никого и ничего она не боялась, мужика своего

лупила, но когда делали первый раз прививку от оспы в селе, упала без сознания на пол. Оспу ставили в сельсовете. Несколько ламп сразу горело. Народу — толпа. По деревне смятение, рев, кто храбрится, кто причитает, кто молится, кто на сефовале прячется. Колдунья Тришиха вместе с ненаглядным сынком спрятались в печку, едва вытащили их оттуда. Орлы дяди Левонтия и те чуть в леса не сбежали, но Санька — опять же Санька! — обреченно ступил следом за отцом в сельсовет, будто на шаткую палубу корабля. Вышел бледный, держа рукав выше локтя закатанным, прошептал: «Ништяк...» — и скрылся. Как ни наказывали людям после прививки не чесаться, во сне и наяву, не выдюжив зуда, грязными ногтями царапали красно набухшие пятнышки. Заболели несколько человек, затемпературили, руки у них покраснели, распухли, по селу слух: «Мор напустили!». Сейчас вон хилым детям в башку уколы ставят, из вен кровичку высасывают, и ничего.

Сестра моего сотоварища, непобедимая ягодница, как подкулачница угодила в ссылку аж на Таймыр, потеряла там детей, мужа да и осталась при женской пересыльной тюрьме надзирательницей. Пила, обирала зэчек, поставляла их начальству и забивала насмерть, если которая смела в чем-то ослушаться. Она еще жива, извела двух городских мужей, насорила на себя похожих внуков, реденько появляется в родном селе. Не согнутая годами, вся золотом обвешанная, накрашенная, что современная девушка, без нормы курящая, матерится громко с блатными вывертами и обязательно в людных местах, напившись с племянником, громко плачет она, лицо ее линяет, и обращается тогда в страшную, беззубую старуху, тряся облезлой головой, жалуется: «Горемычная, горемычная я...» — и тихо, незаметно исчезает куда-то из села.

И у меня была тетка. По отцу. Звали ее Авдотьей, но на селе знали как Дуню, потому что до взрослого бабьего звания она здесь не дотянула. Когда начались гонения на крестьян, и в первую голову на мельника, главного мироеда на селе, стало быть, на моего прадеда Якова Максимовича Мазова, и на деда — Павла Яковлевича, тетке Дуне, девахе видной, нравом, как и вся отцовская родова, звонкой, шел восемнадцатый год и она встречалась с сидоровским Федором, жившим тоже на нижнем конце села. Федор состоял в колхозе кладовщиком, входил в правление колхоза имени сибирского героя-партизана Щетин-

кина, невеста же у него — подкулачница. Когда всю ораву мазовских выгнали на улицу, партийцы начали растаскивать добро из дома, пилить и колоть дворовые крепкие столбы, отыскивать в них золото, тетка Дуня прислонилась к сидоровским, стала невенчаной женой Федора, так как церковь на селе закрыли, все в ней побили, колокола сбросили и камнями покололи. Семейство сидоровских, среди которых был Леня, мой одноклассник и дружок по играм, человек смиренный и добрый, как и остальные его братья, отличала могучесть женской половины. Все сидоровские девки и бабы, ныне уже старухи, — боевые, работающие, с могучими голосами, не утраченными и по сию пору.

Коллективизация в нашем селе, как и всюду по Руси, смешала добро и зло, перепутала меж собой людей, оголодила. Стали ко кладовщику ходить-похаживать один по одному селяне, просили помочь хоть горстью мучки, хоть совком зерна, хоть крупкой или картошкой на варю. Федор на беду и просьбу был отзывчив, отказать никому не мог, и в кладовой у него получалась растрата.

Надвигалась гроза, скорый суд и расправа. Подбросив ключи от кладовой в окно правления колхоза, Федор ушел, скорее уплыл из села ночной порою вместе с беременной невенчаной женой — моей теткой Дуней. Доходили слухи, что осели они в новопостроенном шахтерском поселке Черемхово, сменив фамилию, имена, купив или достав себе документы и право на труд. Слухи оказались верными: тетка Дуня и Федор дожили в Черемхове до смерти, оставили после себя двух дочерей, одну из которых в прошлом году мне пособил Господь увидеть и от нее узнать историю папиной сестры.

Федор работал в шахте, тетка Дуня поварихой в рабочей столовой. Однажды струей пара или железной пробкой ей выжгло глаз, с тех пор она стала сильно болеть и умерла в знаменательный, трагический для страны нашей день — 22 июня 1941 года. Федор женился вторично, прожил еще сколько-то, но потом заболел и, чуя надвигающуюся смерть, решил навестить родное село, повидаться и проститься с родней. И опять ночью, тайком пробрался в село. Собралась родня, не узнают сестры родного брата, а он все плачет и просит: «Попойте, сестрицы, попойте, тетушки!..» Сидоровские бабы как грянули, Федор и со стула скатился. «Что вы! Что вы! — испуганно замахал руками. — Шепотом, шепотом попойте!..». Пели шепотом, за закрыты-

ми ставнями. Большой, до костей изработанный мужик все тряс седою головой и заливался слезами. Потом тихонько уехал и вскоре тихо помер в шахтерском городе Черемхове.

Было это на исходе семидесятых годов, и тогда же, приехав из Вологды погостить в Сибирь, узнал я адрес двоюродной сестры и послал ей письмо на Сахалин, где она живет и работает. Почерк мой таков, что я его порой и сам не разбираю, попросил я жену отпечатать письмо на машинке, чтобы легче было людям. И никакого ответа на письмо свое не получил. Сперва решил, что письмо затерялось, потом задумался и понял — я просто-напросто напугал еще в животе напуганного человека письмом, отпечатанным на машинке. Так оно и вышло: «Я думала, из органов каких или из конторы высокой, потом мне кто-то сказал, что это в самом деле мой брат. А я думала, чё уж теперь писать-то? Об чем? Поплакала, поплакала да и успокоилась». Сестра эта, Лиза, уже пожилая женщина, у нее есть дети, — неужели и внукам ее перейдет по наследству страх наш, униженность наша?

Ведь вот передался же от меня мой змеиный страх детям.

Я не раз упоминал в своей книге о том, как прежде было много змей по-за селом, на пашнях, да и в самом селе. Играешь, бывало, в лапту, закатился мячик в жалицу или в бурьян деревенский, топчутся паревапы возле межи, заглядывают в гущу зарослей, но идти туда боятся.

Деревенские рассказы, предания — кто их не слышивал, тот и страсти не знал. О том, как в рот спящему человеку залезает змея и живет в его утробе, сосет кровь и человек чахнет, знали все поголовно деревенские люди. О том, как ее, тварь гремучую, выжить из человека, тоже знали все. Для этого требовалось натопить жарко баню, завалить на полوک болезного, парить его веником, пока дышать он способен, при этом поить холодным квасом. Какой змей выдержит? Или как в люльку к младенцу залезал змей и он, младенец, мерз и мерз от гадюки, пока вовсе не замерз. Иль вот из одной коровы молоко теплое течет, а из другой холодное. Что тому причиной? Догадались? Смешно? Да не очень. К рассказам и легендам пемножко яви и фактов, чтобы на всю жизнь обуял тебя страх. Я вот полол, полол гряду с морковкой — она уже густенькая, морковка-то, — и что-то вроде бы шипит и шипит рядом. Я подумал — в ухе у меня, в брюхе или еще

где шипит, и никакого значения тому явлению не придавал. Тружусь. Хватить травинку, другую, морковку-то раздвинул, а на гряде серая змейка, свившись, лежит, нежится на солнышке в густой морковной ботве и за палец норовит меня сцапать. Я так хватил с огорода, что и сапожишко с меня спал. Пришли пареваны левонтьевские, сапог принесли, говорят, что змея-то заползла в сапог, дожидалась там, тварина хитрая, когда я ногу в обутку суну. С тех пор я — хоть в городе, хоть в селе, хоть в России, хоть за рубежом, хоть летом, хоть зимой — обутку-то хорошо потрясу, прежде чем обуться.

И дети мои при одном слове «змея» дрожмя дрожат, но внуки уж, слава Богу, ничего не боятся. Правда, они и змей, кроме как в телевизоре, нигде не видели, и я последний раз змею зрел лет двадцать назад в змеином распадке, что спускался на Усть-Ману. Глупая такая пестренькая змейка в траве ползала. Дети дачные клубнику щиплют, она тут же возле ягодниц шевелится, с интересом глазеет на них. Ныне в том распадке ни клубники, ни змей, ни бурундука, ни цветочка — все выпластано, скопано, дачами застроено.

А что ж ты это, друг сердечный, начал за здравие, а кончил за упокой? Эвон о каком вселюдном страхе разговор повел и к шуточкам съехал?! Нет, никуда не съехал. Просто до смерти надоело слышать, говорить и писать о бедах наших, хоть маленько хочется роздыху.

Наступила пора рассказать, как и за что были посажены в тюрьму мой отец, дед и дядя Вася. Да, да, тот самый, который Сорока. Я уже упоминал, что, на его беду, в год высылки дедовой семьи ему исполнилось шестнадцать лет. Большую, видать, он стал угрозу для бдительного государства представлять, вот его на всякий случай и изолировали да до осени и продержали в тюрьме без суда, следствия и выяснения причин. Затем сослали с отцом его, моим дедом Павлом, в Игарку. А дед Павел и отец мой привлечены были к ответственности якобы «за создание вооруженной контрреволюционной организации в селе Овсянка», и с ними вместе еще четырнадцать человек — организация ж, сила!

Спустя годы и годы я смотрел следственное и судебное дело, читал протоколы допросов и еще и еще поражался тому оглушительному бесправию, той оголтелой

среде, в которую попали и от которой тысячами, затем и миллионами гибли ни в чем не повинные русские крестьяне и рабочие мужики.

Но тогда, в 1931 году, еще велось дело, снимались допросы, делались записи, дознания, тогда еще персонаж, вершащий правосудие, обязан был представить законный вид и толк, перед тем как съесть ягненка. Позднее мужиков просто скороспешно уничтожали и задним числом составляли списки подсудимых. Пьяные от крови и вина тройки подмахивали те списки. Трупы, вымытые из реки Кан в пятидесятом году, так в спецовках и тлели, железнодорожники в мазутной одежде сохранились лучше других.

В тридцать первом году в красноярской тюрьме еще фотографировали подсудимых. Анфас и в профиль. Тогда еще выдавались казенная одежда, тюремные рубашки, шитые на косой ворот, и какое-то подобие курток или пиджаков.

Я смотрю и смотрю не отрываясь на хорошо сохранившиеся фотографии. Отец в реденькой, чуть выющейся бородачке похож на русского разночинца или на недоучившегося студента. Глаза его полны слез, на красивом лице щенячья преданность. Одетый в непривычную грубую одежду, без усиков-бабочек, без форсистой прически с пробором он особенно жалок. Ему двадцать девять лет, тюремная рубашка его не старит, но давит грубыми швами, сминает личность его нервную, развеселую, бешабашную.

Другое дело — дед Павел! Наголо остриженный, в щетинистой бороде, спекшиеся губы непримиримо сжаты, голова вознесена, зрячий глаз смотрит прямо, с вызовом — пуля литая, не глаз! Яростную его скорбь не унижает даже незрячий глаз, эта инвалидно смеженная, раздетая, беспомощная глазница. Он, именно он и есть организатор «вооруженной контрреволюции...».

Сын его, слабый, безвольный человек, оговорил отца и своих товарищей-односельчан. Что стоило его сломать? Ничего не стоило. Ломали не таких. Среди множества услышанных и вычитанных историй мне более других запомнился хвастливый рассказ одного костолома о том, как они терзали железной воли человека, еще дореволюционного подпольщика, и ничего с ним сделать не могли. Тогда в разнузданной ярости один мордоворот свалил допрашиваемого на пол, другой помочился ему на лицо, норовя

угодить струею в рот. И человек сдался, подписал все, что велели...

Почти всех овсянских злоумышленников отпустили из тюрьмы. Но не такова советская власть, чтобы взять да так вот запросто признаться в своей ошибке или в заблуждении. На всякий случай, «на сберкнижку», другим во страх и назидание, троих подследственных приговаривают к пяти годам: деда моего Павла Яковлевича, отца Петра Павловича и Фокина Дмитрия Петровича. Деду заменяют пять лет тюрьмы высылкой в Игарку к бедствующей семье, отца посылают на великую стройку Беломорканала. Дмитрий Петрович Фокин еще в тюрьме затемнился рассудком и, будучи отпущен по болезни домой, со страха, не иначе, стал скрываться в тайге и где-то там загинал.

Даже простым невооруженным взглядом видно, какое это липовое дело, о контрреволюционной-то, вооруженной-то, овсянской-то организации, которая не могла быть и тем паче иметь оружие. Да и организатор ее, мой дед, сидел уже в тюрьме, осужденный на два года за неуплату налогов.

Платить ему было не из чего и нечем. Семья мазовских пашни не имела, жила мельницей, огородом и скотом, который я имел удовольствие описать в этой книге. Мельницу отобрали, скот угнали в колхоз и уморили, семью из дома выгнали, и она шаталась по чужим углам, но когда нарастала революционная бдительность, надлежало карать не только мироедов-кулаков, но и их покровителей, значит, родственников и товарищей, проявляющих милосердие. Тогда жили раскулаченные по баням, сараям, стайкам, почти всю зиму и половину лета до выселения в Игарку неприкаянно шлялись семьями по селу, ютились по чужим углам. Почти все мужики-лишенцы, главы семейств, оказались за это время в тюрьме — не выплатили налогов ни по первому, ни по второму твердому обложению. Говорят, нечем. Но кто же им поверит? Вон домнинские, соколовские, платоновские чем-то ж нашли платить, раскопали кубышки, в огородах да на заимках спрятанные.

Все от мала до велика в селе знали-ведали, что родственники разоренных семей, еще способные кормиться самостоятельно, дышать и работать, изворачивались как могли, жили из себя вытягивали, чтобы помочь бедующим собратьям, иногда и родителям перезимовать, не по-

гибнуть, платили за лишенцев налоги, всякие займы и подати, неумолимой рукой налагаемые на села новой властью. Крепкие крестьяне многолюдного села впадали во все больший разор, и бедствия, последствия которых не можем мы исправить и по сию пору, потому как один русский дурак может наделать столько дел и бед, что тысяче умных немцев не исправить. Для мудрого, говорилось еще в древности, достаточно одной человеческой жизни, глупый же не знает, что делать ему и с вечностью. А если этот глупый с ухватками бандюги, оголтелый пьяница, да еще и вооружен передовыми идеями всеобщего коммунизма, братства и равенства?

Не хочется пятнать эту мою заветную книгу дерьмом, не для того она затевалась. Но все же об одном самом передовом коммунисте — осквернителе нашей жизни — поведаю, чтобы не думали его собратья и последователи из тех, кто живет по заветам отцов и дедов своих, что все забыто, тлену предано, былшем заросло.

Главным заправилой новой жизни в нашем селе был Ганя Болтухин. Не всегда, но все же Бог шельму метит. Мужичонка пришлый, самоход, пробавлявшийся случайными заработками, женившийся на случайно подвернувшейся бабенке из нашего села, стуча в грудь свою кулаком, называл себя почтительно Ганька — красный партизан. Какой уж он был партизан, никому не известно, но что человек пакостный, явственно видно и по морде, битой оспой, узкорылой, бесцветной, немытой. Если бы портрет этого большевика придумывать нарочно, то лучше бы и точнее оригинала ничего не измыслить.

Разорение села Болтухин и его помощники начали с нашего, нижнего конца, где жило в основном пролетарское отродье, пахлебники, и совсем немного крестьян, кормившихся пашней. Дядя Левонтий, кстати, как его ни склоняли к борьбе за лучшее будущее, за дармовой корм, за добро разоренных крестьян, не шел в коммунистический колхоз, упорно держался за работу на «известке» и ничем себя в смутные годы не запятнал, даже пить воздерживался, не бушевал более, семейство не гонял. Бабушка и тетка Васена говорили о нем с уважением, но отчего-то шепотом. Самой крепкой семьей на нижнем конце села, конечно же, считалась семья мельника, а какова она, какие ее богатства — я уже рассказывал. Село большое и потребности его разнообразны, много чего для житья крестьянину нужно, вот и обретались на селе, кор-

мились от дворов долбильщики лодок, столяры, бондари, кровельщики, печники, сапожники, строители, жестянщики, стекольщики, собачники (это те, кто давил собак петлей и выделывал их шкуры), самогонщики, знахари, колдуны, охотники, рыбаки, бобыли, даже поп — все-все они зимогорили в нижнем конце села, и лишь кузнец дядя Иннокентий Астахов, друг и собутыльник моего отца, какими-то судьбами оказался на верхнем конце села, где, заверяла бабушка Катерина Петровна, жили только «самостоятельные люди».

Советская власть плюс поспешание — так бы я определил крутость того достославного времени. В бесшабашной, даже удалой пока еще спешке активисты решали зорить село с домов и дворов, что поближе, чтоб неутомительно было ходить далеко.

Здесь же, в нижнем конце села, в освобожденных от «вредного элемента» избах обосновался сельсовет, правление колхоза имени товарища Щетинкина, клуб, потребителька, почта и другие общественные организации, которые, кстати, и по сию пору не изменили своего географического месторасположения.

Возле нашего села, раз оно расположено недалеко от города, на берегу проезжей и проплавной реки, всегда обреталось много всякого приبلудного народа, кто с «известки», стало быть, с заречной известковой артели, громко именуемой заводом, кто тес пилить пришел, кто что-то кому-то строить и застрял здесь, пропивши заработки, кто от обоза отстал, кто коня потерял, кто приплыл на плоту, сам не зная откуда и зачем, кто шел на заработки в город и на последнем рубеже, в виду уже города, приостановился отдохнуть, чаю напиться, по увлекся овсянской девачьей и подбортнулся к ней да и увеличил население села, иногда и в изрядном количестве. Но больше насकोком жили самоходы. Пошумев, поозорничав, утащат чего-нибудь и испарятся навсегда, оставив молодую бабу с ребенком, и когда от неумелости в тайге, когда на лесозаготовках или на охоте погинут, когда просто утерятся в миру, — и какое-то время спустя ссела и бабы достигали слухи: «Тво-во на базаре видели», «на пристане», «на сплаву», — но чаще всего вести докатывались с тюремного этапа.

Нежданно-негаданно, вроде дяди Терентия, являлся ко двору мятый, цингой порченый, беззубый человек и долго у ворот шамкал, объясняя взрослым детям и жене, что это он и есть истинный муж, хозяин, стало быть, и

отец детей. Гнали бродягу от ворот, и случалось, второй, уже настоящий, давно в сельсовете расписанный муж еще и накладет по загривку бедолаге. Чаше же со вздохом говорили: «Заходи». Второй, когда и третий муж затоплял баню, посылал за бутылочкой, и выслушивало тогда семейство такую историю человека, такой его ход по жизни, что и в три романа не уместить.

Случалось, оставался приبلудный человек при дворе и семье в качестве кого и сказать не знаешь. Что-то сильное делал в хозяйстве, пилил, подметал, помогал на сенокосе, на пашне и так вот проживал свой век или, оправившись от странствий, заводил себе бабенку, кулемал избушку и начинал жить «своим двором». Все эти приبلудные людишки были потом расписаны по кулацким дворам батраками. В уголовном деле деда Павла увидел фамилию первого мужа тетки Августы, которая сейчас вот, когда я заканчиваю эту книгу, умирает мучительно и тяжело.

Мало еще намучил ее Господь! Фамилия теткингого мужа была Девяткин, имя Александр. Как уж он улестил и охмурил молоденькую, голосистую, курносенькую Гуску, узнать нам не дано, однако про жизнь его непутевую я знаю и от бабушки, и от самой тетушки. Работал Александр куда позовут, гулял всюду, где вином пахнет, и однажды собутыльник со зловещей фамилией Убиенных взял и прикончил его. Вышли гулеваны во двор отлить, пристроились к ограде. Убиенных облегчительную процедуру закончил раньше Девяткина, взял палку, ударил его сзади по голове и попал в «шишку», как говорит тетка. Мужик охнуть не успел, свалился замертво, оставив молодую бабенку с сосунком, да еще, оказалось, и глухонемым. Убили Девяткина в двадцать восьмом году, в батраки деда записали в тридцать первом.

Все страшное на Руси великой происходит совсем как бы и не страшно, обыденно, даже и шутливо, и никакой русский человек со своими пороками по доброй воле не расстанется. Разорение села, угробление людей началось с шутками, с прибаутками. Как бы понарошку, как бы спектакль играя, во главе с Митрохой, Болтухиным, колдуньей Тришихой или неугомимой нашей коммунисткой теткой Татьяной в избу вваливалась компания человек из пяти — власть, понятия. «Здорово живем! («Кум, кума», или «дорогой соседushко», или «хресный и хресная», или «золотовушка», или «шуряк»)). Мы вот по делам пришли...»

— «Кто нонче без делов ходит? Проходите, садитесь, в ногах правды нет...». Конечно же, все давно знают, кто и зачем пожаловал, хозяева предупреждены, что поценнее спрятано. «Описыватели» же испытывали неловкое смущение — ведь век бок о бок прожили, и если бы не «хозяева», дети прилипал и сами пролетарьи давно бы с голоду и холоду околели иль в других местах ошивались. Христосовались в святцы по праздникам, в Прощенный день прощенья просили, болезни травой лечили, детей крестили, в тайге и на реке друг друга спасали, займы хлеб и деньги брали, женились, роднились, дрались и мирились — это ж жизнь, и каждый двор — государство в государстве, население ж его — народ. Братья во Христе.

Словом, начиналось недоброе дело в нашем пестром селе совестливо-туго, с раскачкой, редко кто решался на отпор, редко кто гнал со двора потешную банду, чаще, переморгнувшись с хозяином, сама шась в подпол или в погреб за грибами, за огурчиками, сам цап за дверку буфета или шкапа, а в шкапу-то она, родимая, томится, череду своего ждет, к застолью сзывает. Опись после возлияния и бесед соответственная: что хозяин с хозяйкой назовут, то и опишут. Все думали, может, обойдется, может, прокатит туча над головой: «Власть совецка пострачат-пострачат да и отпустит — она ж народная, власть-то, мы за ее боролись, себя не жалеючи...». И частенько, бывало, активисты-коммунисты и в подозрение впавшие соседи иль другие какие элементы, братски обнявшись, провожали по улице до полуночи друг друга, единым дружным хором исполняя: «Рив-валю-ущия огни-ным пламенем пронесла-а-а-ся над мир-ром гра-а-а-зо-ой, з-за сла-боду нарр-роднаю, во-ооо-олю ала кроф про-ооо-ли-ла-ся рр-ико-ооой...».

Погуляли, потешились, пообнимались, с активом поцеловались, в любви и братстве поклялись, но вот пришла пора и кончать спектакль, закрывать занавес.

Осенью, уже поздней, навсегда увезли попа. Ребятишки лезли на колокольную, куда им прежде ходу не было, балуясь, звенели в колокола. Чтоб звон не мешал спать, кто-то обрезал веревки, и колокола упали в прицерковный садик, в котором росли большие березы, пихта и еще что-то. Я бывал в этой церкви уже разоренной, поднимался по скрипучим, местами исхряпанным ступенькам. Пом-

ню хлам, ломь, ласточкины гнезда и голубей на страшной высоте, с которой довелось мне впервые обозреть окрестный мир и родное уголье. Не умеющий держать даже «теплого молочка в заднице», по заверению бабушки, я ей рассказал о церкви, о том, что в ней отчего-то все желто, все в пыли, сор на полу, на стенах углем написана матерщина. Я думал, бабушка надерет мне уши, но она положила мне тяжелую ладонь на голову и, глядя за окошко, за таежную даль, тяжело-тяжко вздохнула: «Как жить-то без Бога будете?...».

Но вот ныне преспокойно живет на месте церкви бывший руководитель районного масштаба, мелкий пакостник, ашаульник, ворюга. Конечно, как и все руководящие деятели этого уровня, осквернитель слова и дела Божьего, он прячется за плотным крашеным забором. Машина в гараже у него дорогая, на месте церковного садика и прицерковных могил теплица сооружена, кусты ягодные насажены, цветки поливает, телевизор с разодетыми внуками и детьми смотрит, губы кривит на современную политику, уверенный, что при нем она была правильной и качественней. Внуки, в иностранное одетые, собаку колли нежат, по селу прогуливают, жвачку пузырем надувают. Бог все терпит, ни пожара, ни мора, ни глада, никакого утеснения в житье и в совести в сей передовой семье не происходит...

Накатила вторая разорная волна на село — не совсем еще гибельная, но все же крутая, забирали имущество, выселяли из домов всех «меченых звездой» — часто на воротах и дверях рядом с крестом ставилась звездочка. И звезду и крест люди стирать страшились.

Пряча добро, отдавая родичам дещьжонки и что поценней, при первой описи люди и не таились особо, иногда даже показывали ямы, погреба, амбары, таежные избышки и заимки с тайниками. Эк торжествовали, эк ликовали прозорливые большевики, найдя упрятанное добро. «Да ты ж, курвенский твой рот, сам велел суда прятать!» — «Разговорчики! Поболтай у меня! Быстро пулю схлопочешь!...». У Митрохи, Шимки Вершкова, Гани Болтухина появились наганы, и они, грозно хмурясь, совали руку в карман. Даже тетка Татьяна кричала на дворе, чтобы все мы, прежде всех бабушка Катерина Петровна, слышали: «Вот выдадут мне наган, дак тады узнаете!...». И ребяташки ее и левонтьевские орлы тоже чуть чего — и загремят: «Вот выдадут мне наган...».

В те годы как-то незаметно рассеивался, исчезал куда-то сельский народ, частые случались похороны, торопливые, даже украдчивые, без отпевания, без поминок, без лишнего шума и слез. Долго лежала в неубранной постели, в недостроенном доме Акулина Вершкова: сама себе что-то кипятила, пила, шатаясь ходила до ветру за избу, потому как ни стаек, ни отхожего места на голом, рано опустевшем огороде не было. Как, когда умерла Акулина, где ее похоронили, кто хоронил? Исчезла женщина, и все. Осталось трое ребятишек и муж-гуляка с наганом, балагур, скабресник, часто он и не ночевал дома, наган терял.

Дом этот, без заборов, со свисающим из пазов мхом, с небеленой печью посредине, с недорубленными, наспех горбылем забранными сенями, с едва сколоченной оградой, но зато с парадно высящимися воротами, с резными ставнями, конечно же, сделался пристанищем левонтьевской и всякой другой братвы. Тут, в этом доме с выбитыми стеклами, твори Бог волю — можно было рубить, пилить, топить дымящую печку и варить чего Бог послал, материшинничать, но главное, можно позабавляться настоящим наганом, который у пьяного Вершкова из кармана выуживали ребята, да он и сам давал «поиграть курком». Здесь, в пролетарском приюте, парнишки показывали девочкам, а девочки парнишкам стыдные места, и здесь же мы впервые попробовали жареных грибов — шпеенов. Росло их, этих шпеенов-шампиньонов, за околицей, в логу, куда вывозили со дворов навоз, видимо-невидимо, и китайцы, приезжавшие из города за назьмом, показывали большой палец, чмокали губами, мол, съедобно и вкусно, учили, как грибы надо собирать и готовить, крошить, жарить с луком.

Когда первый раз мы нажарили этих грибов и наелись от пуза, то долго с напряжением ждали, кто первый помрет. Бабушка в ответ на мое сообщение о невиданных грибах ощупала мое брюхо, лоб и, как было часто в последнее время, загорюнилась: «Ой, робятишки, робятишки, совецка власть токо-токо накатила, а вы уж всякого сраму наимались и наелись. Дале-то чё будет? Чем жить, чем питаться станете? Ведь спaugубите землю-то, изведете все живое, траву стопчете, лес срубите и утопите. Ты погляди, погляди уж по селу да по берегу голой ногой не ступишь...».

Но не больно-то я вслушивался тогда в бабушкины слова, кликушество оно и есть кликушество, старушья

ворожба, старушки причуды — мели, Емеля, твоя неделя. Мы еще поживем, мы еще тряхнем все вокруг, и эту тайгу, и реку эту, и богатства проклятушие прокутим, и попа сивого за бороду с колокольни стащим. Э-эх, подрасти бы скорее да мотануть куда-нибудь, где шумно, где весело, где наганы выдают и бабушка не пилит с утра до вечера...

Мы и на выселения ходили гурьбой, норовили под шумок упереть что-нибудь, били покорных, не сопротивляющихся куркулят, не принимали их в игру, и дело кончилось тем, что совершенно трезвый дядя Левонтий собрал собрание в своем доме и сказал, что, если он узнает, что его орлы матросы или Витька дразнить будут и без того обиженных ребятишек иль принесут чего краденое в дом, он в кровь испорет всех и Витьку тоже, несмотря что сирота, и бабушка ему еще за это спасибо скажет.

Выселенные из домов богатеи всю зиму мыкались по селу. За это время в пустых избах были побиты окна, растаскана нехитрая крестьянская мебелишка, порублены на дрова заплоты, где и ворота свалены. Крушили, озоруя, все — лампы, фонари, топтали деревянные ложки и поварешки, били горшки и чугуны, вспарывали перины и подушки, кое-где даже печи своротили неистовые борцы за правое дело. По дворам валялись колеса, ступы и пестики, опрокинутые точила, шестерни от молотилок, крупорушки, старые шкуры, веревки, сыромятина, какое-то железо, подобранные хозяевами на всякий случай. В пустых избах блудничали парни с девками, на стыд и срам как-то сразу понизилась цена, в потемках, в глуши сиротских изб, невзирая на классовую принадлежность, сыны пролетарьев мяли юбки кулачек, кулацкое отродье лезло лапой под подола к бесстрашной бедноте. Работа у бабушки шла ударно, дни и ночи она со слезной просьбой полюбовниц, чаще их родителей, «терла живот» молодыцам. Шатаясь, заткнув от боли рот платком, удалялись блудницы из нашего дома под звук сурового бабушкиного напутствия: «Дорасшаперивасся! Изблудничасся! Семя из тебя кровью вымоет...».

Под окнами и на мосту под пляс и перестук каблуков с вызовом, охальством пелось возжигающее, на подвиг и последний срам вызывающее: «Девочки, капут, капут, как засунут во хомут, засупонят и е.., ноги кверху ж... внис, штоб родился комунис!».

«Весело было нам, все делили пополам!» — пелось тогда же. Отобрали, разделили добро и худобу, пропили, про-

кутили все. Ближе к весне малость унялась карающая сила. Плануя бросок за фокинскую речку, где затаился и по-малкивал самый коварный враг — наиболее крепкий и справный крестьянин, овсянские большевики собирались с новыми силами. В пустые избы, в разоренные подворья тем временем пробно, ночами, стали возвращаться хозяева. И как же были, выдирали на себе волосы бабы, обнаружив открытые и разоренные погреба, подполья с замороженной овощью, пустые сеновалы, стайки с засохшим пометом и мокрым пером, порушенную в доме рухлядишку!.. Казалось, никогда ничего не прибрать, не наладить в разоренном гнезде. Но эта ж контра-то, элемент-то вон какой живучий, несводимый, он же трудом своим чего угодно достигнет!

Я слышал рассказ о вологодском крестьянине, которого разоряли несколько раз принципиальные, непримиримые строители новой жизни. Когда упрямого, загнанного в самое болото мужика пришли кулачить в пятый раз — он повесился.

Нет на свете ничево подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с насседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками. Кинь по крошке кирпича — и Кремль наш древний со вшивотой, в ней засевшей, задавило бы, захоронило бы вместе со зверующей бандой по самые звезды. Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки.

И дождались!

Окрепла кремлевская клика, подкормилась пробной кровью красная шпана и начала расправу над безропотным народом размашисто, вольно и безнаказанно.

Ганька Болтухин ходил дни и ночи пьян, парочно, как заключала бабушка, не застегивал ширинку, чтобы показать, что наш брат демократ сраму никакого не имеет. Тетке Татьяне нагана так и не выдали, поскольку она обладала оружием более сильным — ораторским словом. День и ночь звала она на борьбу, приветствовала, обещала зажиточную, свободную жизнь и все неистовее кричала заключительные слова речи: «Сольем свой трудовой энтузиазм с волнующим окияном мирового пролетариата!» — сорвала голос, однако признаться в этом не хотела, уверяла всех, что напилась холодной воды, но горло у нее

пролетарское и скоро восстановится, тогда она во всю мощь, как велит родная партия, будет обличать и проклинать врагов социализма и коммунизма.

Подошла, подкатила весна тридцать первого года, первая весна коллективного хозяйствования, когда надлежало показать «трудовой энтузиазм» на деле, а не на слове. За зиму много чего было порушено, пропито, пала большая часть обобществленного скота, растасканы семена, бесхозно поморожены, погноены и стравлены скоту овощи — вечная и главная опора жизни нашего деревенского населения.

Конечно же, во всем виноваты оказались они, враги, которых, правда, заметно поубавилось. За зиму, поразобрав избы, умыкнулись наиболее крепкие семьи, уже не надеющиеся на справедливость властей, на законное решение вопроса с обложением, с коллективизацией. Да и какая может быть справедливость от непросыхающего одичавшего Болтухина с его шайкой? А таких болтухиных, как опять же глаголила моя боевая бабушка, было «до Москвы раком не переставить».

Из той поры на дно памяти тяжким балластом огрузло многое. Детская память, конечно же, колодец, и колодец со светлой водой, в которой отражается не только небо, не только все самое яркое, но прежде всего поразившее воображение.

А и было чему сотрясти воображение!

Праздники в годы коллективизации были особенно какие-то пьяные, дикие, с драками, с резней, с бегством по улицам, стрельбой, хрипением, треском ломаемых жердей, звоном стекол, криками, плачем.

В Пасху или в Первомай после раннего ледохода метет народ по берегу, несет толпою малого и старого, все чего-то орут, на реку показывают. И вот из-за Манского мыса, от займища среди кипящего ледяного крошева, суетящихся, друг друга обгоняющих, друг друга толкающих, крушащих, скрежещущих льдин выносит льдину белую, широкую, что пашенная полоса. На льдине сани с привязанным к головке конем, конь спокойнешенько сено ест, на санях, кинув ногу на ногу, мужик лежит и табак курит, вокруг саней и хозяина спокойно живет почти весь двор — собака, да еще и две (одна собака сидит зевает, вторая, рыжая, все бегаёт, бегаёт по краю льдины), на головке саней как на насесте куры сидят, иные чего-то в санях же поклевывают, цветочек там в горшке, фикус вроде бы,

чугунки, ведра, кринки, ухваты; коровенки же с телятником, поросят, но, главное, бабы и детей нету.

По всем правилам здешней природы льдину эту должно было сразу же от мыса попереть стремниной в реку, на простор, и ладно затрет ее там, а если вынесет к Каральному быку? Енисей эту льдину как окурочек выплюнет, сунет в каменную пасть унырка, тот хрусткой каменной пастью схрумкает, раздавит, искрошит...

Но все тогда шло нарастатур с природой, с Божьими правилами и велениями. Льдину притормозило на ходу, повертело, пощупало, малость пообкусало, закружило, закружило — да и вытолкнуло со стремнины в затишье, понесло к овсянскому берегу.

Народ заахал, закрестился, катится толпа по берегу, кто визжит, кто хохочет, кто советы мужику подает, кто велит в колокола ударить, забыв, что они сняты и побиты, кто-то икону принес, бегаёт с ней по берегу, реку закрепощивает, силы небесные призывает. Мужик же, лежавший в санях нога на ногу, с лагухой в головах, покосился на приближающийся берег, нехотя поднялся, подтянул штаны, прямо из лагухи, обливая заросшее лицо, попил браги иль пива, бережно определил посудину в головки саней, утерся и начал выступать. Грохотал, неистовствовал тот самый страшный ледоход, который случался по малой воде, по матерому льду, сорванному волной хакаса — ранней южной весны, — а с реки доносило патриотические слова: «Народ... смычка... как один... прозренье революционно... ход... вперед... пощады нету...».

— Вперед, токо вперед! — как Ленин, выкинув руку, показывал мужик вниз по течению, а там, ниже-то села, на слизневской косе, затор, лед ломает, громоздит горою.

Народу, вою, крику все прибавлялось и прибавлялось, но помочь мужику никто и ничем не мог. Никто, кроме Бога. Он следил, видать, за льдиной и за мужиком, подсунил льдину к берегу, тут в нее сразу десятки багров всадились, мужики и парнишки на льдину посигали, сани, лошадь, мужика волокут. Но еще раньше, пока еще льдина не сунулась в берег, кроша окрайки и трескаясь вдоль и поперек, спрыгнула с нее рыжая, почти красная собака, доплыла до берега ихватила к лесу.

— Волк! Хакасский волк! — шатнулась в ужасе толпа.

Пес же домашний, лопоухий, мирно сосуществовавший рядом с диким зверем на льдине, прошел, лап не замочив, и пачал крутить облезлым хвостом, знакомиться

с народом. Тем временем, не выдержав напряженного момента, поднялись на крыло и, кудаяхтая, полетели на берег курицы, одна из них, дернув отвислым задом, выронила яйцо, и народ снова заахал и закрестился: «Не к добру это! Не к добру!». Под шум, крик, аханье, оханье свели мужика и лошадь на берег, даже сани с рухлядишкой за оглобли стащили. Сойдя на сушу с совсем искрошившейся, в лоскутья белые изорвавшейся льдины, мужик как ни в чем не бывало продолжал пьяную речь:

— Пролетарьят в смычке с коммунистами даст невиданный лизурьтат...

— Тошно мне, тошнехонько,— взвыли бабы.— Повернулся мужик умом! Жапа-то, дети-то твои где?

— Движение, токо передово движение и мысля передова...

Мужики уже добрались до лагухи, в ней еще много было питья, лакали из посуды, в ковши и кринки наливали, пили сами и мужика не забывали. Он тут, на берегу, и свалился на клок сена, брошенного из саней, сверху его накрыли лоскутным, в середке пропревшим одеялом. Потом коня запрягли в сани, и по грязи он уволок воз с худобой в сельсоветский двор.

К этой поре долетела уже до Овсянки весть — да, смыло со льда под Ошаровым семью и избенку разобранную и приготовленную к бегству, но избенка — Бог с ней, дело наживное, но вот женщина, дети, корова...

— А может, оно к лучшему. Может, избавил Господь от мук и от горя ту бабу горемычную, тех детей...

Конечно же, этот злобный контрреволюционный разговор вели выгнанные из своих домов, назначенные к выселению из села кулацкие элементы.

После ледохода начали стремительно разбегаться и наши мужики и подкулачники. Кто как, кто на чем, кто с чем — чаще всего за одну ночь наши боевые мужики разбирали дома, амбары, стайки, вязали плоты, сколачивать боялись: явятся па стук «эти», освободители-то. К восходу солнца плоты уже были у речки Гремячей, выше городского железнодорожного моста. Оттуда они свозились за Качу или в Покровку и сикось-накось, без всякого плана и разрешения располагались на горе и под горою. Скоро не осталось за Качей места, начали вдабливаться и в сам Красный яр.

Когда власти хватились, за речкой уже оказалось целое поселение с кривою глинисто-красной улицей, кото-

рую новые моралисты нарекли именем великого философа Лассалья, спутав его с революционером мадьярского происхождения или со здешним героем-партизаном. Беженцы не выговаривали закордонного имени и называли улицу — Вассалья, так и на конвертах и на посылках писали. Ныне эта улица именуется Брянской, там развернули свое хозяйство красноярская линейная милиция, городской базар, кожно-венерический диспансер, еще какие-то конторы и конторишки. Домов крестьян, бежавших из сел, прижулькнутых к горе, почти не осталось, да и сама Красная гора от зимних испарений с Енисея и Качи и всяких других городских помойных выделений начала покрываться ядовитой зеленью иль сине-зеленой плесенью, смахивающей на купорос...

Второе выселение из домов в Овсянке было совсем тяжелым, случилась даже трагедия на этот раз. Я уже в одной из глав писал, как глухонемой Кирила платоновский, заступаясь за мать, зарубил городского уполномоченного. Все остальные мужики наши, такие боевые в драках, неистовые при лупцовке баб своих, лошадей и всякой другой беззащитной скотины, при крушении стекол в собственном доме, при стрельбе по маралу, забывшемуся в любовном гоне и на солонцах, по зайцу, по птице в тайге, слияли, как ныне говорят, в защиту свою не только пальцем не шевелили, но и пикнуть боялись.

Ныне известно, каким покорным многочисленным стадом брели русские крестьяне в гибельные места на мучение и смерть. Они позволяли с собой делать все, что хотела делать с ними куражливая, от крови осатаневшая власть. По дури, по норову она иной раз превосходила свое хотение, устраивала такие дикие расправы над своим народом, что даже фашисты завидовали ей.

Овсянские семьи поместили на плоты. Густой коровий рев отплывающих и провожающих оглашал гористую местность. Пришла кара Божия. В Красноярске кулачье загнали на горы. Марья Егоровна, дедушкина жена и моя бабушка, угодила с мазовским выводком — детьми и дремучим дедом Мазовым, уже тронувшимся умом, — за поселок Николаевку, на скотный выгон. Прабабка моя Анна умерла на Усть-Мане в клопином бараке сплавщиков, где проживал мой папа с мачехой. Папа той порой был в тайге, добывал для лесозаготовительного рабочего класса дичь. Прабабку в неструганой домовине сволокли на новый

пролетарский погост, свалили в неглубокую мерзлую яму, да тут же ту могилу и забыли.

В Николаевке загон был огорожен колючей проволокой. Ни столовой, ни уборной, ни воды, ни света, и никого никуда не выпускали, суля скорую отправку. Какое-то время к загону никого не подпускали. В загоне была вытоптана трава, и люди лежали вповалку, ходили по колено в грязи, в моче, в размешанном дерьме. Тучи мух, осатанелые стремительные крысы, кашель, понос, вши, кожные болезни начали косить этот никем еще не виданный лагерь, за который вроде бы никто не отвечал. Лишь выбирали, выдергивали мужиков, парней и уводили куда-то. Скорей всего загоняли сюда людей на короткое время, на несколько дней, но где-то что-то не согласовалось, может, в низовьях Енисея ледоход еще не прошел, может, у пароходства судов не хватало, может, и справку-бумагу какую-нибудь окончательную не подписали. Таких вот загон-нов тогда по стране были тысячи, и чем больше мерло людей за проволокой, тем большая победная радость торжествовала в народе, еще не угодившем за колючку. Однако люд крестьянского рода был еще крепок, не так просто было уморить, задавить его. Те же родичи с улицы Вассалья да из деревень, придя или приплывши, не бросали своих в беде, пронюхивали, где они бедуют, толпами валили туда с передачками, проявляя изворотливость, подмасливали, подпаивали охрану, делились хлебом, табаком, тайком уносили и захоранивали на николаевском кладбище замученных младенцев.

Прошлой весной военные люди на этом кладбище благоустроили травяной пустырь, где захоронены японцы, пленные прошлой войны. Японцы посулили нашему великому государству какие-то подачки, вот и пристигла пора проявлять, пусть и шибко запоздалую, гуманность; но когда же самая гуманная в мире власть, когда борцы за правое дело вспомнят о замученных русских младенцах? Хотя бы о младенцах! На всех загубленных русских людей не хватит никаких сил, никаких средств, уворованных у народа же, «обслужить» и обиходить убиенных!

За младенцев Бог первый заступник, не гневите Его!

Лишь за серединой лета вывезли из спецпереселенческих лагерей семьи раскулаченных на Север, где они частью повымирали, частью были еще раз репрессированы и постреляны за создание все тех же контрреволюционных вооруженных организаций.

Один ретивый работник красноярского НКВД отмечал погашенные, испепеленные гнезда повстанцев черными флажками, действующие же, подлежащие ликвидации — красными. И когда другой молодой сибирский парень, посланный работать в органы, увидел эту карту, то зачесал затылок: «Н-н-на-а-а, ничего себе дружественная республика рабочих и крестьян!»

Возле Ашхабада велись раскопки древнего городища, столицы Фирюзанского государства. Здесь жил большой, трудолюбивый народ, превративший свою землю в сад, жизнь — в сытое, мирное довольство, в то самое благоденствие, ради которого российские комиссары не жалели пуль и крови. На это государство нахлынуло монгольское войско. На долю каждого воина-завоевателя определена была норма — вырубить человек пятьсот-шестьсот. Уставши рубить, воин отдыхал, ел, пил, забавлялся женщинами и снова рубил, рубил. Фирюзанский народ покорно шел к своему палачу, выстраивался в очередь, подставлял головы.

В 1941 году попавшие в окружение советские воины, сложив оружие в указанном месте, бесконечной серой вереницей шли по дорогам. К вечеру движение замирало, немцы обносили толпу заранее приготовленной ниткой колючей проволоки, прикрепленной к стандартным кольшкам, строго наказывали, что ежели кто шагнет за ограду, того будут стрелять, и спокойно шли пить свой кофе, шнапс, ночевать без забот, заранее зная — редко кто решится на побег. Поскольку пленные были сплошь почти рядовые, а рядовых от века поставляла деревня, то вот она, на колени поставленная советской властью, забитая, запуганная, тупая масса крестьян, и оказалась так хорошо подготовленной для тяжелой доли пленного, нисколько, впрочем, не горше доли тех, кто томился и умирал той же порой в советских концлагерях.

Деревня наша рассеялась. Колхоз развалился. Вчерашние крестьяне стали ничем, потеряли основу жизни, свое хозяйство и сделались междомками. Где-то в Заполярном круге мыкались, умирали, приспосабливались к новой, неслыханной жизни сибирские крестьяне, и, что самое поразительное, часть из них, пройдя все муки ада, заломала эту самую жизнь, приспосабливалась к ней и приспосабливала ее к себе.

Жила в нашем деревенском переулке семья самоходо-федотовских. Семья совершенно бедная, рабочая и

по этой причине не желавшая вступать в колхоз. Федотовские выселялись из домишка, не имевшего даже заборок внутри дома, не подведенного под крышу, и, как я уже упоминал в одном из рассказов, один федотовский парень в путешествие отправлялся босиком, и якобы активист по прозвищу Федоран снял на берегу бахилы, бросил их парню на плот, заплакал и пошел домой.

Как в деревне, так и в ссылке деревенские люди держались союзно, продолжали родниться, куму звать кумой, кума кумом, откликались на беды, помогали делом, советом и копейкой друг другу. Выжившие семьи, которым разрешено было в Игарке строиться, обзаводились хозяйством, не только освоились на Севере и освоили его, но и зажили гораздо лучше, чем в далеком селе, из которого были выброшены. Заработки в карскую путину на лесозаводе и на рейде по тем временам были хорошие, товаров и продуктов в изобилии, рядом река, кишевшая тогда рыбой, лесотундра, захлестнутая ягодой, грибами. В порту и на лесозаводе спецпереселенцев обучали на всевозможных курсах нужным профессиям, и цепкий крестьянский ум быстро схватывал суть нехитрого лесопильного и лесопогрузочного дела. Так и шла жизнь по новой модели: одних стреляли, других учили жить по новому закону, о котором мой папа пел, приплясывая: «Как у нашего царя новые законы — начинают пропивать старые иконы...». Окрепла в Игарке и федотовская семья: построила дом, обзавелась двумя коровами, кормила свиней, держала свору собак, лодку, рыболовные снасти.

После войны, приехавши за бабушкой Марией Егоровной, иду я по Игарке и вижу — у бывшего здания второй школы, в котором расположился какой-то склад, сидит с батожком крупный седой старец. Я замедлил шаги, приостановился.

— Дядя Митрофан? Федотовский? Из Овсянки?

А он мне:

— Кажись, Витька? Мазовский?

Обнялись мы с ним. Старик провел по моему лицу шершавой рукой.

— Эх оне тебя разукрасили!.. И моих робят... Трех тама положили... двоих снвалидами возвернули... — Старик говорил, глядя поверх моей головы за Енисей, отстраненно и о чужеземных и о своих начальниках «оне», но безо всякого зла, с каким-то нашему народу только свойственным усталым, как бы уже обуглившимся горем.

Климатическое и географическое положение Игарки располагало к сезонному житью, действию и вынужденной сплоченности. Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло — в глухую зиму, когда всему замереть бы и остановиться, под крышами школ, контор, барачных, возле жарко натопленных печек шли не только картежные игры, которыми так истово увлекался дед Павел, но и велись занятия по музыке, готовились постановки, показывали кино, которое многие переселенцы тут впервые и увидели. Все игарчане, способные к столярному, слесарному, пилоправному делу, учили детей, при лесокOMBинате действовали курсы лесовозных машин, шоферов, медсестер, кочегаров, мотористов, рулевых. По улицам города, звонко брякая черпаком по обледенелым бочкам, катили полупьяные водовозы и золотари, на столбах кричало радио, в ресторане и в клубах играл баян, дети много читали, маршировали в военных кружках, изучали винтовку, кидали учебные гранаты и не зря учились — воевали потом, после первого провального периода, на фронтах как надо.

Даже наша самая мудрая партия, также не менее мудрое правительство оценили по достоинству игарчан и от удивления, не иначе, особым указом еще в 1945 году реабилитировали игарских спецпереселенцев, велели выдать им паспорта и отправляться кому куда захочется в пределах родной страны.

Очень и очень мало уехало. Остались в Игарке и федотовские, распавшиеся уже на несколько семей.

— Ну сам посуди, — говорил мне федотовский старик, — куды мы и к чему поедем? К избе без крыши? Да и ту, поди-ко, растаскали на дрова? Растаскали, вот вишь. И деревню всю порастаскали, и не только нашу Овсянку... Да-а вот. Тут-ока ж мы укрепились, робятишки грамоте какой-никакой научились. Узнали еду, даже сладку, лопотешку нову поносили, лисапед в семье, ради-ва на стене говорит, патехвон на угловике играет, еинвентарь для жисти необходимай накопился, могил наших с десятков в болотной тундре потонуло — словом перемолвиться, выпить есть с кем. Благодарить бы за это власти-то... — Дядя Митрофан вздохнул, поискал глазами батожок с заеложеной поперечиной, оперся на него руками и, снова глядя вдаль на Енисей, с коротким вздохом молвил: — Да чё-то не хочетца.

Вернувшись «на магистраль», бывшие спецпереселен-

цы обустройства, обживались капитально, везде умели добыть свой хлеб и копейку. За Качей на улице Лассалья одно время свалка была выдающаяся даже среди знаменитых красноярских свалок. Приезжаю однажды с Урала в гости — свалки нету. Дома стоят на ее месте, подсолнухи цветут, дети бегают.

Что за чудо на неприкаянной земле?

— А, кулаки, б... — со свойственной ей, как всегда, непосредственностью сообщила тетка Таля, закачинский «прокурор». — Приехали, навалились, разгребли городское дерьмо, обиходили землю — на те, советская власть, ишло один подарок трудового народа: вы нас морить, мы вас кормить...

Тогда же от тети Тали узнал я, что не всякий элемент недобитый являлся с деньжонками и добром к родным берегам, кто и с одной святой надеждой. Какая-то свояченица под названием Капитолина Васильевна прибыла из Игарки на берега Качи и Христом Богом молит «пристроить ее на Вассалья», поближе к родным людям», узелок развязывает, в узелке чуть больше тыщи старыми мятыми-перематыми деньгами, зато большие мечты простерлись вдаль дожить жизнь в своем углу и быть на погост унесенной из него же.

— Што на тышшу-то сделаешь? Место в горе выкопать токо и хватит, других площадей нам не припасено, вон даже свалка освоена вашим братом.

Но не отступать же! Препятствия и тяга к вспомоществованию ближним своим всегда утраивали силу и энергию тети Талину. Посоображала-посоображала она и перво-наперво купила на рынке у базарных джигитов дешевого вииа. Аж бочку! Дядя Коля привез с пивзавода несколько ящиков пива. Неблагоустроенные закачинские шаромыжники, вчерашние зэки, люди без паспорта и определенных занятий — все эти Мишки, Гришки, Цигари, Ухваты, Малюски и просто захожие мужичонки, — копали резво, пили резвей того, где-то узрели плохо лежащие материалы, привезли плахи, гвозди, кирпичи, цемент, да еще старых шпал вперемежку с новыми сбондили трудяги целую машину, проникшись сочувствием к одинокой женщине. Воссочувствовали они ей оттого, что сами были когда-то крестьянами, да потеряли семьи, жизненную основу и надеялись когда в новопостроенной избежке и ткнутся на ночь в непогоду. Большая мастерица выпить и поплакать, тетя Таля, поддерживая трудовой энту-

зиязм, выкатила из погребца еще один бочонок кислухи, и мигом была собрана, скулемана в глиняной норке халупа с банной крышей. Окно халупы, что было с рамою, радостно паялилось за Качу, на бурно кипящую жизнь краевого центра, борющегося за прогресс и высокую культуру. Одностекольное окошко, вмазанное прямо в глину, настороженным оком моргало вдоль улицы Лассалья, будто ждало чего-то из-за устья Качи, из забсдованных северных да-лей.

И дождалось!

Власти нагрянули! Пальцем грозят — незаконное строение, незаконное строение! Все в стране Советов всегда делается по закону по строгому, а тут прямое нарушение. Генеральный план градоустройства пренебрежен — р-раз! Строение не вписывается в общую атмосферу краевого центра и в конфигурацию улицы Лассалья — дв-ва! Строение не может быть охвачено благоустройством ввиду отсутствия к нему подъезда — тр-ри! Строение не обладает противопожарными средствами защиты — ч-четыре! Строение не застраховано, не согласовано, в горсхему не внесено, в реестры не записано, в бэ-тэ-тэи не зарегистрировано...

Как про бэ-тэ-тэи вымолвили, баба Капитолина и слегла, думая, что так нынче именуется энкавэдэ. Но битых баб во главе с закачинским «прокурором» — теткой Талей голой рукой не возьмешь, все они видели, всех победили вплоть до собственных мужей. В наступ бабы пошли, представительную комиссию отбросили за Качу, в руины старого базара.

Через шаткий мостик из-за Качи комиссия грозила прислать бульдозер и снести под корень не только строение бабы Капитолины, но и все это осиное гнездо, под шумок свитое, властями пропущенное оттого, что они, власти, не переводя дыхания боролись за справедливость на земле. Закачинские бабы все это не раз уже слышали, бабу Капитолину успокоили: покуль, мол, постановление о спосе вынесут, покуль бульдозер вырешат, покуль трезвого бульдозериста сыщут, хозяйка и век свой в избушке изживет.

Ан не далее как осенью гул по улице Лассалья раздался, железо загрохотало, мотор зарычал: от устья Качи, со стороны улицы Игарской — надо же и улицу-то с таким родным и проклятым названием для наступления избрать! — двигался бульдозер. Медленно, неустрашимо, как и

полагается большевистской силе наступать, пер бульдозер и в прах крошил гусеницами мерзлые глыбы, сминая рыжий кювет, выворачивая камни из земли. Дребезжали стекла в избах отсталого деревенского отброса, избежавшего в тридцатых годах справедливого возмездия грозной карающей руки, свившего паразитическое гнездо вопреки недреманному надзору властей. Недорезанный этот, недобитый, педотравленный, недовоспитанный, ушлый, увертливый людской хлам попер уже барахлишко в ямы и погребя, гнал скот в гору. Началась спешная эвакуация жеп, детей и стариков за Качу к своим, к знакомым горожанам. Лишь тетя Таля, хозяйка незаконного строения баба Капитолина да еще несколько недораскулаченных кулачек стояли скрестя руки среди дороги, преградив путь наступающей могучей машине. У «прокурора», как и положено прокурору, блуждала на лице надменная улыбка.

Бульдозер шел! Что ему эти бабы, эта улыбка, он каменные стены сносил, церковные стены рушил, в заповедных столбах гранит греб, братские могилы с костями и ошметками недогнанных расстрелянных людей загребал, клумбы с цветами сметал, подводы и автомашины с добром и ребятишками в кюветы сваливал, когда готовилось ложе Красноярского рукотворного моря, он...

Но лассалевские бабы с пути его победоносного не сходили. Бульдозерист сперва сбавил газ, потом выключил скорость, но все равно рычал мотором, из кабины понужая народ гигантским матом. Бабы не отступали, мужики, покуривая, из подворотен лыбились. Изнемогший в словесной борьбе бульдозерист спустился на землю и, поигрывая ломиком, пошел на баб. Начиналась дискуссия, однако еще не было такой дискуссии, чтоб закачинские труженицы не одержали в ней верха. Как и все бурные российские дискуссии, эта закончилась тем, что бульдозерист напился, плакал и говорил, что ему тоже народ жалко, что ни в чем он не виноват, и все этот гад Нечипоренко, прораб, взял вот его, всякого горя навидавшегося, и послал на такое антиобщественное дело, и он этому Нечипоренке непременно когда-нибудь набьет морду... Поздним уж вечером дядя Коля на телеге доставил бесчувственное тело труженика советской индустрии домой, в поселок энергостроителей.

Бульдозер стоял среди дороги, мешал автодвижению,

парнишки играли на нем в войну, изображая, что находятся на полях сражения в непобедимом красном танке.

Через неделю бульдозерист появился снова. Пеший, морду воротит. В дискуссии более не вступает. Разогрел костром машину, завел ее и решительно двинулся вперед, на избушку бабы Капитолины. Но только из-за поворота вышел — и отворился у бульдозериста рот, промаргиваться он начал, черным кулаком глаз тереть, от напряжения и страха даже вспотел, несмотря на холодную ветреную погоду.

На незаконном строении бабы Капитолины алел красный пролетарский флаг! Подле сволочного, антизаконного, скандального строения, скрестив руки на груди, стояли все те же бабы, все так же неуязвимо и победоносно улыбаясь. Бульдозерист еще яростней нажал на газ, еще грозней взревела машина, еще крепче зазвучало рабочее слово:

— Мне хоть флаг, хоть чё!..

— Давай-давай! — призывали его. — Жми-дави! Надругивайся над красным знаменем, обгаренным кровью рабочих и крестьян. А мы ты тут же сдадим куда надо, и поплывешь ты в те места, откуль Капитолина прибыла, на десять лет даже без права переписки, по статье пиисят восьмая...

Кто ж выдержит разговор про пятьдесят восьмую статью — народ в Сибири насчет этих статей шибко просвещенный. Бульдозерист воздел руки в небо, поматерился-поматерился, плюнул на мерзлую землю в сторону митинга и, люто гремя железом, уехал.

С тех пор на улице Брянской, бывшей Лассалья, никаких комиссий больше не появлялось, бульдозеры тоже не приходили. Вокруг избенки, рядом со строением Капитолины Васильевны, превращенной со временем в стайку для свиней и кур, образовался выводок строений, по-за домом выбит был в рыжей горе даже огородишко. Ныне все почти строения на исторической улице снесены, все застроено солидными законными помещениями, выводок бабы Капитолины пугливо вжался в гору, живет себе, вечерами телевизорной голубой полоской беспечно в щели ставен светится.

Всякий раз проходя или проезжая по Брянской улице, я думаю, что так, видно, никуда не внесли, в бэтэи не зарегистрировали это поселение, но, может, и по причи-

не, самих нас удивляющей — нашей неистребимости, — живо еще оно, да и мы вместе с ним живы.

После разорения села и крушения колхоза имени товарища Щетинкина его организаторы и разорители никуда не делись. Лишь отъехала Татьяна-активистка в город, работала на нефтебазе неподалеку от железнодорожного моста, там и век свой кончила. Дети ее разбрелись по земле, многих уже и на свете нет. Посланцы партии на выручку колхоза имени товарища Щетинкина тоже слиняли куда-то, а наши деревенские деятели, посуетившиеся на руководящих постах уполномоченными, десятниками, бригадирами, милиционерами, заготовителями, завхозами, кладовщиками, затем сторожами в магазине, истопниками в школе или на сплавном пикетном посту наблюдателями, постепенно старели, опускались и уходили в мир иной, оставив круги в грязной луже, которую сами и палили всевозможной нечистью.

Самой запоминающейся фигурой оказался и здесь Ганька Болтухин. Скулемав избушку из леса-жердника на месте вражеского мазовского гнезда, он спьяну произвел выводок больных и агрессивных детей. Пили и буянили они с самого детства. Старшой из парнишек уже в шестнадцатилетнем возрасте изнасиловал на Достоваловском острове пионервожатую, произведя это боевое действие прямо на глазах у советских пионеров. Тогда еще не было у нас видео, новой волны отечественного кино, дискотек, интеллектуальных встреч, возжигающего нижние чувства танца ламбады, и оттого пионеры не проявили здорового освежающего любопытства, не пришли в восторг от сцены изнасилования, они с воплями бросились врассыпную, созвали гуляющий по острову народ, который и повязал овсянского сладострастника. И пошел он по тюрьмам, появляясь на короткое время в селе, чтобы совершить новое преступление и отправиться «домой». В один из кратких отпусков под крышу отчего дома братья Болтухины совместно с родным племянником хором изнасиловали малолетнюю сестру, и она помешалась. Потом старший сын зарубил своего дядю. самого старшего, уже при моем житье в Овсянке, зарубил сын дяди, значит, его племянник. самого же племянника не то зарубили, не то резали уже «на химии», где-то в таежных даях.

Между тем сам большевик Болтухин и его жена Екатерина, Каткой все привычно ее кликали, жили как ни в чем не бывало. Главная их задача была добыть выпивку.

Иногда Катька и ее дочь паряжались белить и мыть избы, копать картошку, нанимались куда-либо уборщицами на время и заработанное тут же пропивали. Но чаще всего они все-таки выпрашивали, сшибали на выпивку, ничем уже не брезгуя, никаких преград не зная.

После войны на окраине нашего села были построены столярные мастерские. Инвалидкой звали это заведение, оттого что работали там сплошь инвалиды войны. Делали они оконные рамы, косяки и двери, кое-какую нехитрую мебелишку, но чаще гробы и кресты строга́ли. Об инвалидах была проявлена единственная осязательная забота: чтобы не ходить им далеко пропивать получку на костылях, не катить на тележках, не утруждать поврежденные кости, рядом со столяркой построили пивнушку. Ребятня написала на ее стене «Ромашишка». Кинокомедию тогда отечественного производства показывали, и в ней влюбленный в русскую девушку героический летчик-союзник, эдак вот называл полевой наш цветок, даря его юной участнице войны. В этой «Ромашишке» инвалиды сплошь и поспивались, дойдя до клеев, химических препаратов, употребляемых в деревообработке.

Вся деревенская нечисть и ближних рабочих поселков толкалась в «Ромашишке» с утра и до вечера. Впереди, конечно же, как всегда, коммунист Болтухин. Он допивал из кружек. Случалось, кто-нибудь из недорезанных и недобитых куркулей, чаще их родичи или дети, брали коммуниста Болтухина за грудки, крошили на его замызганной телогрейке последние пуговицы: «Ты, кур-ва, помнишь, как зорил наших, голодил их, обирал, теперь у меня же допить просишь?» «Помню, помню. Как не помнить. Дурак был...». Ему плевали в кружку, и он, не брезгуя ничем, пил, валялся, обнявшись с инвалидами, возле пивнушки. На партучете он с началом строительства ГЭС состоял на деревообрабатывающем заводишке, что пилил и еще пилит брус для нужд социалистического хозяйства. На этом заводишке работала моя двоюродная сестра и по поручению парторганизации собирала партийные взносы. Болтухин никогда никому ничего не платил, он только брал, взимал, отымал. Вызовут его на завод, он партбилетиком черный, затасканный, с отклеившейся карточкой шлеп на стол. «Ну что же делать? — рассказывала сестра, все детство росшая на картошке, чаще на мерзлой, и к пенсионному возрасту ставшая воистину инвалидом, полным. — Старый большевик, почитать полагается, их в школе

в пример ученикам ставили. Начну собирать в конторе по двадцать копеек, чтобы заплатить взносы за Болтухина, кто дает, кто ругается, клянет его...»

Приехал я как-то в деревню. Иду по берегу, смотрю: сидят Ганька с Катькой на бережку на камешке, где и в молодости сиживать любили, вдаль за Енисей смотрят. Он, как в старые годы, несмотря на летнюю пору, в подшитых валенках, в шапке с распущенными ушами, в шубенке с оторванным карманом и лопнувшими рукавами. Она в телогрейке, в полушалке.

— Да что Витька мазовский, ли чё ли? — жизнерадостно приветствует меня Болтухин, Катька тоже заулыбалась ущербным, почти беззубым ртом. — Петра-то живой ли ишшо? Поклон ему сказывай.

Как возможно сердиться на таких людей? Господь и без того наказал их жестоко — запившись до потери облика, Болтухин уже мочился под себя, пах псиной и однажды свалился под окнами своей избенки да и замерз. Катерину парализовало. Она валялась в избушке совсем заброшенная, догнивала во вшах и грязи, лишь наши, опять же наши деревенские бабы, не помнящие зла, выскребут ее, бывало, из грязного угла, из тлеющего тряпья, снесут в баню, оберут с нее гнус, вымоют, покормят. Она им про Господа напомним, поблагодарит, поплачет вместе с ними.

Однажды, уже после смерти обоих супругов Болтухиных, постучал ко мне незнакомый человек. Маленький, с круглым морщинистым личиком — кожа на нем не вызрела и напоминала пленку куриного яйца, на котором из-за недостатка корма не образовалась скорлупа.

— Внук красного партизана Болтухина, — беспрестанно подергивая кругленьким маленьким носиком, представился он.

— Откуда же вы приехали? И что вас привело ко мне?

— Из Крас-рска. Раб-таю на хмыр-зводе, — скороговоркой сыпал он, сглатывая середину слов. — Ударником работаю. Хочу, шб написали книгу о дешке. Героичскую книгу. Дешка мой — герой-партизан.

— Это конечно, хорошо, что вы ударник труда и душака ваш — герой.

— Я не ударник, я работаю ударником...

Долго мы толковали с внуком Болтухина, пока я наконец уяснил, что он работает ударником, то есть бьет в барабаны в джаз-оркестре в Доме культуры одного из красноярских, как он произнес, хмырь-заводов.

Дочь Болтухина и внучка его, поврежденная умом, долго жившие в избушке на месте нашего родового гнезда, все же завершили путь к своему и нашему полному исчезновению. Недавно они поднялись наверх, в рабочий поселок, отдав избушку свою, но, главное, приусадебный участок, за комнатенку в полусгнившем бараке и какие-то деньжонки, которые тут же и пропили вместе с мужичонкой, прибывшим из мест, от Сибири совсем не отдаленных, и прилипшим к изнахраченной девчонке, которая неожиданно для болтухинской породы вымахала в крупную и красивую бабу.

По безалаберности жизни земля возле болтухинской избенки одичала, здесь появился осот и, как полагается заразе, расползся по всему селу. Но в палисаднике росли старые яблоньки, и дивно цвели они летами, зимою питали яблочками птах, на приусадебном участке выросла криво саженная и оттого криво сидящая ель, и, что кустодиевская купчиха, раскинула она подол по земле, вольная, пышнотелая. И еще в палисаднике росла редкостная саранка, одна себе, в тени, но на жирной почве раздобрела. В талину толщиной, шерстью по стеблю, словно изморозью охваченная, восходила она уже за серединой лета и такие ли ясные сережки развешивала! «Это душа всех мазовских погубленных младенцев единым цветком взошла», — сказала мне уже древняя наша соседка. И я подумал, что две мои маленькие сестры, умершие в доме деда и прадеда, тоже двумя сережками на пышном стебле отцвели.

Хваткий мужик из современных новопровозглашенных хозяев жизни и радетелей перестройки пришел с бензопилой и бульдозером, сгреб все под яр, свалил ель, испилил ее на дрова, везде посадил картошку, слепил тепличку, привез пиломатериал для нового, основательного дома, вырыл глубокий котлован, собираясь жить и строить с размахом. Хватит баловать! Хватит в коммунизм играть! Хватит кустики да цветочки садить — никакой от них пользы нету, никакого плода!

Исчез еще один род на русской земле, род по прозвищу мазовский, даже место его стерло с лица земли. Но какие-то мои однофамильцы из разных концов России, тоже разбитые, рассеянные, нет-нет и пришлют мне письмо с рассказом о своей семье и с вопросом — не родня ли мы? Да, да, все мы, русские люди, родня, и однофамильцы мои — достойные доброй памяти и доброго слова родственники.

Николай Игнатьевич Астафьев из волжской саратовской стороны поведал о своем боевом пути на войне и о том, что его предок некогда выехал на новые земли за реку Енисей, из хутора под названием Астафьев из Баландинского района, попутно еще и сообщил, что фамилия в переводе с греческого *Aslafi* значит устойчивый; что в центре Парижа есть однофамильный собор, что астафьевские морозы на Руси незлобны и добры, бывают они на исходе зимы и заканчиваются теплом.

Смотрю в окошко через переулок. В огороде ковыряется глухая баба Ульяна, из-под серенького платочка сигарка торчит. Нездешняя она. Из зоны затопления Красноярского водохранилища с мужем прибыли и соседнюю избу приобрели да и копошились на земле, вели домишко как умели. Баба Уля человек не только курящий, но и много читающий. Деда Дима не курящий был и не читающий. Болел он тяжело, операцию почти смертельную перенес, работой и землей отдавал свой конец. В сорок втором году на фронте вступил он в партию и на учете состоял все на том же богоспасаемом дозе, то есть на овсянском деревообрабатывающем заводике, туда и партвзносы с пенсии платил. Ему говорили: «Выплатите за полгода взносы, чего вам в такую даль тащиться». Нет, он каждый месяц плелся на завод. Поговорить деду Диме охота, с людьми пообщаться. Нацепит он медали на пиджак, привинтит орден Отечественной войны, за просто так всем нам выданный Брежневым, — там орден, себе Золотую Звезду Героя, чтоб «незаметно» было. Стоит деда Дима час, два у ворот, иногда меня изловит, иногда соседку, в магазин за хлебом сходит, с бабами покалякает — и все тут его общение заканчивается, людям некогда.

Зимней порою отправился деда Дима на завод, взносы партийные заплатил, поговорил не поговорил, развлекся не развлекся, теперь уж не узнаешь. На обратном пути его прихватило, упал на мостике через фокинскую речку. Какой-то добрый человек еще нашелся в наших сознательных рядах, подобрал старика, домой привез. Тут он и скончался ввечеру. Бросилась баба Уля к соседям стучать, голосом кричать, никто ворота не отпирает, никто на голос не отзывается, кроме собак. Лишь вечный тюремщик-громил, на старости лет покончивший с позорным прошлым, откликнулся на зов страждущей, заругался: «Да што мы, хрепшюные или не хрепшюные?» — и пошел помогать бабе Уле.

Хоронили деда Диму скудно, никто с парторганизации, часто посещающейся аккуратным коммунистом, не пришел на его похороны, ни веночка, ни цветочка братья-коммунисты на могилу его не положили, с завода ни машины, ни автобуса не дали. Билась баба Уля одна-одинешенька, да какие-то дальние родственники хлопотали.

Всем нам в укор и в назидание жизнь и кончина деда Димы, да и его ли только. А баба Уля теперь одна за оградой копошится, серый дым из-под серого платка валит — папирос нету в продаже, на махорку старушка перешла. Нынче многие гробовозы, как и в старину, табак в огороде посадили. Еще и скот заводить будут, и детей труду учить, и хлеб выращивать, и печи класть, и валенки катать, и рубахи починять, и...

Изнежила нас советская власть, но она же обратно и уму-разуму научит, самим кормиться и обстирываться придется. Тогда и жалобы некуда и не на кого будет писать, митинговать не об чем, что, как встарь, дома на печке поорешь, окна разобьешь, бабе фингал поставишь, так сам потом и окна стеклить будешь, с бабой мириться и самого себя казнить — погодь-погодь, российский человек, докличешься свободы, сам с нею и управляться станешь, а она — ох кобыла норовистая, того и гляди до смерти залягает.

«Еще одно, последнее сказанье» — рассказ тетушки Августы о том, как умирала и умерла моя беззаветная бабушка Екатерина Петровна.

Лежа в избушке по-над фокинской речкой, слепая и до того худущая, что комары ее не кусают, боясь сломать хобот, как шутил покойный дядя Кольча-младший, часто одинокая — у всех дела и заботы свои, все заняты хлопотами о пропитанье, как раз наступила огородная пора (еще в прошлом году пыталась тетка брать на ощупь малину с огородных кустов, нащупывала и срывала огурцы, самые хрупкие, уже перезрелые только ей давались, теперь вот смерти молит, а та не торопится, терзает человека), — запавшим, беззубым ртом, с обнажившимися, как у всех наших к старости, скулами, с совершенно отлично, как опять же у всех наших, сохранившейся памятью, бабушкиным голосом тетушка вещала:

— Вот и мама так же. Вырастила дюжину нас, дураков, а голову приклонить не к кому. Апронька за стеной, в другой половине дома, жила, так у нее свои дела: надо в огород, надо на базар лучишко, огурчишки продать, пен-

зии у нее на погибшего на войне Пашку пошто-то не было, осударство нам еще тогда пензий за старость не давало. Вот я отволохала на лесозаготовках, на сплаву, на базайском деревянном заводе, дак мне пенсия сперва вышла сорок восемь рублей, потом набавка, и я пятьдесят четыре долго получала. Потом, при Брежневe, ишшо набавка — и восемсят четыре стала получать, нонче аж сто семисят рублей! Я и деньги не знаю куда девать. Куда оне мне? Зачем? В гроб положить? — Силы на весь рассказ не хватило, Августа закрыла глаза, и делались видны круглые, на темные очки похожие глазницы. Я подавал ей питье. — Ты ишшо не уходишь? Посиди. Успешь к людям.

Надо заметить, что при других людях, даже при своих детях, она почти ничего не рассказывала о себе, пошутит через силу, поговорит о сьгодняшнем, поругает внуков, забывших ее, — и никаких воспоминаний. Может, я действительно внимательный, достойный слушатель? Да нет, как и все мы, нынешние граждане, вечно куда-то спешащий тоже. Скорей всего тетка пыталась удержать хоть на время подле себя живого человека.

— Апронька ж заполошная. С вечера соберет на продажу котомку с огородиной, чтоб наране в город учесать, и от волнения у нее понос. Всю ночь и бегат, почту носит. Утром в путь-дорогу — не ближний свет: двадцать верст туда и двадцать обратно, в городе ишшо милиция гонит, лучишко не дает продавать. Что как расейская баба богатой сдедается, в капиталиски выйдет? Мама ей стучит, стучит в стенку — не достучится. Я жила тогда — вот опять ругаться будешь, что простодыра, что из дому ушла, из большого и хорошего, в дяди Лукашину избушонку. А я те скажу весь секрет, чичас вот токо и скажу: семенную картошку мы съели. Вот что было-то. Девчонки плачут, ись просят, я с работы прибегу и в подпольишко, кажну картошшонку в руках подержу, пощупаю, поглажу, ко груди прижму, покуль в чугунок-то положить, картошинка по картошинке — незаметно и съели семена. И все уж променяли и проели. Садить в огороде надо, а печего. И тут оне, благодетели, миня и скараулили, шкандыбают два начальника, Митроха и Федор Трифионович Бетехтин, пятьсот рублей мне да куль картошки за переселение, место уборщицы в этом же доме, где магазин наладились открыть...

Тетка забылась, скрестила руки на груди, исхудалые, с широкими плоскими кистями, с так и не сошедшим до

локтей загаром. Пальцы у нее все в узлах и узелках, с провалившейся меж косточками плотью, с истраченно выступившими жилами цвета спитого молока. Забылась? Спит? Померла? Лицо отстраненно и вроде бы как сердито. Но нет, не спит, не померла.

— Отсадились. Едовая трава пошла, щавель, черемша, жалица, медуница, петушки, сарапки потом и пучки. Девчонки черемши в чашку накрошат, водой залиют, посолят, хлебают и черемшой же прикусывают — хлеб, говорят... О, Господи! Господи-и! Ягоденки пошли. Менять земляницу на хлеб начали в совхозе и на дачах у баров у советских. Мама хоть и близко, но выдаемся вечером, всегда на бегу да на скаку. — Тетка не отвернулась, а, глядя мимо меня в пустоту, пошарила по халату на груди, совсем иссохшейся, собрала его и вдруг спросила: — Счас чё, ночь или день? А число како? А-а, как Ильин день придет, тятю-то помяни. Он завсегда в этот день посылал нас картошек накопать. Первых. Ах какие же картошки с новины вкусны были! И тятя у нас хороший был, смиренный. Никого из нас никогда пальцем не трогал, а мы его боя-аались! Мама раздавала шлепки направо и налево, и ничего, ровно так и надо, получил, отряхнулся и живи дальше... А знаешь, мама-то кака в старости приспособлена стала. Прихожу один раз, у нее в сених картошки на полу ровню маслом намазаны. Я не сразу догадалась, что она уже обесилела, воду с Енисея таскать не может, а ведь по тридцать пять коромысел натаскивала, бывало, за вечер — на варево, питье скотине, когда поливка в огороде, баня, даже и не пересчитать тех коромысел. И вот она овощ рано паутре в траву высыплет да граблями ее, граблями катает, эдак вот в былках росой намочет. Господи! Да прости ты всех нас непутевых ее детей и внуков!

Тетка закашлялась в плаче, прилегла, подышала, утерла платком незрячие глаза и снова повела буднично, ровно свой рассказ:

— С теплого места, из уборщиц, меня скоро выжили, и опять я на сплав подалась. Девчонки по дому управляют, варят чего Бог пошлет. Апронька бегат, дрищет да копейку зашибат. Кольча и Марея на баканах, Иван Ильич и сам уж старый. Ты где-то далеко, на Урале застрял. Никому нет дела до мамы. Катанки у нее были, мало еще ношепы. Вот она придет в нашу избушку, покомандует девчонками — боле-то уж некем командовать. Рассеялось войско! Покомандует-покомандует и говорит: «Гуска, од-

нако я катанки продам. К зиме ближе продам, чичас кака имя цепа?» Назавтре явится: «Нет, Гуска, всю я ночь думала и решила: катанки продавать не буду — что как зима люта придет, я в ботиках стеганых и начну лапки поджимать, как воробей. Не-э, пусть уж катанки при мне будут. Я их в изголовье положу — вдруг какой лихой человек...» Посидит, посидит, на девок покыркает — уходит-то неохота. «Гуска, тебе тот каторжанец-то письма присылат?» — это она про тебя спрашивает. Реденько, говорю, но пишет, всегда поклон тебе передает, приехать сулятся, как с женой обживутся и деньжонок подкопят... «Женато у него хоть не пыюшша?» Не пыюшша, не пыюшша, говорю. «И не курит?» И не курит, говорю. Из рабочей семьи она, и починиться умеет, и состряпать, и сварить. «Ну ладно, ковды так. Пушшай ему Бог пособлят. А то я думала: как в прежнее время голову-то завернет, запоет, зальется, про все на свете забудет, и кака-нибудь Тришша подхватит песню-то, и споются, чего доброго. Без бабушкиного благословенья женился, мошенник! Ну ладно, пошла я. Спите с Богом, почуйте со Христом да дверь-то на крючок запирайте!..» Да че, говорю, у нас воровать-то? Ребятишек? «Воровать не воровать, а завернет какой охальник вроде Девяткина, и не отобьешься. А у тебя звон какой выводок настряпан»... Постоялицу она на квартиру пустила. Хороша, молода девушка, в сплавной конторе работала. Серединой лега свалилась наша Катерина Петровна — совсем ногами ослабела, и сердце у ней шибко-шибко стало болеть, никаки уж капли не помогали. Ухо ко груди приложишь — совсем ниче не слышать, потом как под гору на телеге — тук-тук-тук...

Тетка говорила про бабушку и не знала, что ее изработанное сердце каталось так же срывисто, как и у бабушки когда-то, ударит раз-другой да и закатится куда-то в глубь, и долго-долго ничего, никакого эха не возвращается назад.

— Приступ у мамы вечером начался. Трясло ее шибко, мы отваживались, как могли, она кричала: «Илья! Илюшенька! Возьми меня к себе... Измучилась я. Возьми!..» Утром перед сменой я забежала к маме, она слабая, завялая вся. «Причеши меня,— говорит,— умой да водички поставь на табуретку». Я говорю, может, мне отгул взять, штоб с тобой посидеть? «Какой те отгул? Кто за него платить станет? У тебя робятишки, да и постоялица сулилась из конторы прибежать, меня попроведать...». Работаю я

на рейде, багром орудую, мама из ума не идет. Смотрю, постоялица по боне чешет — у меня и сердце оборвалось. «Тетя Гутя, тетя Гутя, бабушка, кажется, умерла...» Прибежали мы. Лежит мама на правом боку причесанная, прибранная — как я ее оставила в таком положении, так она скоро после меня и преставилась, без причастия и соборования, молиться, правда, старушки-подружки молились за нее, чё-то шептали. Похоронили маму рядом с тятей, как она того и хотела, поминки справили, все честь по чести, хоть и время тяжелое было, тебя на похороны ждали, да вишь вон, не живи, как душа просит, а живи, как судьба велит...

Мать моих внуков, моя дочь, родилась в тот год, когда умерла бабушка,— природа восполнила потерю, но кто когда восполнит наши потери, утишит боль и тоску в нашем сердце?

Я поднимаюсь и ухожу к себе. Дела. А тетка смотрит вослед шагов.

Еще когда Кольча-младший, дядя мой, живой был, сходит вечером до ветру и посмеивается, вернувшись: «За речкой собака лает, видно, Гуску опять медведь дерет!» Отшутился дядя, отгулял, отволохал, отдыхает среди деревенского народа, вот и сестра его туда же собралась.

Сижу средь родного села, куда всю жизнь стремился в неосознанной надежде найти здесь маму, бабушку с дедушкой, детство свое и все, все прошлое. Нынче весной уехал в Вологду мой внук, туда, где он родился и жил, рвался со внутренней дрожью, с горящими глазами и все с той же, что и у деда, надеждой: найти дом, в котором он рос, на том же месте, в нем — живую мать, подростков друзей, деревья чуть выше головы и город все такой же добрый, белый, тихий.

Какие горькие разочарования ждут его!

Разве вернешь то томительное, сладкое ощущение приближающейся весны, незнаемое, кстати, в благостных полуденных странах. В этом ожидании тепла и солнца, радости их пришествия кроется то чувство, что рождало нашу русскую складную поэзию, вызванивало голоса наших российских певцов!

Для меня весна в детстве начиналась с первого яичка. Еще на дворе едва отпотело, на сугробах выступил мусор, опилки, деревянная кора, былки сена, по двору шляются куры с бледными гребнями, копошатся, крыльями обмахиваются, выбивая застоялую пыль из перьев, петух, взняв-

шись на цыпочки, пробный голос подает, и однажды на всю округу вдруг закудахчет курица. Гнезда, где несутся курицы и в котором непременно оставляется одно яичко для положительного примера и указания рабочего места, еще нету. Первое яйцо курица кладет где попало, и вот его всем домом ищут, ищут, ищут, ищут и найти не могут, а я только на сеновал взойду — и вот на тебе, тут же его и найду! Яйцо-то в уголке, на теплой трухе прошлогоднего сена, — и с воплем радости к бабушке, держа в ладонях как награду за все зимнее долгое бдение это живое творение природы, греющее детские ладошки нежным теплом. «Ой, робяты, какой у нас Витька-то глазастый! Какой молодец! Все мы полоротые ходим, ходим и яичка не видим, он вот и нашел! Ну-у, кожды так, значит, перьво яичко добытчику перьвому и исти...»

Дядя Кольча-младший, колхозный бригадир, еще и добавит: «Я эту хохлатку на доску почета занесу как ударницу!...»

Нынче новое поветрие — куриц на селе почитай что и нету, коли у кого есть, со двора не выпускают, потому как шоферня и мотоциклисты норовят во что бы то ни стало свободно гуляющую птицу задавить, на аварию ради этого пойдут и, пока не задавят, не успокоятся. Вот какая ретивость, вот какое развлечение у нас на селе нынче.

Леса вокруг села, на горах и даже на скалах выжжены, оподолья обрублены под жалкие дачные участки. Река обмелела, вода в ней холодная и безжизненная, по дну стелется зеленая слизь водяной чумы. Выродились ягоды и пежные цветы — от зимних туманов, наплывающих с реки, от кислотных дождей, опадающих с неба, сорок самых распространенных и нежных растений исчезло из лесу и с полян только вокруг села. Исчезли и наши чудные деревенские и лесные поляны, под корень срубаются пригородные леса — буйствует дачная стихия. Человек, российский человек, не вынеся города и его промышленного ада, зигзагами, в судорогах, в панической спешности возвращается к земле, осваивает пятачок свой, лепит избушку из ворованного стройматериала с претензией на какой-то терем или заграничную аристократическую виллу. Вчерашний крестьянин, отравленный городом, играет в землю, в пресыщенного богатством и благами высокомерного богача, но получается пока из него ничтожный собственник ма-а-ахонького царства, готовый урвать хоть шерсти клоч с паршивой овцы, то есть с государства на-

шего захудалого, нажить жалкую копейку своим одиноким, первобытным трудом.

Село Овсянка населено каким-то праздным, вялым людом. Здесь триста душ пенсионеров, столько же шатучих, ни к какому берегу не прибавившихся людей. Какое-то непривычное, скудное, потаенное население обретается в Овсянке, оно где-то работает, куда-то ездит, бьется как рыба об лед, ни прибыли от него, ни надежды, пашен нет, заимок тоже нет, на все село несколько десятков голов скота, но и тот пасти некому и негде — вся земля поделена и разгорожена на дачные клочки. На фокинском улусе, откуда давным-давно ушел в леса и не вернулся маленький мальчик в белой рубашечке, престижные люди строят престижные дачи. Зябко ежась, вечером лениво пробредет по селу стайка неприкаянных, нарядно одетых девчонок, окончивших школу и никуда не пристроившихся. Промчатся по улице молодые мотоциклисты, ряженные под иностранных киногероев, вспугнут собак, и те погавкают по дворам да и уснут. Ни гармошки за селом, ни пляса на деревенском мосту, ни гуляний, ни песен почти до рассвета, когда остается до выезда на пашню час-другой поспать.

«Милый мой, а я твоя, укрой полость, замерзла я...» Неужели здесь, на этой земле, на улице этого угрюмо настороженного села, я слышал такие складные слова и был поражен нежностью, в них выпеваемой? Какие же залежи тепла, любви, добра, светлости таились под грубой крестьянской кожей, под той самой полостью полушубка сводельной выделки и пошива. Неужели пелись эти чудесные слова одной из злых старух одному из этих ко всему и к себе тоже безразличных стариков?

Боже, Боже! Что есть жизнь? И что с нами произошло? Куда мы делись? В какие пределы улетучились, не вознеслись, не усхали, не уплыли, а именно улетучились? Куда делась наша добрая душа? Где она запропастилась-то? Где?

На похоронах тетки Апрони я вдруг увидел тетки Авдотьиных девочек, все таких же мордастых, востроносых и молодых. «Свят-свят!» — хотел уж я занести руку для крестного знамения, но тут ко мне подошла еще крепенькая, опрятно одетая пожилая женщина и, подавая большую рабочую руку, представилась:

— Я есть Аганька, тетки Авдотьиная дочь. Маму-то помнишь? Давно уж отмаялась, царство ей небесное. А папу-

ля наш где-то на Севере так и загнул.— Отвела взгляд, вздохнула.— И Костинтин тоже. Помаялась я с ним, ох помаялась, мама избаловала его, пил он шибко, по пожаркам да по шаражкам разным ошивался. Из тюрем, почитай не вылезал. А я,— Аганька усмехнулась, пообнажив вставные зубы из золота,— удалась в маму. Четверо ишло девок у миня. От перьвого мужа две и от второго. Две перьвы девки при деле, при мужьях, а эти вот стригулиски,— показала она на одинаковых ростом девах, затянутых в джинсы и в кофточки со словом «Адидас» на взбитых грудях.— Эти вот погодки замуж не идут, али их, дур, не берут. В огороде полить или там садить не загонишь, корову подоить не умеют, чашку-ложку за собой не уберут, полы не вымоют, все имя брик да брик, вот те и сплавшыцкие дети.

— Мама! Ну сколько тебе можно говорить, не брик, а брэйк.

Мать на это им заметила, что добрыкаются они, допрыгаются, но девицы, дальние мои родственницы, не слушали мать, подхватив меня под руку, гладкотелье, духами дорогими пахнущие, с дорогими перстнями на пальцах и с сережками в ушах, старомодно жеманясь, поводя глазами в сторону молодых парней, присутствующих во дворе, говорили, что давно со мной прознакомиться желали, но стеснялись, они книжку мою читали, правда, название забыли, и горячо уверяли, что брэйк на Усть-Мане гораздо лучше идет, чем в Дивногорске да и в Красноярске самом, в клубах и домах культуры не всегда удастся, разве что в железнодорожном дэка да в танцевальном зале иногда, но танцевальный же зал все время используется не по назначению, то под художественные выставки, то под встречи «Кому за тридцать». Зачем, скажите вы, встречаться, если уже за тридцать и тем более за пятьдесят? Никакого же смысла нет!

Я смотрю на Аганьку, тасканную-перетасканную за волося бедолагой матерью, и едва нахожу в ней сходство с пею, разве что усталость в глазах, обвислое тело и душа одинаковы. И хоть скорбная минута, вся родня с постными лицами, встретившись, целуются, едва узнают, а то и не узнают друг друга, говорят же шепотом, пока на поминках на выпили. Жалко мне Аганьку. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь веселое, и она папоминает мне, как общарепный матерью с головы до ног папуля их Терентий нашел-таки ухоронку, свернул в дудочку и запихал трид-

цатку в ружье. Мать и подозревает неладное, но ружья боится. Позвала старшего братца, бобыля Ксенофонта, тот ружье переломил, поглядел, понюхал даже и деверя не выдал.

— Дак тятенька-то наш,— сбиваясь на смех, повествовала Аганька,— всю-то зимушку ко Ксенофонту ходил, наскребет из кадки мороженой холодной соленой капусты в карман, косушку самогонки у матери сопрет — и через дорогу в хибарку к бобылю, целует его, братом называет. Как-то мать его прихватила, из дому не выпускает, а у папули капуста тает, по штанам течет, все предметы морозит и шшипет. Дюжил-дюжил папуля, давай мокрую капусту горстями выгружать: «Ишшо икзэма получится на причинном месте!»

Мы оба с Аганькой зажали рты ладонями, девицы глаза закатали критически — чего смешного?

Недавно Алеша мне сказал на доступном ему языке, показывая два пальца: «Мама умрет, мы останемся двое.— Глаза его наполнились слезами, и он добавил: — Мне будет жалко, когда умрет Витя». И я сказал брату: «Мне будет больно, когда умрет Алеша».

Встретимся ли мы на том высоком берегу, безбожники, утратившие веру не только в высшую силу, но и в свой народ, в его дальнейшее существование? Кто-то мудро сказал: «Надежда исчезнет последней». Но на что нам падеяться? Где отыскивать ее, эту надежду? Успеем ли воскреснуть? Хватит ли сил и мужества? Крут он и труден, путь к надежде.

В огороде своем я насадил лес и дикие лесные цветы, пытаясь, как все современные люди, приладить природу к себе. Ныне ребяташки уже не пропадают в лесу, не копают саранки, не жуют медуницу, петушки, пучку, черемшу, не скоблят сосновый сок. Как-то, идя из лесу, нес я в руке подснежники, и катающиеся на велосипедах с подвешенными на шею транзисторами подростки, с фигурами уже взрослых мужиков, удивленно воскликнули: «Ой, уже весна!» А когда-то в деревне о весне, о первых цветах жители села узнавали от нас, ребяташек, и о ледоходе, и о первом пароходе, и об ягодах первых и грибах,— счастливым бывал тот, кто первым находил не только яичко на

сеновале, но и в первую зрелую земляничку, первый масленок.

Неохотно что-то приживаются дикие лесные цветы в огороде.

Садил, садил орхидеи — венерины башмачки, — прижились они в одном месте, возле стены избышки, растут вяло, цветут уныло, стародубы под березой в тени забора прижились. Нынче сыро и холодно весной было — цвели таежные цветы густо, сочно. Я склонился над пышной зеленью стародубов, надеясь уловить тот таинственный запах дремучей тайги, который в детстве вбивал меня в пугливое чувство, что бывает от соприкосновения с тайной. От цветка все еще веяло древностью. Из древности той вышли все мы, ведь получились мы все из того, что было до нас. И не восточка ли из прошлого встревожила сердце тем горьким вздохом древности? Не в онемелом ли цветке озарилось тысячелетие, не ему ли дано нежным рупором сообщить с нами, поведать о вечности? Не остановившийся ли звук прошлой, неведомой нам и все же близкой сердцу жизни тревожит нас, донося щемящую тоску о чем-то безвозвратно утраченном нашей ленивой, полусонной памятью?

Музыка и цветы — это оттуда, из недостижимых далей, из окаменелых напластований времени, только им оказалось доступно пробиться к нам. И мы плачем, слушая музыку, умиляемся, глядя на цветы, плачем о самих себе, свято задуманных природой и утраченных нами же, горюем о существовании, самого себя заморочившем, обобравшем, изголодавшемся и норовящем на четвереньках, с лаем, рычанием, мыком вернуться в каменные пещеры, чтобы через миллионы и миллионы лет возвратиться оттуда на свет, обрести разум и снова умилиться цветку, плакать от той музыки, которую слушал кто-то до нас...

В лесу, в первой Россохе, где росли раньше нам, детям, доступные, самые близкие ягоды брусники и черники, черничник исчез вовсе, бруснику ровно кто-то обкусил, и она каждое лето пыгается ожить, выбрасывая на глиста похожий бледный побег со щепоточкой вялых тычек, похожих на чахоточные палочки.

Но не кончился совсем пока мир-то этот, не кончился. Для меня он и по сию пору делится на два мира — на маленький и на большой, устрашающе манящий в за пределы, кои видел я недавно и содрогнулся...

Подлетая к Нью-Йорку, самолет лег на крыло, и вмес-

то неба стеной стала кипящая, распластанная магма, которую наискось, вдоль, поперек прошивали ручейки огней, беспрерывно текущие куда-то в бесконечность. Жуткая, цепенящая красота огромного вечернего города. Будто фантастический сон наяву.

Но мне родней и ближе тот малый, привычный мир. Я даже речки люблю малые, особенно нашу фокинскую. По ней можно бродить, брать воду на чай, умываться, плескаться, ловить пищуженца под камнем, зреть, как сбиваются в стайку пестрые харюзки — настороженно пошевеливая нарядными лепестками хвостов и плавников, вдруг рыбки россыпью бросаются вверх по течению и где-то исчезают. Если совсем мелко в перекате, брызги изовьют, серебром кусты наклоненные осыплют, брюхатого жука в воду сшибут, и он, шевеля лапами, плывет, кружится, короткий всплеск, и его не стало — леночек или харюз покрупней поживился. Куличок бегаёт по камешкам, засунув длинный клюв в глинистую морщинку, подернутую голубыми мошками незабудок, достал еду птенцам; шустрая трясогузка из коряжек и корней выклевывает тлю личинок, приветливо всем кивая хвостом. Булькнула ягода смородины в воду, пикнул бурундучок, мышка травой прошуршала, и чутко дрогнул крылом заложивший крут над речкой зоркий ястреб.

Этот мир можно потрогать ладошкой, к нему хочется прильнуть, быть в нем, он казался в детстве бесконечным.

И как прежде, на той еще не вспоротой бульдозером речке, возле не раздавленных гусеницами ключей трудятся двое — он и она. Мальчик и девочка. «Мальчики играют в легкой мгле, сотни тысяч лет они играют: умирали царства на земле, детство никогда не умирает». Он складывает дом, она месит глину, носит в ладошках воду, и, когда вода проливается меж пальцев, он ворчит на нее, и она снова и снова спешит к речке, терпеливо доставляя воду на замес. Построив дом, он, хозяин, идет за дровами, может, и рыбу добывать, она стряпает пироги из глины, укладывает под лопушок сделанных из сучков деточек — спать. Накрыли хозяева стол, ягодок черемухи и смородины на него насыпали, хозяйка желтенький цветочек-педотрогу в серединку поставила — огонек в доме затеплила, ромашек, называемых лебязья шейка, на постель детей набросала. Спешите, гости и все люди добрые, на огонек во вновь построенный дом — вам тут всегда рады.

Над домом и над детьми солнце светит, лес шумит,

речка плещется, неугомонная бессмертная речка детства, устьем ластящаяся к Енисею, который тысячи лет уже течет и течет в вечность, и над ним нависают рыжие скалы. Караульный бык, в ночи похожий на речное каменное веко, все так же спокойно кладет свою недвижимую тель до середины реки, и лес, на нем выросший, видится ресницами. По-за Енисеем, над речкой Караульной в середине июня все так же отстаивается свет прошлого дня, сливаясь со днем сегодняшним.

Еще не все покорил, не все уничтожил самоед человек, еще цветут цветы на склонах гор, растет целительная черемша в тайге, рыщут редкие, смертельно испуганные, не добытые нами звери, птицы, нами недоотравленные, пусть и поределым хором славят восход солнца, трудно и негусто рожаемые дети щурятся на белом свете, улыбаются ему и жизни ртом, похожим на алый цветочек.

И снова и снова вижу я столь давнюю, столь мне с детства близкую картину бытия. Снова и снова испытываю вину перед жившими до нас, как испытывали ее миллионы лет миллиарды людей. Вина тем более на нас тяжкая, тем более горькая, что вижу я на овсянском кладбище умерших своей смертью только стариков, молодые ушли к праотцам от современных неизлечимых болезней, от пьянства, перебили друг дружку, передавили автомобилями, перестрелялись, утонули, отравились, повесились, заблудились в жизни...

О жизни же нашей повседневной лучше всех, по-моему, сказала соседка, давно живущая в бабушкином доме: «Как была, б..., инархия, так инархия, б..., и осталась!»

Прошлой зимой, ознакомившись с делом на деда, отца и односельчан, я написал довольно пространное и резкое письмо в краевую прокуратуру и вот, опять же во время работы над заключительной главой, получил ответы на официальных бланках — привожу их дословно с соблюдением всех параграфов и форм.

Сверху под гербом крупно и четко напечатано:

«Прокуратура СССР. Прокуратура Красноярского края
18-06-91 N 13/229-91

г. Красноярск

Уважаемый Виктор Петрович!

Ваше заявление о необоснованном привлечении в 1931 году к уголовной ответственности Астафьева П. Я. и др.

рассмотрено в прокуратуре края и УКГБ СССР по Красноярскому краю.

С учетом ваших доводов следственным отделением УКГБ по делу проведено дополнительное расследование, в результате которого установлено, что постановление тройки при ПП ОГПУ Восточно-Сибирского края от 1 апреля 1932 года в отношении Астафьева Павла Яковлевича, Астафьева Петра Павловича и Фокина Дмитрия Петровича и признания их виновными в совершении контрреволюционных преступлений является необоснованным и незаконным.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16-01-1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов», Астафьев П. Я., Астафьев П. П. и Фокин Д. П. реабилитированы.

Справки о реабилитации прилагаются.

Верно — прокурор края, государственный советник юстиции 3 класса

А. П. Москалец».

И в заключение довольно решительная подпись человека, честно и принципиально исполнившего свой долг. Мне бы благодарить от имени деда, отца и односельчанина моего партию и правительство, краевое управление КГБ, действительно приложившего немало труда для восстановления справедливости прокурора Москальца — «да чё-то не хочетца», как сказал мне когда-то в Игарке еще один законопаченный в Заполярье односельчанин, Митрофан Федотовский. Не хватит моего старого, уже не гибкого хребта, кланяться за всех погубленных, убиенных, а ныне прощенных русских людей. На каком-нибудь многомиллионном поклоне хребет этот не разогнется, хрустнет, не выдержав непосильной работы.

Ездят по сибирской земле литовцы, латыши, эстонцы, выкапывают из могил родных, погубленных в чудовищных ссылках, и увозят их останки на родину. А куда свозить пам, россиянам, прах наших мучеников, коли вся Россия — кладбище?

Много лет назад меня мучал один и тот же сон — родной деревенский переулочек и в конце его дряхлый, дряхлый дом с закрытыми ставнями, с обвалившейся гнилой крышей, рассыпавшийся трухой, со двором, заросшим бурьяном, в который опали балки, заплотины, створки

ворот. Я знаю, там, в этом глухом и темном доме, лежит одиноко в холодном тлелом тряпье моя бабушка и ждет меня. И я хочу дойти до нее, приласкать ее и непременно лечь рядом, но что-то все время мешает мне дойти до этого обиталища, войти в него, какие-то встречные люди и дела отвлекают. Так ни разу я и не дошел до бабушки, так еще не дождалась и не дозвалась она меня, и землею не пахнет в моем рту, да и сон этот по прибытии в родное село погас, будто экран беззвучного кино.

Я гляжу в окно. За Еписсем рыжеют хребты — это следы страшных пожаров. Горит тайга каждый почти год, достигая окраин города. Заречный пожар возле речки Боровой разгорался несколько дней. За рекой тысячи дач имущих, зажиточных людей, десятки тысяч пенсионеров, возделывающих грядки, глядящих в телевизор на перестройку, ругающих устно и письменно власти за то, что медленно налаживается или совсем разлаживается жизнь.

Оторвись от телевизора и своих грядок пара пенсионеров, возьми пару лопат, прикопай огонь, оставленный молодыми беспечными гуляками-разгильдяями, и не было бы этого страшного, все с хребтов сметающего огня, который взрывался в скалистых распадах от скопившегося там сущья и мелкого хвойнолесья, будто склад боеприпасов от прямого попадания бомбы на фронте.

Там, за рекою, бывший ученый муж цепью от лодки перебил позвоночник маленькому мальчишке за то, что тот сорвал без спроса на его грядке спелую земляничинку, и папа этого навек изувеченного ребенка переплыл ко мне с просьбой писать жалобу в Верховный Совет. В ту сухую весну от страшных пожаров сгорело немало деревьев, горела и наша, и мои нынешние односельчане воровали с пожара все, вплоть до навоза и саженцев. Назовите мне «такую обитель», где бы это было возможно!

Но, по во всем находится еще какое-то утешение, какая-то отдушина. Деревенские старухи уверяли меня, что пожар удалось потушить только благодаря «четверговым яйцам». Горело вскоре после святого четверга, на который по стародавней привычке и поверью красили яйца, и вот эти-то яйца начали бросать в огонь старые люди. «И что ты думаешь? Ветер тише, тише, огонь-то эдак вот к Анисею отгибат, отгибат, и... утихло, унялось».

О том, что с реки и с железной дороги по пожару хлестанули могучие противопожарные средства, батарее-

ми их пынче называют, старухи не поминали, да и не верили они той силе, в коей не было чудодействия.

Вот на вере в чудо, способное затушить пожар, успокоить мертвых во гробе и обнадежить живых, я и закончу эту книгу, сказав в заключение от имени своего и вашего.

Боже праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!

КОММЕНТАРИИ

Когда-то, очень давно, журнал «Смена» опубликовал мои первые зарисовки, затем очерк, затем что-то похожее на рассказ, и не просто опубликовал, но и «приютил» меня, и я, начинающий автор, приехавший из далекого уральского городка Чусового в столицу, бывал накормлен в буфете, устроен на ночлег как командированный, снабжен пусть и не богатыми, но очень необходимыми средствами на житье и пропитание.

Случалось это нечасто, бухгалтерию «Правды», к которой прикреплена «Смена», я не разорил, но поддержку, так мне в ту пору необходимую, получил и однажды угодил во «всамделишную» командировку от того журнала.

Узнавши, что я родом с Енисея, да еще из тех мест, где начинается возведение самой могучей в мире гидростанции, тогдашний редактор «Смены» Михаил Арсеньевич Величко посчитал, что никто так емко и живописно не отразит героические дела на новостройке, как я.

Ничего героического я на стройке не обнаружил, она еще только развertyвалась, но уж такой был на ней беспорядок, неразбериха и кавардак, граничащие с преступностью, что я, повидавший уже виды в наших лесах, на водах и заводах, приуныл, однако как журналист, с некоторым уже опытом работы в газете, быстро нашелся и почетную командировку ударно отработал, написав очерк об одной из молодежных строек Красноярска.

Очерк, типичный для той поры, газетный, трескучий, и потому он широко печатался, в особенности по юбилейным изданиям: и принес мне заработку в несколько раз больше, чем моя первая книжка. Нужда в семье тогда была большая, и я едва

устоял против такого добычливого творчества и легкого писательского хлеба.

Будучи в командировке, я, уже привыкший к неукротимой болтовне, демагогии и красноречию, был все же поражен тем, какой размах это приобрело на просторах родной Сибири — оно и сейчас здесь соответствует просторам — такое же широкое, вольное и безответственное. Но тогда я еще не был таким усталым от нашей дорогой действительности, все воспринимал обостренно, взыскательно, и меня потрясло, что люди, владеющие пером, и даже «выдвиженцы пера» — из рабочих и местной интеллигенции, пишут здесь и «доклаживают» по давно известному, крикливому и хвастливому, Советами рожденному, принципу: «Не верь глазам своим, верь моей совести».

И совсем исчез человек из этих писаний, одпи только герои населяли многочисленные творения, раз герои, значит, и дела у них только героические, а бардак на производстве и в жизни, он как бы и не касался их белых рубах, алых полотнищ и светлых душ.

Я жил в родной деревне, смотрел на своих односельчан, занятых земельным и рабочим повседневным делом, и думал: «Ну, хорошо. Все герои, и все героическими делами обуяны, а кто же тогда их-то, моих родных гробовозов (такое неблагозвучное прозвище у моего родного села Овсянка), отразит и расскажет о их вечной жизни и о труде, которым земля и все на земле держится? А тут еще и строители «масла в огонь подлили», явились в Сибирь с ружьями, фотоаппаратами, купленными на «подъемные» деньги. Значит, как они сойдут с поезда, ступят на дикую сибирскую землю, сразу же завалят медведя и сфотографируются, поставив победительно ногу на поверженного зверя. Квартировали молодые строители в палаточных городках, по окрестным селениям, и все избы моей родной деревни тоже были забиты новопоселенцами.

Не обнаружив бородатых мужиков, обутих в чуши, в звериные шкуры, в медвежьи шубы, жрущих сырое мясо и живую рыбу (хотя есть любители и того, и другого на Севере, да и в Москве они есть), шумные строители, сразу утратили к сибирякам интерес, игнорировали их как в жизни, так и в своих художественных творениях. Более того, не приложив труда заглянуть поглубже в душу сибиряка, по внешней грубой его оболочке составили мнение о нем и враждебное к нему отношение выявили. Впрочем, часто оно бывало обоюдным, и не облагородилась от наплыва строителей сибирская сторона, наоборот, погрязла еще больше, осатанилась, хотя внешне вроде бы «обстроилась», выглядит куда как культурней, чем в «старое время».

Словом, думал я думал, и вышло, что мне надо рассказывать о своих земляках, в первую голову о своих односельчанах, о бабушке и дедушке и прочей родне, стараясь не особо-то унижать и не до небес возвышать их словом. Они были интересны мне и любимы мной такими, какие есть на самом деле, и жизнь их обыкновенная была привлекательней всех выдуманных, из папьемаше слепленных, бутафорской краской выкрашенных героев, у которых всегда грудь вперед и «передовая мысль» наготове.

Вот и начал я помаленьку да полегоньку писать рассказы о своем детстве, о селе родном и его обитателях, о дедушке и бабушке, ни с какой стороны не годных в литературные герои той поры. Первоначально цикл рассказов и назывался «Страницы детства». И чудесный эпиграф Кайсына Кулиева со сладкой грустью предварял его: «Мир детства, с ним навечно расставанье, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминанья все чаще возвращают нас туда».

Рассказы писались легко, быстро, радуя сердце. С появлением рассказов «Конь с розовой гривой» и «Монах в новых штанах», я понял, что из всего этого может получиться книга. И она получилась. В 1968 году в Перми вышла книга под названием «Последний поклон». Я долго искал это название, а оно уже было в книге — так называлась одна из глав. И однажды мой товарищ ткнул пальцем в это название.

Книгу ту оформлял покойный уже пермский художник Алексей Мотовилов. Больше года он работал, на каких-то цинковых пластинках гравюры резал, когда книгу печатали, художник ночевал в типографии, чтоб все было напечатано как надо. И все Пермское издательство старалось, и книга получилась как надо, в суперобложке, с цветным шрифтом.

Я это к тому, что везде, хоть на стройке, хоть в издательстве, нужны в работе самоотверженность и любовь, увы, куда-то во многих местах и на предприятиях наших подевавшиеся.

Говорят: «Хорошая вещь на месте лежит, худая по земле бежит», да не всегда, к счастью, жизнь идет по пословице. Книга «Последний поклон», была замечена в столице, благосклонно встречена критикой. Пошла хвалебная почта, которую я, конечно же, читал с большим удовольствием и млея еще ненадворванным, горячим сердцем.

Но жизнь шла вперед, и я вместе с нею куда-то двигался, съездил, и не раз, в Сибирь, на родину, побывал на Енисее, на Оби. Урал, к той поре почти на голову разбитый, досконально изучил, из газеты и с радио ушел — шибко они растревожили и поранили мою совесть. Не вдруг, не сразу, но понял я, что чего-то в «Поклоне» не договорил, «перекосил» книгу в сторону бла-

годушняя, и получилась она несколько умильной, хотя я к этому сознательно и не стремился, а все же жизнь пообтесал, острые углы пообпиливал, чтоб дорогие читатели, советские, прежде всего, за них штанами не цеплялись и коленки не ушибли. А ведь жизнь-то тридцатых годов не из одних веселых детских игрушек и затейливых игр состояла, в том числе и моя жизнь и жизнь близких мне людей.

Продолжались раздумья, воспоминанья, продолжалась во мне книга.

Уже живя в Вологде, я написал новые главы «Последнего поклона» и однажды издал книгу в Москве, состоящую из двух частей. Встретивший меня как-то мудрый горец и славный поэт Кайсын Кулиев спросил: «Что же эпиграф-то снял? — и сам себе ответил, грустно покачивая головой: — Понимаю. Книга переросла воспоминания детства».

Нет, книга не «переросла детства». Как его перерастешь? Оно вечно с нами, со своим вечным, прекрасным, радостным обликом и звонким голосом. Книга ушла из детства дальше, в жизнь, и двигалась вместе с нею, с жизнью.

В 1980 году я переехал жить на родину и уже через год-другой почувствовал, что моя завстная книга снова «зашевелилась» во мне, — я заметил в ней неточности, неизбежные оттого, что писалась она вдали от «натуры», ощутил пропуски в книге и какие-то упущения памяти, а главное — позывы «рожать».

И снова, с радостью, с тем удовольствием, какого мне не доставляла работа ни над одной моей книгой, принялся я за «Поклон». Конечно же, не так уж легко и прытко писалось, как в литературной «верхоглядной» молодости, однако, одолел я и третью часть книги. Издательство «Молодая гвардия», объединив три книги, выпустило «Последний поклон» в двух томах в 1989 году. Двухтомник с большой любовью прекрасно оформили художники-супруги Алла Озеревская и Анатолий Яковлев.

На меня надвигалась работа над давно задуманным романом о войне, но завершение «Последнего поклона» также висело над душой, надо было заканчивать этот многолетний труд. Я думал написать одну большую, заключительную главу, но жизнь подбрасывала и подбрасывала материалу, как хворосту в костер. Я в одну главу не уложился, написал две: «Забубенную головушку» и «Вечерние раздумья», которые и были напечатаны во втором и третьем номерах журнала «Новый мир» за 1992 год.

Более я продолжать комментарии не буду, пусть книгу комментируют читатели, отмечу лишь, что на «Поклон» пришло очень много писем и некоторые из них куда как увлекательны, интересны и по существу являются самостоятельными рассказами.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН. Повесть в рассказах.

Книга третья

Предчувствие холода	8
Заберега	28
Где-то гремит война	65
Сорока	139
Приворотное зелье	171
Соевые конфеты	198
Пир после победы	247
Последний поклон	280
Кончина	285
Забубенная головушка	291
Вечерние раздумья	327

<i>Комментарии</i>	<i>377</i>

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том пятый

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы
А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысоева

Художественный редактор
Е. В. Корнеева

Технический редактор
Н. Н. Шабля

Корректоры
А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Ключина, Е. М. Гаврилина

Оператор компьютерной верстки
Н. А. Боброва

ЛР № 010162 от 03.06.97

Подписано в печать 20.03.97. Формат 84х108 1/32.

Бумага офсетная №1. Гарнитура Балтика.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.16. Уч.-изд. л. 20.38.

Тираж 10000. С-007. Заказ 64.

**Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ».**

660049, Красноярск, ул. Республики, 51



